Мережковский Дмитрий Сергеевич
14 декабря

- **Аннотация:**
Николай первый

Дмитрий Сергеевич Мережковский

14 ДЕКАБРЯ
(НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ)

Роман

СОДЕРЖАНИЕ:

Книга первая

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

- Любить землю - грех, надо любить небесное. А я не могу, - больше всего на свете люблю Черемушки. Пока в них жила - и не знала, что так люблю. А вот уехала - и залюбила, затосковала до смерти...

- Вы землю вашу как живую любите, Марья Павловна?

- Ну, конечно, живая! Выбегу, бывало, в рощу - молодые березки - тоненькие, как восковые свечечки, кожица у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!

В голубоватом свете зимних сумерек, едва пробивавшемся сквозь

обледенелое оконце кибитки, князь Валериан Михайлович Голицын, вглядываясь в милое лицо девушки, думал: "Сама как та березка весенняя".

Марья Павловна Толычева с виду была обыкновенная уездная барышня из тех, о которых сказано:

Разделены ее досуги
Между роялем и канвой.

Одета по модной картинке из "Телеграфа": меховой палантин добротного бабушкина гродетура темно-зеленого, клетчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в виде корзиночки, с висячими вдоль щек легкими гроздьями локонов; старинные гранатовые серьги в ушах, верно, тоже подарок бабушкин. Хорошо воспитана по-французски. А у самой лицо, как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке в желтом, с красными горошинами, платочке, смеется с парнями и грызет семечки.

Может быть, никого еще не любит, но благоуханьем любви окружена, как цветущая сирень свежестью росною. И все это чувствуют: станционные смотрители, шлагбаумные инвалиды, распаренные чаем купцы толстобрюхие, ямщики краснорожие, - все, глядя на Марью Павловну, думают: "Ах, хороша девка!"

По дороге из Василькова в Петербург Голицын остановился в Москве, чтобы повидаться с членом Тайного общества, Иваном Ивановичем Пущиным. Пущин, служивший в Уголовном департаменте Московского надворного суда, жил у тетки, старосветской барыни, в захолустном особняке, в приходе Пятницы Божедомской, на Старой Конюшенной. Здесь, тоже проездом в Петербург, остановилась дальняя родственница Пущиных, серпуховская помещица Нина Львовна Толычева с девятнадцатилетнею дочкою, Марией Павловной. Голицын согласился сопровождать их, по просьбе Пущина.

Тогда только что начал ходить из Москвы в Петербург почтовый дилижанс - низкий, длинный возок, обтянутый кожей, с двумя оконцами, сзади и спереди. Лежать в нем было невозможно: четыре человека, разделенные перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели - двое вперед, двое назад - по дороге; а так как прежняя зимняя кибитка означала лежанье, то ямщики прозвали это новое изобретение "нележанцами". Голицын, с обеими дамами и состоявшей при них горничной девкою Палашкою, отправился в таком нележанце.

Госпожа Толычева, родом из семьи зажиточной, привыкла ездить не иначе как по дворянскому обычаю, на своих, на долгих, с молельнею, кухнею, с обозом домашней клади и дворовой челяди. Почтовых дилижансов боялась как неслыханного новшества и рада была надежному спутнику.

Тотчас рассказала ему всю свою историю. Воспитывалась в Смольном. Почти прямо из института вышла замуж и без малого двадцать пять лет прожила с мужем, как у печки погрелась. Павел Павлович Толычев служил в армии; за Итальянский поход произведен Суворовым в подпоручики; в Двенадцатом году ранен; вышел в отставку с чином подполковника. Был большого ума человек и даже сочинитель - в "Сионском вестнике" статья его напечатана; с господином Лабзиным* был в дружбе, а когда его за вольные мысли сослали, едва не добрались и до Павла Павловича. Терпел гонения, потому что любил правду, злых людей обличал, лихоимцев-чиновников и тиранов-помещиков. Самому архиерею доказывал, что не должно быть крепостного состояния - ни господ, ни рабов. Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазоном объявили безбожником и возмутителем. Губернатор хотел в острог посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одна-одинешенька с малолетнею дочкою. Трех детей при муже схоронила; Маринька - последняя. Дела по имению расстроились; видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужики - отродье хамово - избаловались так, что никакого с ними сладу нет; половина в бегах, половина - пьяницы; ни оброка, ни подушных не платят. Сама ничего в хозяйстве не смыслит; знакомые дамы прозвали ее белоручкою за то, что не бивала людей: боится замарать свою ладонь о холопьи щеки. А управляющий - плут. Имение в Опекунском совете заложено - долг 25000, а процентов нечем платить, - продадут с молотка, и ступай по миру.

---

* Л а б з и н Александр Федорович (1766 - 1825) - мыслитель-мистик, переводчик, издатель журнала "Сионский вестник". (Здесь и далее примеч. О.Н.Михайлова.)

Но Сам Господь над ними, сиротами, сжалился - послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга в Серпухов статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов - в департаменте Внешней торговли служит, - на балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пленился, что через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за пятьдесят, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души не чает. "Если, говорит,

согласьем осчастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочери: выйду в отставку, хозяйством займусь в Черемушках и дела ваши поправлю". Маринька не отказала, но просила подумать. И Нина Львовна не неволит дочери: сама понимает, дело молодое - любви хочется, союза сердечного. А Порфирий Никодимыч ей не пара - в отцы годится. Так-то год прошел, все думала, и, наконец, письмо получили от господина Аквилонова: почтительнейше просит участь его решить и, ежели есть надежда, хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного; да и самой Нине Львовне должно прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена, могут наложить запрещение и объявить торги.

Есть у них еще надежда на троюродную бабушку, Наталью Кирилловну Ржевскую. Старуха богата, да скупа и привередлива: как заладила, чтоб имение продали и к ней на житье в Петербург переехали, так и стоит на своем. "А то, говорит, ломаного гроша от меня не получите". А Маринька об этом слышать не хочет. "Лучше, говорит, выйду за Аквилонова, а не уеду из Черемушек. Здесь родилась, здесь и умру".

Кончив рассказ, Нина Львовна заплакала: как ни хвалила жениха, а жаль было дочери.

Голицын сидел в своем отделении ночью с Палашкою, а днем с Ниной Львовной. Но на второй день разболелась у нее голова, и, чтоб ей отдохнуть полулежа, Палашку усадили к ямщику на козла, а Марья Павловна пересела к Голицыну.

Нележанец полз черепахою. Санный путь еще не стал как следует; снегу было мало, полозья визжали по голым камням; возок встряхивало. За перегородкой слышно было сонное дыхание Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно. В замерзшем оконце густел голубоватый свет вечерних сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что снится им сон незапамятно-давний, много раз виденный.

- А мне все кажется, Марья Павловна, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспомнить - когда, - сказал Голицын, продолжая вглядываться в милое лицо девушки.

- А ведь и мне... - начала она и не кончила.

- Ну что?

- Нет, ничего. Глупости, - отвернулась, покраснела. Вообще легко краснела, внезапно и густо, во всю щеку, как маленькая девочка, и тогда становилась еще милее. Наклонившись к оконцу, провела по ледяным узорам тоненьким розовым пальчиком.

Вглядывалась в Голицына украдкою, пристально, и лицо его странно менялось в глазах ее, как будто двоилось: то сухое, жесткое, желчное, с недоброй морщинкой около губ, вечно насмешливой, с пронзительно-умным и тяжелым взором из-под слепо поблескивавших стекол очков - она их вообще не любила: только старики да ученые немцы, казалось ей, носят очки - чуждое, почти страшное; а то вдруг - простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная. Но все это темно и смутно, как сквозь вещий сон.

- Я ведь вас боюсь немножко, - проговорила, все так же вглядываясь в него, украдкой, пристально. - Кто вас знает, может быть, и вы такой же насмешник, как Иван Иванович?

- Пущин предобрый; его бояться нечего. Да и меня тоже.

- Вы тоже добрый?

- А вы как думаете, Маринька... Марья Павловна?

- Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны, - заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась; он - тоже. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущею близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали друг друга.

Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку, - может быть, не к нему, а все равно к кому, - ко всем: так солнечный луч равно ласкает все, на что ни упадет.

- Уж вы меня извините, князь, - проговорила, все еще не поднимая глаз. - Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих Черемушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.

- Не стоит людей бояться, Маринька: бояться людей - значит их баловать.

- Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В Черемушках я не боялась, всегда была храбрая, а как оттуда уехала - такое вдруг все чужое, страшное. Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задернет на кроватке занавеску и говорит: "Спи, говорит, дитятко, спи с Богом! У кота ли воркота колыбелька хороша. Да глазок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмет Хо - вот оно под кроваткой лежит". А потом я часто думала, что не только под кроваткой, а везде - Хо. Вся жизнь - Хо...

- А вы от него отчурайтесь, оно вас и не тронет.

- Да как отчураться?

- Будто не знаете?

- Не знаю... Нет, право, не знаю, - медленно, как бы в раздумье, покачала она головой, и длинные локоны вдоль щек, как легкие гроздья, тоже качнулись. Возок на замерзшем ухабе подпрыгнул, лица их нечаянно сблизились, и нежный локон коснулся щеки его, как будто обжег поцелуем.

- А вы знаете? Ну так скажите.

- Нельзя сказать.

- Почему нельзя?

- Потому что каждый сам должен знать. И вы когда-нибудь узнаете.

- Когда же?

- Когда полюбите.

- Ах, вот что, любовь? - опять покачала головой сомнительно. - А как же говорят, нынче и любви-то настоящей нет, а одна измена да коварство?

- Кто говорит?

- Все.

Le plus charmant amour
Est celui qui commence et finit en un jour*.

____

* Самая прекрасная любовь -
Та, которая начинается и кончается в один день (фр.).

Это мне Пущин намедни сказал. И тетенька тоже: "Ах, говорит, Маринька, ты еще не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит". И бабенька...

- Сколько их у вас, тетенек да бабенек!

- Ох, много, страсть!

- И вы им всем верите?

- Ну, конечно!

У нее была привычка повторять эти два слова: "Ну, конечно!", и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.

- Как же не верить? Надо верить старшим. Сама-то ведь глупенькая, так вот умным людям и верю. Я вся из чужих слов, как одеяльце из лоскутков пестреньких.

- А под одеяльцем кто-то прячется? - улыбнулся он.

- А вот узнайте кто, - прищурилась она, глядя на него исподлобья и тоже улыбаясь лукаво-дразнящей улыбкой. И опять блеснул тот солнечный луч, который ласкает все, на что ни упадет.

Помолчала, вздохнула, и лицо омрачилось мыслью недетскою.

- Так-то, князь. Любовь улетит, а Хо останется: оно ведь без крыльев, как червяк, ползучее, или вот как большой, большой паук, ужасный, отвратительный...

Оба замолчали и опять почувствовали, что молчание сближает их неудержимо растущею близостью.

- Ну, хорошо, - сказал Голицын, - пусть бабеньки да тетеньки как им угодно. А вы-то сами хотите, чтоб любовь улетела?

- Ну, конечно, нет! Я люблю любить крепко - не умею любить немножко. Надо, чтобы епанча не спадала с одного плеча, а держалась на обоих твердо.

- Так, Маринька, так! - посмотрел на нее Голицын, как будто, наконец, вспомнил, узнал: "Так вот ты кто!"

- Какая вы хорошая! - проговорил уже другим, тихим голосом.

- Ну вот, нашли хорошую! Вы меня еще не знаете. Спросите-ка маменьку: она вам скажет, какая я несносная девчонка, злая, упрямая.

- Послушайте, Маринька, можно с вами говорить просто?

- Ну, конечно. Я сама люблю - просто. Этих церемоний терпеть не могу!

- Так вот что, Марья Павловна, - начал он и вдруг остановился; так же, как давеча Маринька, отвернулся, покраснел и потупился. Она посмотрела на него с любопытством.

- Не выходите замуж за господина Аквилонова, - проговорил он с внезапною решимостью.

- Это еще что? Почему?

- Потому что вы его не любите.

- Как не люблю? Жених - значит, люблю.

- Нет, не любите. Он для вас - Хо.

- Какие глупости! Человек прекрасный, почтенный, благонамеренный. Может составить счастье всякой девушки. Это все говорят - и маменька, и тетенька, и бабенька...

- А все-таки не выходите.

- Да вам-то что? Какой чудак! И как вы смеете? Мне бы рассердиться надо, а я не умею, дура...

- Ну, простите. Не буду Не сердитесь, хорошая моя, милая, милая девушка...

Он вдруг замолчал. Взглянул на нее украдкою. Опять, как давеча, наклонилась к замерзшему оконцу и дышала на него, приложив ладони ко рту; потом начала что-то выводить пальчиком на кружке оттаявшем.

- В. Видите, В? Ведь имя вашей невесты с В?

- Какой невесты?

- Вот тебе на! Хорош жених - невесту забыл! Ай-ай-ай, разве так можно? И чего вы от меня таитесь? Я же знаю, мне Пущин сказывал: у вас в Петербурге - невеста красавица; имя - с В... Василиса, что ли? Валериан да Василиса. Вот как ладно - с одной буквы оба имени! - рассмеялась она звонко, как будто весело, а глаза были грустные.

"Почему с В? Ах, да - "Вольность", - догадался Голицын и вспомнил:

Мы ждем, в томленьи упованья,
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.

- А знаете, князь, ведь это, может быть, и не так? - вдруг перестала смеяться и посмотрела на него строго, почти сурово.

- Что не так?

- Да вот, насчет любви. Не любовь спасет от Хо.

- А что?

- Не знаю, не умею сказать. Есть такие стишки - покойный папенька их очень любил:

В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца, -

сказала тихо, но в этой тишине была такая сила, что Голицын посмотрел на нее с удивлением: только что была дитя, и вот - женщина.

В эту минуту возок, съезжая с косогора, наклонился набок и едва не опрокинулся. Маринька в испуге вскрикнула и, схватившись за ручку сиденья, положила нечаянно руку на руку Голицына. Он крепко сжал ее и наклонился близко к самому лицу ее. Она чуть-чуть откинулась, хотела отнять руку, но он не пустил.

- Marie, - послышался невнятный голос Нины Львовны за перегородкою.

Маринька прислушалась, но не ответила. И оба притаились в темноте, как дети, которые шалят.

- А у вас над бровью мушка, - прошептал он смеющимся шепотом.

- Не мушка, а родинка, - ответила она таким же веселым шепотом - Когда я была маленькой, дети дразнили меня: "У Мариньки родинка - Маринька уродинка!"

Он склонился к ней еще ближе, и она еще дальше откинулась.

- Родная, родная, милая! - прошептал он так тихо, что она могла бы не слышать, если б не хотела.

- Marie, ou es tu donc, mon enfant*, - позвала Нина Львовна уже внятным, проснувшимся голосом.

____

* Мари, где же ты, дитя мое (фр.).

- Здесь, маменька! Я сейчас... А вот и станция!

Возок остановился. Красные огни и черные тени в оконце забегали Маринька встала.

- Не уходите, - шепнул Голицын.

- Нельзя. Маменька будет сердиться.

Он все еще держал ее за руку. Вдруг поднес руку к губам и поцеловал, куда никто не целует - в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

На ночь пересела к нему, по обыкновению, Палашка, а днем - опять Маринька. Госпожа Толычева перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним сколько угодно.

Но потому ли, что Нина Львовна не спала и могла их слышать, или потому, что Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего, - разговор был неловок и незначителен. Она рассказывала о своем житье в Черемушках. В рассказе все было просто и буднично, но стариной незапамятной веяло от него, как милою сказкою.

В конце липовой аллеи с грачиными гнездами, на самом обрыве, над тихою речкою Каширкою - дедушкина беседка с полустертою на фронтоне надписью: "Найтить здесь спокойство". В этой беседке Маринька читала "Удольфские таинства" госпожи Радклиф и "Страданья Ортенберговой фамилии" господина Коцебу. Вообще любила читать "ужасное и чувствительное". А зимою, в сумерки, когда в полутемной гостиной голубой свет луны сквозь обледенелые окна смешивался с красным светом лампадки из маменькиной спальни, кузина Адель пела под клавикорды старинные песенки, такие глупые, такие нежные:

Звук унылый фортепьяно,
Выражай тоску мою.

Или еще:

Уж пробил час, и нам расстаться,
Быть может, должно навсегда!
Ах, льзя ль не плакать, не терзаться?
Бог весть, увидимся ль когда.

И Маринька, слушая, плакала.

Верила в гаданья, приметы вещие, которым научила ее старая няня Петровна: если увидит нитку на полу или круг на песке от лейки - ни за что не переступит Знала, что, когда топится печь и летят искры, будут гости, а когда петух поет в необычное время, надобно снять его с насести и пощупать ноги: теплые - к вестям, холодные - к покойнику.

Была хозяйка куда лучше маменьки. У них, в Серпухове, дешево все: мясо - пять копеек фунт, пара цыплят - пятьдесят, огурцы - сорок за четверик. Умела их солить как никто во всем уезде. И рукодельница была искусная. Раз начесали шерсти из овечьих душек, - что у овец на груди и под шеей, - вымыли и привезли. А Пелагея у них славно прядет - вышла мягкая, чудесная шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? Сама выкрасила, и очень недурно; прекрасный коврик вышила.

- Вы это нарочно, Маринька? - рассмеялся, наконец, Голицын, не выдержал.

- Что нарочно?

- Я вам о любви, а вы об огурцах соленых и о душках!

Ничего не ответила, только закусила губку, приложила к ней пальчик и кивнула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна.

И о чем бы ни говорили - в каждом слове было иное значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, улыбаясь друг другу с удивлением радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блаженное. И оба чувствовали опять, как вчера, что, хотят не хотят, а сближаются неудержимо растущею близостью Все еще боялась его, не верила; но, когда сквозь длинные ресницы опущенных глаз ловил он стыдливо блеснувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного.

"Что я делаю? Зачем смущаю бедную девушку?" - иногда опоминался он, а потом опять все забывал, опьяненный благоуханием любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росною.

"Вот бы вам, Голицын, жениться на Мариньке", - вспоминал слова Пущина, принял их тогда за шутку. "Мы голову несем на плаху, а вы о женитьбе, Пущин!" - "Ну, что ж, и на плаху идти веселее женатому все-таки поплачет кто-нибудь. Нет, право, женились бы, избавили бы девушку от старого плута и выжиги, господина Аквилонова".

Самому ему противно было думать, что Маринька выйдет замуж за Аквилонова. Когда в паутине бьется мотылек, хочется спасти его от паука. Но как это сделать? В Петербурге будет ему не до Мариньки: там заговор, восстание, низвержение тирана, освобождение отечества. А может быть, судьбы царств и народов не более весят на весах Божьих, чем судьба одной души человеческой?

Что же такое встреча их - случай или судьба? Если только случай, то почему это узнаванье, вспоминанье вещее, как в сновидении незапамятном? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мог бы полюбить ее, но никогда не полюбит, что в этом сне любви несбыточном, последней радости жизни, он с жизнью навеки прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Глядя на лицо ее, такое живое, вспоминал другое лицо, мертвое; в темном свете дневных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая, - шестнадцатилетняя девочка, Софья Нарышкина.

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла
О, друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.
Нашла ли их, сбылись ли ожиданья?
Без страха верь: обмана сердцу нет;
Сбылося все; я в стороне свиданья
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.
Друг! На земле великое не тщетно:
Будь тверд, а здесь тебе не изменят...

Не изменит она - не изменит и он. Та первая любовь - последняя. И если бы даже полюбил он Мариньку, не изменил бы Софье. Обе вместе, земная и небесная. Как в последнем пределе земля и небо - одно, как Софья с

Маринькой.

На третьи сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали последнюю станцию, Пулково, потянуло со взморья теплом; замерзшее оконце оттаяло, заплакало, и сквозь слезы забелела равнина, унылая, снежная, с болотными кочками, как будто могилами исполинского кладбища. А на самом краю белой равнины - черные точки, дома Петербурга.

- Ну, прощайте, князь, - сказала Маринька. - Сейчас приедем. Я к жениху, а вы к невесте... Вспоминать обо мне будете?

Он молча поцеловал руку ее, опять, как давеча, в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

- Придете к нам в Петербурге? - спросила она шепотом.

- Приду.

- А если невеста не пустит?

- Никакой у меня невесты нет.

- Правда?

- Правда.

- Честное слово?

- Честное слово. А у вас, Маринька, нет жениха?

- Не знаю. Может быть, и нет.

И опять улыбнулись друг другу, молча, - узнали, вспомнили. "Я мог бы тебя полюбить", - сказал глубокий взор его. "И я могла бы", - ответила она таким же взором.

- Marie, что же ты? Собираться пора. Палашка, где подорожная? Куда опять запропастила? Ах, девка несносная! - послышался ворчливый голос маменьки.

Потянулись длинные заборы, огороды, лачуги, лавки, постоялые дворы. Наконец, возок остановился у низенького домика с желтыми стенами, забрызганными еще летнею грязью, с полосатыми будками по обоим концам шлагбаума.

Дверца возка открылась, и заглянуло в нее усатое лицо инвалида. Караульный офицер прописал подорожные, скомандовал часовому. "Подвысь!" Шлагбаум поднялся, и нележанец въехал в Петербург.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С 27 ноября, когда узнали о кончине императора Александра I, в Петербурге наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло, как бы затаило дыхание. Театры были закрыты; музыке запрещено играть на разводах; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиды, перезвон колоколов унылый с утра до вечера носился над городом.

Россия присягнула Константину I. Указы подписывались именем его; на монетном дворе чеканились рубли с его изображением; в церквах возглашалось ему многолетие. Со дня на день ждали его самого, но он не приезжал, и по городу ходили слухи. Одни говорили, что отрекся от престола, другие - что согласился, а правда была неизвестна.

Для успокоения столицы объявили, что государыня-мать получила письмо, в коем его величество обещал вскоре прибыть; потом, что великий князь Михаил Павлович к нему навстречу выехал. Но оба известия оказались ложными.

Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург; братья обменивались письмами, но толку не было.

- Пора бы кончить эти любезности, - ворчали сановники.

- Когда же, наконец, мы узнаем, кто у нас государь? - выходила из терпения императрица Мария Федоровна.

- На троне лежит у нас гроб, - шептались верноподданные в тихом ужасе.

На другой день после присяги в окнах магазинов на Невском выставлены были портреты нового императора Прохожие толпились перед окнами. На портрете он был дурен, а в действительности - еще хуже. Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза навыкате; насупленные брови, торчащие густыми пучками белобрысых волос; такие же волосы на переносице; в минуты гнева вздымались они, щетинились; руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы: казалось, мог ходить на четвереньках. И весь был похож на обезьяну, огромную, человекоподобную. Вспоминали, как жаловалась бабушка, императрица Екатерина Великая, на бесчинное и бесчестное поведение внучка: "Везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойностью, что я того и смотрю, что его где ни есть прибьют. Не понимаю, откудова в нем вселился такой подлый санкюлотизм, пред всеми унижающий".

Письма свои к учителю, французу Лагарпу, подписывал: "L'aek Constantin"*. Но был не глуп, а только нарочно "валял дурака", чтоб оставили его в покое, не лезли с короною. "Деспотический вихрь", - называли его приближенные. Однажды на смотру лошадь его испугалась, шарахнулась. Выхватив палаш, он избил ее так, что она едва не издохла. Лошадью будет Россия, а Константин - бешеным всадником. Надеялись,

впрочем, что не захочет царствовать, по "отвращению природному".

____

* Осел Константин (фр.).

- Меня задушат, как задушили отца, - говаривал. - Знаю вас, канальи, знаю! - злобно усмехался. - Теперь кричите "ура", а если потащат меня на лобное место и спросят: "Любо ли?", вы так же закричите: "Любо! Любо!"

Рассказывали, что, когда прочел манифест о вступлении своем на престол, с ним сделалось дурно, велел пустить себе кровь.

- Что они, дурачье, вербовать, что ли, вздумали в цари! - кричал в бешенстве. - Не пойду! Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!

Когда в Петербурге узнали об этом, все возмутились.

- Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью, - говорили одни.

- Почему нельзя? - возражали другие. - В России все можно. Мы трусы. Погрози нам только гауптвахтою - и смиримся.

- Кому бараны достанутся? - держали заклад шутники.

- Какие бараны?

- Мы. Разве нас не гонят от одной присяги к другой, как стадо баранов?

Решали, кто лучше - Константин или Николай?

Император Павел I назначил пятимесячного младенца Николая шефом лейб-гвардии конного полка в чине генерал-лейтенанта. Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан и махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков. Воспитатель великих князей, дядька Ламсдорф, бил мальчиков по голове ружейным шомполом так, что они почти лишались чувств. "Бог ему судья за бедное образование, нами полученное", - говаривал впоследствии сам Николай.

Николай не готовился быть наследником; лет до двадцати не имел никаких служебных занятий, и все его знакомство с светом было в дворцовых передних и в секретарской комнате. "Бешен, как Павел, и злопамятен, как Александр". Правда, умен; но ума-то его и боялись пуще всего: чем умнее, тем злее.

В совершенстве усвоил прусский военный устав и вообще был немец. Предсказывали, что со вступлением его на престол немцы наводнят Россию, которая и без того уже кажется "почти завоеванной".

Константин - зверь, а Николай - машина. Что лучше, машина или зверь?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В зале Государственного совета, в Зимнем дворце, между генерал-адъютантскою комнатою и временными покоями великого князя Николая Павловича, в восемь часов утра все еще было темно, как ночью. Высокие окна, выходившие на двор, зияли чернотой непроницаемой. Черно-желтый туман, казалось, проникал, как дым удушливо-едкий, сквозь окна и стены. Восковые свечи в тяжелых канделябрах на длинном, крытом зеленым сукном столе, тускло горевшие, освещали только середину залы, а углы тонули во мраке; и там два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали таинственно-призрачно, как будто внучек и бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой.

Старые сановники, в пудре, в шелковых чулках и башмаках, в мундирах, шитых золотом, блуждали как дряхлые тени, сходились, шептались, шушукались. А в самом темном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника, - семидесятилетний министр внутренних дел Ланской, восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минкиной в первый раз появился он во дворце.

"Смерть девки отняла у него способность заниматься делами, а кончина государя возвратила ему оную", - говорили о нем.

Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича, и сегодня должен быть подписан манифест о восшествии на престол императора Николая I. С минуты на минуту ждали князя Александра Николаевича Голицына с манифестом, переписанным набело. Когда открывалась дверь, оглядывались - не он ли?

Высокого роста, благообразный, милый и важный старик, с полуседыми волосами, зачесанными на верх плешивой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта - в них меланхолия и чувствительность, - весь тихий, тишайший, осенний, вечерний, - Николай Михайлович Карамзин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. "Нервы мои в сильном трепетании. Слабею как младенец от всего", - жаловался. Поражен был смертью государя, как смертью друга, брата любимого; и еще больше - равнодушием всех к этой смерти. "Все думают только о себе, а о

России - никто". Все оскорбляло его, мучило, ранило; хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старою Бедною Лизою.

Николай поручил ему составить манифест о своем восшествии на престол. Составил, но не угодил. "Да благоденствует Россия мирною свободою гражданскою и спокойствием сердец невинных", - эти слова не понравились; велели переделать. Переделал - опять не понравилось. Манифест поручили Сперанскому.

Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо принять для блага отечества.

Никто не слушал его, и он замолчал, отошел. "Кончена, кончена жизнь! Умирать пора", - плакал и смеялся над старою Бедною Лизою.

Стоя теперь у камина, поглядывал издали на все с грустью задумчивой. "Гляжу на все, как на бегущую тень", - говаривал.

Рядом шептались два старичка-сановника.

- Надеюсь, мы вас не лишимся? - спрашивал один.

- Бог знает, что с нами будет! - пожимал плечами другой. - Намедни, за ужином, Петр Петрович шампанским угащивал: "Выпьем, говорит, неизвестно, будем ли завтра живы".

- Все грустить изволите, ваше превосходительство? - сказал, подойдя к Карамзину, обер-камергер Алексей Львович Нарышкин, весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаво-приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой старых вельмож екатерининских. Весельчак, забавник, шутивший даже тогда, когда другим было не до шуток.

- Не я один, а вся Россия... - начал было Карамзин.

- Ну, Россию лучше оставим, - усмехнулся Нарышкин тонкою усмешкою. - Давеча, во время панихиды, на Дворцовой площади расшалились извозчики. Послали унять: стыдно-де смеяться, когда все плачут о покойнике. "А чего, говорят, о нем плакать? Пора и честь знать, вишь, сколько процарствовал!" Вот вам и Россия!

Бледное лицо Карамзина вспыхнуло.

- Смею думать, ваше превосходительство, что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности...

- Ну, полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня, я только на одре смерти скажу: C'est la premiere dette, que je paye a la nature*, - рассмеялся Нарышкин.

____

* Это первый долг, который я плачу природе (фр.).

- Разве так дела делают? Все бумаги перепутали! У вас, сударь, нет царя в голове! - кричал злой карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов-Ростовский, на исполняющего должность государственного секретаря, старую седую крысу, Оленина.

- Что это он говорит: нет царя? - не понял князь Лопухин, председатель Государственного совета и Комитета министров, кавалер Большого Мальтийского Креста, старик высокий, стройный и представительный, набеленный, нарумяненный, с вставною челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни, от расстройства мыслей, глухота усилилась.

- Говорит, что нет царя в голове у Оленина, - прокричал ему Нарышкин на ухо. - А вы думали что?

- Я думал, нет царя в России.

- Да, пожалуй, и в России, - опять усмехнулся Нарышкин своей тонкой усмешкой. - И ведь вот что, господа, удивительно: уже почти месяц, как мы без царя, а все идет так же ладно или так же неладно, как прежде.

- Все вздор делают! В мячик играют! - продолжал кричать Лобанов.

- Как мячик? - опять не понял Лопухин.

- Ну, об этом нельзя кричать на ухо, - отмахнулся Нарышкин и шепнул Карамзину: - А вы о мячике слышали?

- Нет, не слыхал.

- "Pendant quinze jours on joue la couronne de Russie au ballon, en se la renvoyant mutuellement"*, - это Лаферонне, французский посол, намедни пошутить изволил Шуточка отменная, только едва ли войдет в Историю государства Российского!

____

* Пятнадцать дней играют короной России, перебрасывая ее, как мячик, один другому (фр.).

Лопухин подставил ухо и, должно быть услышав имя Лаферонне, понял, в чем дело, тоже рассмеялся, обнажая ровные, белые зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его, как от покойника.

- Ну, как ваши рюматизмы, Николай Михайлович? - проговорил приятно-сиповатым голосом старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звездами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подернутыми влажностью, - "глаза умирающего теленка", - сказал о них кто-то. Это был Михаил Михайлович Сперанский. - А

меня гемороиды замучили, - прибавил, не дождавшись ответа, и, вынув из табакерки щепотку лаферма двумя длинными тонкими пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утерся шелковым красным платком сомнительной чистоты, - на тонкое белье был скупенек, - и проговорил с самодовольной улыбкой: - Эх, был бы я молодец, если бы табаку не нюхал!

- Ну, что, ваше превосходительство, готов манифест? - спросил Карамзин, нарочно давая понять, что не сердится и не завидует.

Сперанский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмешкой на тонких губах:

- Ох, уж не говорите! Этот манифест мне вот где! - указал себе на шею. - Как объяснить необъяснимое, растолковать народу эти сделки домашние? Николай отрекается для Константина, а Константин - для Николая. Ни в кузов, ни из кузова.

- Так что же было делать?

- Не открывать завещания, каши не заваривать.

- Презреть волю покойного?

- Мертвые воли не имеют.

- Жестокие слова, ваше превосходительство!

- Лучше слова, чем дела жестокие. Нельзя играть законным наследием престола, как частною собственностью. Если покойный государь хоть сколько-нибудь любил свое отечество, которое в двенадцатом году дало ему такие неоспоримые доказательства своей преданности, то как мог он подвергнуть Россию... Ну, да что говорить! Последние десять лет превосходят все, что мы когда-либо о железном веке слышали... А впрочем, может быть, "все к лучшему", как ваше превосходительство говорить изволите.

Карамзин молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукою.

- Нездоровится, ваше превосходительство? - спросил Сперанский.

- Да, голова болит. Должно быть, от нервов. Нервы мои в сильном трепетанье...

- Это нынче у всех. От погоды, - заметил Сперанский. - А знаете, отличное средство для утверждения нервов: вместо чаю - холодный отвар миллефолия с горькой ромашкой.

- Миллефолий, миллефолий... - повторил Карамзин с улыбкой болезненной; что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Сперанский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подернутыми влажностью, "глазами умирающего теленка", - весь как миллефолий.

Сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз.

- Да, все к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света, - улыбнулся тихою улыбкою. - Есть Бог - будем спокойны.

- Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны, - улыбнулся и Сперанский. - Я всегда говорил: Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur.

- Как? Как вы сказали?

- Божеским Промыслом и человеческою глупостью Россия водится.

Карамзин опять закрыл глаза рукою. Ему хотелось плакать и смеяться вместе.

"Хороши мы оба, - думал он, - в такую минуту, когда решаются судьбы отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк - ничего, кроме слез. Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!"

Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семеня ножками, маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын.

- Ну, что, готов манифест? - обступили его все.

- Какой манифест? - притворился он непонимающим.

- Э, полноте, ваше сиятельство, весь город знает!

- Ради Бога, господа, секрет государственный!

- Да уж ладно, не выдадим. Только скажите: готов?

- Готов. Сейчас к подписи.

- Ну, слава Богу! - вздохнули все с облегчением.

И в темном углу зашевелились три тени дряхлые. Аракчеев медленно перекрестился.

А на противоположном конце залы открылась другая дверь из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича, и генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал, весь легкий, летящий, порхающий; казалось, что на руках и ногах его - крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новой чеканки монеты. Молодой среди старых, живой среди мертвых. И, глядя на него, все поняли, что старое кончено, начинается

новое.

Рассветало. Вставал первый день нового царствования - страшный, темный, ночной день. Черные окна серели - серели и лица трупною серостью. Казалось, вот-вот рассыплются, как пыль, разлетятся, как дым, тени дряхлые, - и ничего от них не останется.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

"Лейб-гвардии дворянской роты штабс-капитан Романов Третий - чмок!" - так шутя подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности и так же иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате.

В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком, между двумя восковыми свечами, перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил обычное приветствие:

- Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее почтение вашему здоровью - чмок!

И хотел прибавить: "Молодчина!" - но не прибавил - подумал: "Вон как похудел, побледнел. Бедный Никс! Бедный малый! Pauvre diable! Je deviens transparent!"*

---

* Бедняга! Я становлюсь прозрачным! (фр.)

Вообще был доволен своею наружностью. "Аполлон Бельведерский", - называли его дамы. Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. "Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается", - сказал о нем кто-то. Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые темные большие глаза; загнутый, с горбинкой, нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе: на что-то сердится или болят зубы. "Аполлон, страдающий зубною болью", - вспомнил шуточку императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на свое угрюмое лицо в зеркале; вспомнил также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь - потрогал пальцем - ноет; как бы флюс не сделался. Неужели взойдет на престол с флюсом? Еще больше огорчился, разозлился.

- Дурак, сколько раз я тебе говорил, чтоб взбивать мыло как следует! - закричал на генерал-адъютанта Владимира Федоровича Адлерберга, или попросту "Федорыча", который служил ему камердинером. - И вода простыла! Бритва тупая! - отодвинул чашку и отшвырнул бритву.

Федорыч засуетился молча. Черномазый, полный, мягкий, как вата, казался увальнем, но был расторопен и ловок.

- Ну, что, как Сашка спал? - спросил Николай, немного успокоившись.

- Государь-наследник почивать отменно изволили, - ответил Адлерберг. - А с утра все плачут об Аничкином доме и о лошадках.

- О каких лошадках?

- О деревянных: забыли в Аничкином.

"Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует", - подумал Николай.

- Где сегодня обедать изволите, ваше высочество? - спросил Адлерберг.

- В Аничкином, Федорыч, в последний раз в Аничкином! - вздохнул Николай.

Вспомнил, как мечтал "поступить в партикулярную жизнь" и предаться в уединении семейным радостям. "Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира обитает истинное счастье, то сделай одолженье, пошли его в Аничкин рай", - говаривал своему другу Бенкендорфу с тем видом чувствительным, который получил в наследство от матери, императрицы Марии Федоровны.

После кончины брата Александра переехал из Аничкина в Зимний дворец и жил здесь в строгом заключении, как под арестом, считая "неприличным показываться публике". Устроил себе кабинет-спальню в библиотеке бывшей половины короля прусского, комнате, ближайшей к зале Государственного совета, с которым соединялась она темным коридором.

Расположился, как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Узкая походная кровать неуютно поставлена рядом со стеклянным книжным шкапом; кожаный матрац набит сеном; к такому спартанскому ложу приучила его бабушка. На полу - открытый чемодан с бельем и платьем неразобранным. Единственный предмет роскоши - большое трюмо из красного дерева. У зеркала на полочках - щетки, гребенки и склянки духов - "Parfum de la Court"*; тут же, на особой подставке - ружья, пистолеты, сабли, шпаги и корнет-а-пистон.

---

* "Аромат Двора" (фр.).

Кончив бриться, скинул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел генеральский мундир Измайловского полка, темно-зеленый, с красным подбоем и золотым шитьем из дубовых листиков.

Стоя перед зеркалом, одевался долго, медленно, тщательно, как молодая красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку, с помощью Адлерберга затягивался, застегивался на все крючочки, петлички, пуговки. В мундире сделался еще длиннее, стройнее, тоньше, с выпяченною грудью, с талией в рюмочку, как молоденький прусский капрал - хоть сейчас на потсдамский развод.

Кончив одевание, Федорыч вышел из комнаты, а Николай опустился на колени перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стукая лбом. Прочитав положенные молитвы, хотел еще прибавить что-нибудь от себя на предстоящий трудный день. Но ничего не придумал - своих слов не было. Верил в Бога, но когда думал о Нем, представлялась черная дыра, "где строго и жучковато", как император Павел I говаривал о дисциплине в русской армии. Сколько ни молись, ни зови - никто из дыры не откликнется.

Встал и сел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночью; скверный сон приснился: будто бы вырос большой кривой зуб. Бабушка сказала, что надо вырвать. А он боится, плачет, убегает, прячется. А дядька Ламсдорф с большущею розгою ловит его, - вот-вот поймает и высечет. И вдруг - Ламсдорф уже не Ламсдорф, а брат Константин. Убегая от него, кидается бедный Никс к старой няне, англичанке мисс Лайон, и просит, чтоб она его высекла; знает, что розог все равно не миновать, а она не так больно сечет. И вдруг - няня уже не няня, а кто? Забыл. Помнил только, что сон кончался прескверно.

"А ведь сон в руку", - подумал. Недаром всегда боялся брата Константина, как будто предчувствовал, что он беды наделает; недаром тот издевался над ним еще во чреве матернем. "Никогда я такого брюха не видывал, тут место для четверых!" - шутил сынок над матушкой, когда она была Николаем беременна. И потом всю жизнь издевался. По имени Николая Угодника называл его "Мирликийским царевичем"*. "Ни за что, говорил, не буду царствовать, потому что боюсь революции. А ты, царевич Мирликийский, разве не боишься? Ведь революция - та же гроза". И напоминал ему, как в детстве, во время грозы, он прятал под подушку голову. "Я трус и знаю, что трус, а ты храбришься, но хуже моего трусишь". Вот и теперь сам толкнул его на престол и сам же над ним издевается: "Посмотрим, как-то ты из этой глупой истории выпутаешься, император-выскочка, un empereur parvenu!"

____

* Святитель Николай был архиепископом Мирликийским.

Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался: "Припадая к стопам твоим, дорогой Константин, умоляю, сжалься над несчастным!" И в то же время думал с зубовным скрежетом: "О, подлый шут! О, санкюлот проклятый! Что он со мною делает! За это убить мало!"

Каждое утро, после молитвы, имел обыкновение играть военную зорю на корнет-а-пистоне. Считал себя музыкантом; любил сочинять военные марши. На потсдамских маневрах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества, прусского наследного принца, производила учение на площади.

Взял корнет-а-пистон, приставил к губам, надул щеки, но извлек только слабый, жалобный звук и тотчас отложил в сторону. Нет, полно, теперь уж не до музыки. Тяжело вздохнул, и опять стало жалко себя: "Pauvre diable! Бедный малый! Бедный Никс!"

- Федорыч, чаю!

- Сию минуту, ваше высочество!

Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего: аппетита не было.

Бенкендорф доложил о Голицыне.

- С манифестом?

- Так точно, ваше высочество.

- Проси.

Вошел Голицын с Лопухиным и Сперанским.

- Готов?

- Готов, государь.

Голицын подал ему манифест, переписанный набело.

- Прошу садиться, господа, - сказал Николай и стал читать вслух:

- "Объявляем всем верным нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышнего..."

Не глядя на Сперанского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под этим взглядом, слишком ясным и проницательным.

Считал Сперанского якобинцем отъявленным. Недаром покойный император сослал его и едва не казнил как государственного изменника. "Пальца ему в

рот не клади", - думал о нем Николай, и, как бы ни был тот подобострастно-почтителен, все казалось ему, что он смеется над ним, как над маленьким мальчиком. Однажды кто-то при нем назвал Сперанского "великим философом"; Николай промолчал, только усмехнулся язвительно. Философию ненавидел больше всего на свете. А все-таки чувствовал, что нельзя кричать на него, как в манеже на своих офицеров покрикивал: "Господа офицеры, займитесь службой, а не философией. Я философов терпеть не могу! Я всех философов в чахотку вгоню!"

- "Кончиною в Бозе почившего государя императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего, - продолжал читать, - мы лишились отца и государя, двадцать пять лет России и нам благотворившего. Когда известие о сем плачевном событии, в двадцать седьмой день ноября месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий, мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского..."

Далее "объяснялось необъяснимое": тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина - все эти "домашние сделки", "игра законным наследием престола как частною собственностью".

- "Мы видели отречение его высочества, при жизни государя императора учиненное и согласием его величества утвержденное; но не желали и не имели права сие отречение, в свое время всенародно не объявленное и в закон не обращенное, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая верными присяге, нами данной, мы настояли, чтобы и все государство последовало нашему примеру; и сие учинили мы не в пререкание действительности воли, изъявленной его высочеством, и еще менее в преслушание воли покойного государя императора, общего нашего отца и благодетеля, воли, для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших..."

- Невразумительно. О порядке наследия весьма невнятно и невразумительно, - сказал Николай и почувствовал, что на воре шапка горит.

- Изменить прикажете, ваше величество?

Легко сказать: изменить - надо знать к а к. А этого-то он и не знал.

- Нет, пусть уж так, - махнул рукой и надулся.

- "С сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам Промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, повелеваем присягу в верности подданства учинить нам и нашему наследнику, его императорскому высочеству великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему; время вступления нашего на престол считать с девятнадцатого ноября тысяча восемьсот двадцать пятого года. Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да ниспошлет нам силы к понесению бремени, святым Промыслом Его на нас возложенного..."

- Не "возложенного", а "возложенному", - поправил Николай.

Сперанский молча взял карандаш.

- Постойте, как же правильней?

- Родительный падеж, ваше величество: "возложенного" - "бремени возложенного".

- Ах, да, родительный... Ну, так и поправлять нечего, - покраснел Николай. Никогда не был тверд в русской грамоте. И опять почудилось ему, что Сперанский смеется над ним, как над маленьким мальчиком.

- "Да укрепит благие намерения наши: жить единственно для любезного отечества, следовать примеру оплакиваемого нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, что для блага России желал тот, коего священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших".

Манифест ему нравился. Но он и виду не подал; дочитав до конца, еще больше надулся.

Взял перо, чтобы подписать, и отложил: подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился; но, как всегда при мысли о Боге, оказалась только черная дыра, где "строго и жучковато"; сколько ни молись, ни зови - никто из дыры не откликнется. Подписал, уже ни о чем не думая. Только спросил:

- Тринадцатое?

- Так точно, государь, - ответил Сперанский.

"А завтра понедельник", - вспомнил Николай и поморщился. Подписал двенадцатым.

- Счастие имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на престол или, вернее, сошествием, - потянулся к нему Лопухин и поцеловал

его в плечико.

- Почему сошествием? - удивился Николай.

- А потому, что фамилия вашего императорского величества так высоко поднялась в общем мнении публики, что члены оной как бы уже не восходят, а, скорей, нисходят на престол, - осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленьем пахнуло изо рта его, как от покойника.

- Ангел-то, ангел наш с небес взирает! - всхлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечико.

- Не с чем меня поздравлять, господа, - обо мне сожалеть должно, - проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти нескрываемым вызовом обернулся к Сперанскому, который сидел молча, потупившись. - Ну, а вы, Михайло Михайлыч, что скажете?

- "Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его", никогда я себе этих слов не прощу, ваше величество, - поднял на него Сперанский медленные глаза свои.

- Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи?

- Не того ждет Россия от вашего величества.

- А чего же?

- Нового Петра.

Лесть была грубая и тонкая вместе. "Il y a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand"*, - сказал однажды Сперанский о великом князе Николае Павловиче и мог бы то же сказать об императоре.

____

* В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого (фр.).

Вдруг наклонился, поймал руку его, хотел поцеловать; но тот поспешно отдернул ее, обнял его и поцеловал в лысину.

- Ну, полно, ваше превосходительство, льстить изволите, - усмехнулся недоверчиво, а сердце все-таки сладко дрогнуло: "второй Петр" был его мечтою давнею.

Помолчал и прибавил:

- Я никогда не думал вступать на престол. Меня воспитывали как будущего бригадного. Но надеюсь быть достойным своего звания; надеюсь также, что как я исполнил свой долг, так и все оный предо мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставлю каждого на свое место. Философия не мое дело. Пусть господа философы как себе хотят, а для меня жить - значит служить; и если бы все служили как следует, то всюду был бы порядок и спокойствие. Вот, господа, вся моя философия!

Взглянул на Сперанского. Тот молчал, зажмурив глаза и наклонив голову, как будто слушал музыку.

- А за сим, - продолжал Николай, возвышая голос, - не допускаю и мысли, чтобы во всем, касающемся дел вверенной мне Богом империи, кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути.

Говорил коротко, отрывисто, как будто с кем-то спорил или на кого-то сердился; входил во вкус - покрикивал, как молодой петушок, который хорохорится, но еще не умеет кричать как следует.

- И если я буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин, - кончил и встал.

- Государственный совет, ваше сиятельство, - обратился к Лопухину, - извольте собрать сегодня к восьми часам вечера для объявления манифеста и учинения присяги. И прошу вас, господа, чтоб никто не знал... Сегодня прошу, а завтра буду приказывать, - опять не удержался, кончил окриком.

Лопухин, Голицын и Сперанский вышли из комнаты. В одну дверь вышли, а в другую вошел Бенкендорф.

Бедный остзейский дворянин, будущий великий сыщик, шеф жандармов, начальник III Отделения, генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф имел наружность приятную, даже благородную, только лицо слегка помятое, - видно было, человек пожил; улыбка неподвижно-любезная, взор обманчиво-добрый, как у людей равнодушно-уклончивых. Не глуп, не зол, но рассеян и легок на все. "Скользите, смертные, - не напирайте. Glissez, mortels, n'appuyez pas", - говаривал.

Когда он вошел, в лице Николая сразу, без всякого перехода, одно выражение заменилось другим: угрюмо-надутое - умиленно-чувствительным. Вообще, выражения лица его менялись мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски. "Множество масок, но нет лица", - сказал о нем кто-то.

Схватил Бенкендорфа обеими руками за руки и уставился в лицо его молча.

- Подписать изволили, ваше величество?

- Подписал, - тяжело вздохнул Николай и поднял глаза к небу. - Я долг свой исполнил: наш ангел должен быть мною доволен. Все будет в порядке, конечно, или я жив не останусь. Воля Божья и приговор братний надо мною совершаются. Я, может быть, иду на гибель, но нельзя иначе. Жертвую собою для брата; счастлив, если, как подданный, исполню волю его. Но что будет с

Россией?..

Долго еще говорил. Привычку к болтовне слезливой получил тоже в наследство от матери.

Бенкендорф ждал с терпеливою скукою, когда он кончит.

- Ну что, как в городе? - проговорил Николай уже другим, деловым голосом, утирая платком сухие глаза, и опять так же мгновенно, как давеча, одна маска упала, другая наделась.

- Все тихо, ваше величество. Но, может быть, тишина перед бурей.

- А все-таки бури ждешь?

- Жду, государь. Число недовольных слишком велико. Революция в умах уже существует.

- А с Ростовцевым-то, кажется, я вчерась оплошал, - вдруг вспомнил Николай. - Так и не узнал имен. Никогда себе не прощу. Узнать бы имена да арестовать...

- Ни-ни, ваше величество, никаких арестов! А то вся шайка разбежится. Да и первый день царствования омрачать не следует.

- А если начнут действовать?

- Пусть, тогда и аресты никого не удивят. Потихоньку, полегоньку, с осторожностью. Ожесточать людей не надо. Ненавистников у вас и без того довольно.

- Зато друг один! - воскликнул Николай и крепко пожал ему руку.

Подошел к столу, отпер ящик и вынул пакет с надписью: "О самонужнейшем. Его Императорскому Величеству в собственные руки". Это был привезенный накануне Фредериксом из Таганрога донос генерала Дибича.

- На, прочти. Тут еще целый заговор.

- Во Второй армии? Тайное общество подполковника Пестеля? - спросил Бенкендорф, не раскрывая пакета.

- А ты уже знаешь? - удивился, почти испугался Николай: "Вот он какой! На аршин под землей видит!"

- Знаю, ваше величество. Еще в двадцать первом году имел счастье представить о сем донесении покойному государю императору.

- Ну, и что ж?

- Изволили оставить без внимания. Четыре года пролежала записка в столе.

- Хорошенькое наследство оставил нам покойник, - усмехнулся Николай злобно.

- Никому о сем деле говорить не изволили, ваше величество? - посмотрел на него Бенкендорф проницательно.

- Никому, - солгал Николай: стыдно было признаться, что и тут "сглупил" - сообщил о доносе Милорадовичу.

- Ну, слава Богу. Главное, чтоб не узнал Милорадович, - как будто угадал Бенкендорф мысль Николая. - Я тогда же осмелился доложить его величеству, что дела сего нельзя поручать Милорадовичу.

- Почему?

- Потому что он сам окружен злодеями.

- Милорадович? И он с ними? - побледнел Николай.

- С ними ли, нет ли, а только он, может быть, хуже всех заговорщиков. Страшно подумать, ваше величество, - судьба отечества в руках этого паяца бездушного! Я о нем такое слышал намедни, что ушам не поверил.

- Что же?

- Увольте, государь. Повторять гнусно.

- Нет, говори.

- Когда двадцать седьмого ноября, по открытии завещания покойного государя императора, Милорадович с неслыханной дерзостью воспротивился вступлению на престол вашего величества, кто-то ему говорит: "Вы, говорит, очень смело действуете, граф". А он: "Когда, говорит, шестьдесят тысяч штыков имеешь в кармане, можно быть смелым!" - засмеялся и похлопал себя по карману.

- Мерзавец! - прошептал Николай, еще больше бледнея.

- А давеча мне самому говорит, - продолжал Бенкендорф, - "Сомневаюсь, говорит, в успехе присяги. Гвардия не любит его", то есть вашего императорского величества. "О каком, говорю, успехе вы говорите? И при чем тут гвардия? Какой голос она может иметь?" - "Совершенно, говорит, справедливо: им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру".

- Мерзавец! - опять прошептал Николай.

- "Воля, говорит, покойного государя, изустно произнесенная, была бы священна для гвардии; но объявление, по смерти его, духовного завещания непременно будет сочтено подлогом".

- Подлогом? - вздрогнул Николай, и лицо его вспыхнуло, как от пощечины. - Что ж это, что ж это значит? Самозванец я, что ли?

- Граф Милорадович, ваше величество, - доложил Адлерберг, тихонько приотворяя дверь и просовывая голову.

"Не принимать!" - хотел было крикнуть Николай, но не успел: дверь открылась настежь и молодцеватой походкой, позвякивая шпорами, вошел

петербургский военный генерал-губернатор, граф Милорадович.

Выходя из комнаты, Бенкендорф столкнулся с ним в дверях и, низко поклонившись, уступил ему дорогу с особенной любезностью.

Сподвижник Суворова, герой Двенадцатого года, Милорадович, несмотря на шестой десяток, все еще сохранил осанку бравую, тот вид победительный, с каким, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще амарантовом*. "Рыцарем Баярдом"* называли его одни, а другие - "хвастунишкой, фанфаронишкой". У него были крашеные волосы, большой крючковатый нос, пухлые губы и масленые глазки старого дамского угодника.

____

* Малиновом (фр. amarante).

* Б а й я р д дю Террайль Пьер (1476 - 1524) - выдающийся французский военачальник, прозванный "Рыцарем без страха и упрека".

Взглянув на Милорадовича, Николай вдруг вспомнил конец своего сна о кривом зубе: когда, убегая от Ламсдорфа - Константина, бросился он к старой няне, англичанке мисс Лайон, - все-таки не так больно высечет, - то оказалось, что няня уже не няня, а Милорадович с большущею розгою, которой он и высек бедного Никса пребольно - еще больнее, чем Ламсдорф - Константин.

Милорадович вошел, поклонился, хотел что-то сказать, но взглянул на Николая и онемел - такая лютая ненависть была в искривленном лице его и глазах сверкающих. Но это промелькнуло, как молния, маска переменилась: глаза потухли, и лицо сделалось недвижным, точно каменным; один только мускул в щеке дрожал непрерывною дрожью.

- А я давно вас поджидаю, ваше сиятельство. Прошу садиться, - сказал он спокойно и вежливо.

Перемена была так внезапна, что Милорадович подумал, не померещилось ли ему то, другое лицо, искаженное.

- Ну что, как дела? Арестовали кого-нибудь? - спросил Николай.

- Никак нет, ваше высочество. Из лиц, поименованных в донесении генерала Дибича, никого нет в городе, все в отпуску. А насчет подполковника Пестеля приказ об аресте послан.

- Ну, а здесь, в Петербурге, спокойно?

- Спокойно. Порядок примерный по всем частям. Можно сказать, такого порядка никогда еще не бывало. Я почти уверен, что сообщников подобного злодеяния здесь вовсе нет.

- Почти уверены?

- Мнение мое известно вашему высочеству: для совершенной уверенности надлежало бы государю цесаревичу поспешить приездом в Петербург, прочесть духовную покойного государя в общем собрании Сената и, провозгласив ваше высочество государем императором, тут же первому приступить к присяге.

- Ну, а если этого не будет, тогда что? В успехе присяги сомневаетесь? Гвардия не любит меня? И хотя им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру? Так, что ли? - посмотрел на него Николай пристально, и мускул в щеке задрожал сильнее.

"Должно быть, подлец Бенкендорф донес", - подумал Милорадович, но не опустил глаз - начал вдруг сердиться.

- Извините, ваше высочество...

- Не высочество, а величество, - перебил Николай грозно. - Манифест уже подписан.

- Счастье имею поздравить, ваше величество, - поклонился Милорадович. - Но я все-таки должен исполнить свой долг. Я никогда не утаивал правды от вашего высочества... вашего величества и теперь не утаю: да, нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол...

- Ага, договорились! Подлогом сочтут манифест, а меня самозванцем? Так, что ли? - усмехнулся Николай, и опять что-то сверкнуло в лице его, как молния.

- Не понимаю, ваше величество...

- Не понимаете, граф? Собственных слов не понимаете?

- Не знаю, какой подлец передал слова мои в столь извращенном виде. И охота вашему высочеству слушать доносчиков, - побледнел Милорадович, и в старом "хвастунишке", "фанфаронишке" вдруг промелькнул старый солдат, сподвижник Суворова. Он глядел прямо в глаза Николаю с тем видом победительным, с которым, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще амарантовом.

Николай молча встал, подошел к столу, отпер ящик, тот самый, из которого давеча вынул донос Дибича, достал бумагу - это было письмо-донос Ростовцева - и вернулся к Милорадовичу.

- Известно ли вашему сиятельству, что и здесь, в Петербурге, существует заговор?

- Какой заговор? Никакого заговора нет и быть не может, - пожал плечами Милорадович.

- А это что? - сунул ему письмо Николай и, указывая на подчеркнутые строки, прочел:

- "Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России".

Милорадович взял письмо, перевернул, взглянул на подпись и отдал, не читая.

- Подпоручик Ростовцев. Знаю. Собрания "Полярной звезды" у Рылеева...

Об этих собраниях доносила ему тайная полиция. "Все вздор! Оставьте этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки", - отмахивался он с беспечностью.

И теперь отмахнулся:

- Все вздор! Мальчишки, писачки, альманашники...

- Как вы, сударь, смеете! - закричал Николай и вскочил в бешенстве; все тело его, длинное, тонкое, гибкое, разогнулось, как согнутый ивовый прут. - Ничего вы не знаете! Ни за чем не смотрите! Вы мне за это головой ответите!

Милорадович тоже встал, весь трясясь от злобы; но, сдержав себя, проговорил с достоинством:

- Если я не имел счастья заслужить доверенность вашего высочества, извольте повелеть сдать должность...

- Молчать!

- Позвольте узнать, ваше высочество...

- Молчать!

Несмотря на бешенство, Николай все сознавал и, если бы хотел, мог овладеть собою, но не хотел: точно огненный напиток, разлился по жилам восторг бешенства, и он предавался ему с упоением.

- Вон! Вон! Вон! - кричал, сжимая кулаки, топая ногами и наступая на Милорадовича.

"Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный", - подумал тот с отвращением и начал пятиться к двери: как большой добрый пес, весь ощетинившись, с глухим рычанием, пятится перед маленьким злым насекомым - пауком или сороконожкою.

Допятившись до двери, быстро повернулся и хотел выбежать из комнаты. Но опять, как давеча, столкнулся в дверях с Бенкендорфом. Разминулись уже без всякой любезности.

Бенкендорф подбежал к Николаю и обнял его, делая вид, что поддерживает.

- Мерзавец! Мерзавец! Что он со мною делает! И он, и брат Константин, и все, все!.. - упал к нему на грудь Николай, всхлипывая.

- Courage, sire, courage!* - повторял Бенкендорф. - Бог не оставит вас...

____

* Мужайтесь, ваше величество, мужайтесь! (фр.)

- Да, Бог... и тот, кого всю жизнь оплакивать будем, ангел наш на небеси, - поднял Николай глаза. - Я им дышу, им действую, пусть же он меня предводительствует! Да будет воля Божья, я на все готов. Умрем вместе, мой друг! Если мне суждено погибнуть, то у меня шпага с темляком - вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках и предстану на суд Божий с чистою совестью. Завтра, четырнадцатого, я - или государь, или мертв!

ГЛАВА ПЯТАЯ

13 декабря, утром, Голицын с Оболенским поехали к Рылееву.

Подъезжая к дому Российско-Американской компании, у Синего моста, на Мойке, Голицын узнал еще издали окна в нижнем этаже, с чугунной выпуклой решеткой.

Знакомый казачок Филька отпер им дверь и пропустил их без доклада, как, должно быть, пропускал всех. В последние дни у Рылеева с утра до ночи толпились гости, приходили и уходили, уже без всякой осторожности. Тут было сборное место, как бы главный штаб заговорщиков.

В маленькой столовой все по-прежнему и по-иному: белые кисейные занавески на окнах потемнели от пыли и копоти; бальзамины и бархатцы в горшках позасохли; половички повытерлись; невощеный пол потускнел; канареечная клетка опустела; лампадки перед образами потухли. Дверь в гостиную и спальню, где ютилась в тесноте жена Рылеева с дочкою, была закрыта наглухо. Как будто от всего отлетело то веселенькое, невинное, именинное и новобрачное, что было здесь некогда.

Хозяина не было в комнате. Незнакомые Голицыну военные и штатские, сидя за столом у самовара, вели беседу вполголоса.

- Дома Рылеев? - спросил Оболенский, здороваясь.

- У себя в кабинете. Кажется, спит. Да ничего, войдите. Велел разбудить, когда приедете.

Оболенский постучался в дверь. Никто не ответил. Он отворил и вошел

вместе с Голицыным в узенькую комнатку, где трудно было повернуться между большим кожаным диваном, письменным столом, книжным шкапом и сваленными пачками "Полярной звезды", альманаха, издаваемого Александром Бестужевым и Рылеевым. Окна выходили на задний двор с грязно-желтой стеной соседнего дома.

Было жарко натоплено. Пахло лекарствами. На ночном столике у дивана стояло множество склянок с рецептами.

На диване спал Рылеев в старом халате, с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мертвого. Похудел, осунулся так, что Голицын едва узнал его. Простудился, когда две ночи ходил по улицам, бунтуя солдат; заболел жабою; поправлялся, но все еще был нездоров.

Голицын остановился у двери. Оболенский подошел к дивану. Половица скрипнула. Спящий открыл глаза и уставился на вошедших мутным взором, неузнающим, невидящим.

- Что это? Что это? - тихо вскрикнул, приподнялся и обеими руками, судорожно, как будто задыхаясь, начал срывать с шеи платок. Но от неловких движений узел затягивался.

- Погоди, дай развяжу, - наклонился к нему Оболенский, распутал узел и снял платок.

- Разбудили мы тебя, напугали, Рылеюшка бедненький, - сказал, присев на диван и гладя его рукой по голове с тихою ласкою. - Дурной сон приснился?

- Да, опять эта гадость. Который раз уж снится!

- Да что такое?

- Не знаю, не помню... Что ж вы стоите, Голицын? Садитесь... Кажется, все насчет этой самой веревки...

- Какой веревки?

Рылеев ничего не ответил, только улыбался странной улыбкой: в ней был остаток бреда. И Оболенский тоже замолчал, вспомнил, как во время жабы ставили Рылееву мушку на шею и, делая перевязку, нечаянно задели за рану; Рылеев вскрикнул от боли, а Николай Бестужев рассмеялся: "Как тебе не стыдно кричать от таких пустяков! Забыл, к чему шею готовишь?"

- А у тебя опять лихорадка. Вон голова горячая. Не надо было сегодня выходить, - сказал Оболенский, положив ему руку на лоб.

- Не сегодня - так завтра. Ведь уж завтра-то выйду наверное, - опять улыбнулся Рылеев той же странной, сонной улыбкой.

- А завтра что?

- Э, черт! О пустяках говорим, а главного-то вы и не знаете, - начал он уже другим голосом: только теперь проснулся как следует. - Окончательный курьер из Варшавы приехал с отречением Константина. Завтра в семь часов утра собирается Сенат, и в войсках будет присяга Николаю Павловичу.

Со дня на день ждали этой вести, а все-таки весть была неожиданной. Поняли: завтра восстание. Замолчали, задумались.

- Будем ли готовы? - сказал, наконец, Оболенский.

Рылеев пожал плечами.

- Да, глупый вопрос! Никогда не будем готовы. Ну, что ж, завтра так завтра. С Богом! - решил Оболенский и, опять помолчав, прибавил: - А что ж делать с Ростовцевым?

Ростовцев, хотя и не член Тайного общества, но приятель многих членов, кое-что знал о делах заговорщиков. Свое свидание с великим князем Николаем Павловичем он изложил в рукописи под заглавием "Прекраснейший день моей жизни", которую отдал накануне Оболенскому и Рылееву, сказав: "Делайте со мною, что хотите, - я не мог поступить иначе".

- Мое мнение ты знаешь, - ответил Рылеев.

- Знаю. Но ведь убить подлеца - значит на себя донести. И стоит ли руки марать?

- Стоит, - произнес Рылеев тихо. - А вы, Голицын, что скажете?

- Скажу, что Ростовцев ставит свечку Богу и дьяволу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки. Но ведь в этом признании он мог открыть и утаить все что угодно.

- Итак, вы думаете, что мы уже заявлены? - спросил Рылеев.

- Непременно, и будем взяты, если не сейчас, так после присяги, - ответил Голицын.

- Что же делать?

- Никому не говорить о доносе и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Уж если погибать, так пусть, по крайней мере, знают, за что мы погибли!

- А ты, Оболенский, как думаешь? - опять спросил Рылеев.

- Ну, конечно, так же.

Рылеев одной рукой взял руку Голицына, другой - Оболенского.

- Спасибо, друзья. Я знал, что вы это скажете. Итак, с Богом! Мы начнем. И пусть ничего сами не сделаем, зато научим других. Пусть погибнем - и самая гибель наша пробудит чувства уснувших сынов отечества!

Говорил, как всегда, книжно, непросто; но просты были глаза на

исхудалом лице, огромные, темные и ясные, горевшие таким огнем, что становилось жутко; просто было лицо, на котором выражалось прежде слов все, что он чувствовал: "Так выступают изваяния на прозрачных стенках алебастровой вазы, когда внутри зажжен огонь", - вспомнились Голицыну слова Мура о Байроне.

Вспомнились также стихи Рылеева:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителен народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

- Да, наконец-то мы можем сказать: завтра начнем, - продолжал Рылеев. - Как я ждал этой минуты, как радовался! И вот, наступила минута. Отчего же нет радости? Отчего душа моя прискорбна даже до смерти?

Облокотился на колени, положил голову на руки и ссутулился, сгорбился, как будто весь поник под навалившейся тяжестью. Слезы задрожали в голосе.

- Простите, друзья! Не надо об этом...

- Нет, надо, Рылеев. Говори все, легче будет, - сказал Оболенский.

- "Планщиком" назвал меня Пушкин. "Не поэт, а планщик". Да, планщик и есть, - усмехнулся Рылеев. - Умозритель свободы, а не делатель. Планы черчу, а не строю.

- Не вы один, Рылеев, мы все такие же, - возразил Голицын.

- Да, все. Намедни, ночью, когда ходил по улицам, где-то в глухом переулочке, между казармами, собралась кучка солдат, слушают; о новой присяге все понимают: "Грудью, говорят, встанем за царя Константина, не выдадим!" Ну, я и разошелся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной, слышу, смеется солдатик пьяненький да ласково так, будто жалеючи: "Ах, барин, барин, хороший барин, да бестолковый! Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь!" Только всего и сказал, а я вдруг понял. Да, в России - нерусские, своим - чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные. Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность, говорим: за царя Константина. Лжем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет, предаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе как нашею собственною гибелью. Но все-таки думал, что увидим страну обетованную, хоть издали. Нет, не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков! Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобьем голову об стену, а из темницы не вырвемся. Кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся... О, тяжко, братья, тяжко, сверх сил!

Не кончил и закрыл лицо руками.

Оболенский опять подсел к нему и начал гладить его по голове с тихою ласкою. Как всегда в минуты нежности, называл его "Коньком": от "Коня" - Кондратий.

- Устал ты, измучился, Конек мой бедненький!

- Устал, Оболенский, ох, как устал! Вот, говорят другая жизнь. А с меня и этой довольно. Так устал, что, кажется, мало смерти, мало вечности, чтобы отдохнуть...

- А знаете, о чем я все думаю? - продолжал, помолчав. - Что это значит: да идет чаша сия мимо Меня. Как мог Он это сказать? Для того и пришел, чтобы чашу испить, - и вот не захотел, ослабел, ужаснулся. Это Он-то, Он - Бог! Совсем как человек... А что, Голицын, есть Бог? Только просто скажите - есть?

- Есть, Рылеев, - ответил Голицын и улыбнулся.

- Да, вот как просто сказали, - улыбнулся и Рылеев. - Ну, не знаю, может, и есть. А только вам-то на что? Ведь вы свободы хотите?

- А разве нет свободы с Богом?

- Нет. С Богом - рабство.

- Было рабство, а будет свобода.

- Будет ли? И когда еще будет? А сейчас... Нет, холодно, Голицын, холодно!

- Что холодно, Рылеев?

- Да вот ваш Бог, ваше небо. Кто любит небо, не любит земли.

- А разве нельзя вместе?

- Научите как?

- Он уже научил: да будет воля Твоя на земле, как на небе. Тут уже вместе.

- Планщик!

- Ну, что ж, пусть. За этот "план" умереть стоит!

Рылеев ничего не ответил, закрыл глаза, опустил голову, и слезы потекли по лицу его, такие тихие, что он сам их не чувствовал.

Оболенский наклонился к нему и обнимал, целовал, как больного ребенка, с тихою ласкою:

- Ничего, ничего, Конек! Небось, все будет ладно. Христос с тобой!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой, генерал-адъютанта Бистрома, был одним из главных учредителей Северного тайного общества.

В Москве, под Новинским, в приходе Покрова, в старинном, как бы деревенском, помещичьем доме, с флигелями и службами, среди густого, дремучего сада, жила семья Оболенских, без вельможных затей, просто и весело. Старый князь Петр Николаевич, рано овдовев, вел в миру иноческую жизнь, в посте и молитве. По наружности казался печальным и суровым. Но недаром маленькие внучки любили его без памяти и за легкие, как пух, седые волосы прозвали "Одуванчиком" таким он и был - весь легкий, светлый и нежный - с детьми сам как дитя.

Князь Евгений был первенец от второго брака князя Петра Николаевича Оболенского на Анне Евгеньевне Кашкиной, дочери генерал-аншефа, Тульского наместника при императрице Екатерине II. После смерти княгини Анны родная сестра ее Александра Евгеньевна, фрейлина императрицы Марии Федоровны, заменила детям покойную мать.

Когда молодой Оболенский поступил в гвардейский Павловский полк и переехал на житье в Петербург, тетка его, Анна Гавриловна Кашкина, поручила ему, как старшему, надзор за своим единственным сыном Сережею, совсем еще молоденьким мальчиком, шалуном и повесою, служившим в том же полку. Язычок у Сережи был острый, как бритва. Однажды пошутил он над полковым товарищем, поручиком Свиньиным, и тот вызвал его на дуэль. Оболенский, узнав об этом, поехал к обиженному и объявил, что дуэли не бывать, Сергей - мальчишка, на которого сердиться не стоит, а уж если Свиньин хочет непременно драться, то пусть дерется с ним, с Оболенским Свиньин принял вызов, дрался и был убит.

Человек добрый, неспособный мухи обидеть - нравом весь в отца, в Одуванчика, - князь Евгений был так потрясен этим убийством, что заболел; но виноватым себя не считал и никаких угрызений совести не чувствовал: думал, что убийство на дуэли не преступление, а несчастие, к тому же дрался не за себя, а за брата, единственного сына матери, почти ребенка, которого нельзя было спасти иначе. Мысли эти так успокоили его, что когда он выздоровел и вернулся к прежней рассеянной жизни, то забыл обо всем. Но вспомнил. Опять забыл, опять вспомнил - и так много раз, пока, наконец, не почувствовал, что ни когда не забудет, и чем дальше, тем воспоминание живее, острее, невыносимее. И хуже всего было то, что он сам не понимал, что с ним, продолжал считать себя невиновным, а между тем мучился так, что бывали минуты, когда ему казалось, что он сойдет с ума или наложит на себя руки.

В одну из таких минут начал молиться, почти бессознательно, повторяя слова детских молитв - "Отче наш", "Богородицу" - и стало легче. С тех пор часто молился и мало-помалу оживал, как человек полузадохшийся, который начинает дышать.

Наконец, понял, что ему становится легче только тогда, когда он перестает себя извинять, принимает всю тяжесть вины и считает себя самым обыкновенным убийцею, нисколько не лучше, а может быть, хуже тех, что режут людей на больших дорогах; понял, что нельзя оправдать, а можно только искупить вину. Но еще не знал - как. Думал бросить все и уйти в монастырь, но чувствовал, что этого мало: легче уйти, чем остаться в миру. Надо было деваться куда-нибудь, и он поступил сначала в ложу Каменщиков*, а оттуда - в Северное тайное общество. И скоро почувствовал, что здесь найдет то, чего искал, - свой искупительный подвиг.

____

* То есть в масонскую ложу (фр. macon - каменщик).

Внутренне изменился до неузнаваемости, а наружно оставался тем же блестящим гвардейским поручиком с довольно приятным, но обыкновенным лицом, здоровым, гладким, белым и румяным, круглым, безусым и безбородым; моложе своих лет - ему было двадцать девять.

По приезде Голицына из Василькова Оболенский часто видался с ним и с жадностью слушал рассказы его о Южном обществе, о Славянах, о Сергее Муравьеве и его "Катехизисе". Главную мысль Муравьева о свободе с Богом он сразу понял.

Утром 13 декабря от Рылеева Оболенский с Голицыным пошли к Трубецкому.

На Английскую набережную, где жил Трубецкой, можно было пройти от Синего моста прямо по Вознесенскому. Но после душной рылеевской комнаты им

захотелось подышать свежим воздухом, и, решив сделать крюк, пошли по набережной Мойки, к Поцелуеву мосту, чтобы, завернув направо за угол Морских казарм, выйти на Галерную.

В середине города было еще мало снега, но здесь - на пустынной Мойке - все уже бело, тихо, сонно и мягко. Между белым пуховиком земли и серым пологом неба желтенькие низенькие домики спали непробудным сном. И в этой уютной, как будто деревенской, тихости, серости, сонности казался невозможным завтрашний бунт, как в зимнем небе - молния.

Прохожих ни души: можно было говорить, как у себя в комнате.

- Трубецкой знает, что завтра? - спросил Голицын.

- Нет Мы ему скажем.

- А правда, говорят, будто он охладел к Обществу?

- Может быть, и правда.

- Трусит, что ли?

- Не думаю. На Шевардинском редуте, под ядрами, четырнадцать часов простоял так спокойно, как будто играл в шахматы. Но храбрость солдата - не храбрость заговорщика. Под Люценом, когда французы из сорока орудий громили нашу гвардию, Трубецкой вздумал пошутить над поручиком фон Боком; подошел к нему сзади и бросил ком земли, а тот свалился без чувств. Так и сам он, может быть, завтра свалится. Для такого дела, как наше, нет человека менее пригодного. Нерешителен и вежлив вежлив до сумасшествия. Себя и других готов погубить, только бы не сделать какого невежества. И революции хочет вежливой - революции на розовой воде. Это одно; а другое - слишком благополучен: молод, богат, знатен, женат на прелестной женщине. Евангельский юноша, который отошел с печалью от Господа, потому что у него было большое имение...

- В такую минуту отойти - подлость! - воскликнул Голицын.

Оболенский посмотрел на него немного исподлобья, пристальным взором умных и добрых глаз, слегка прищуренных, как будто улыбающихся, а на самом деле без всякой улыбки, серьезных, даже печальных.

- Нет, тут не подлость.

- А что же?

- Да вот, пожалуй, то самое, о чем говорил давеча Рылеев, не делатели, а умозрители. "Планщики", теорики, лунатики. Ходим по крыше, по самому краю, а назови любого по имени - упадет и разобьется оземь. Все наше восстание - Мария без Марфы*, душа без тела. И не мы одни - все русские люди такие же: чудесные люди в мыслях, а в деле - квашни, размазни, точно без костей мягкие. Должно быть, от рабства. Слишком долго были рабами.

---

* Речь идет о сестрах Марии и Марфе, которых посетил Христос. Марфа заботилась об угощении, а Мария слушала Христа (Евангелие от Луки. X, 38 - 42).

- Послушайте, Оболенский, а ведь дело плохо. Завтра восстание, а диктатор наш думает, как бы изменить повежливей. И зачем такого выбрали? Чего смотрел Рылеев?

- Ну, где же Рылееву? Ведь он совсем людей не знает. И себя-то самого не знает. Видели, как мучается, а отчего - не знает.

- А вы знаете?

- Кажется, знаю.

- Отчего же?

- От крови, - произнес Оболенский тихо, слегка изменившимся голосом.

- От какой крови?

- Кровь надо пролить, убить, - продолжал он еще тише. - Все обдумал, решил, расчел, как по пальцам. Помните Пестелев счет, сколько будет жертв? Тогда Рылеев не захотел, ужаснулся, а теперь сам считает: одного государя убить мало - надо всех членов царской фамилии Убийство одного не только не будет полезно, но, напротив, пагубно для цели Общества: разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев царского дома и породит войну междоусобную. С истреблением же всех - все поневоле примирятся, и новое правление установится. Да, обдумал, решил, расчел, как по пальцам, а что-то мешает. И сам не знает что, оттого и мучается.

- А вы и это знаете?

- Знаю, - ответил Оболенский и замолчал. Голицын - тоже, и обоим стало вдруг неловко, как будто стыдно смотреть друг другу в глаза. Какая-то тяжесть навалилась на них, и чем дольше молчание, тем больше тяжесть.

Завернули с Мойки на Крюков канал. Здесь было еще пустыннее, глуше, - только снег хрустел под ногами. Видели, что никого нет, но казалось, что кто-то за ними идет и подслушивает.

- Я знаю, что нельзя убить, - проговорил, наконец, Оболенский так странно-внезапно, что Голицын посмотрел на него с удивлением.

- Почему нельзя? Грех?

- Не грех, а просто нельзя, невозможно.

- Как невозможно? Убивают же люди друг друга.

- Убивают в безумии, в беспамятстве, нечаянно, а нарочно, в полном рассудке, нельзя. Решить: убью - и убить, этого человек не может.

- Ну, нет, может.

- Скажите пример.

- Да вот хоть война или смертная казнь.

- Это совсем другое. Казнит закон, а закон слеп, лица человека не видит - один закон для всех. И на войне тоже все убивают всех, а кто кого - неизвестно, лица не видно. А тут лицо, лицо - главное. Увидеть человека в лицо и убить - вот что невозможно. Не понимаете?

- Не понимаю, - вдруг почему-то рассердился Голицын. Вспомнил свое согласие с Пестелем - "всех до корня истребить", - и оно показалось ему легким по сравнению с этою тяжестью, которая теперь навалилась на них. - Вы как-то странно говорите, Оболенский, как будто что-то знаете, - заглянул ему прямо в лицо и увидел, что он покраснел густо-густо, до ушей, до корня волос; так краснеют маленькие дети, когда готовы расплакаться.

- Да, знаю, - проговорил Оболенский с усилием и вдруг начал бледнеть, бледнеть и побледнел, побелел как полотно. - А вы, может быть, не знаете, Голицын, что я человека убил, - прошептал почти беззвучным шепотом, и побелевшие губы улыбнулись так, что у Голицына сердце упало.

- Простите, Евгений Петрович, ради Бога! Вы меня не так поняли... Ну, какое же это убийство - на дуэли?

- Все равно какое. Убил - и знаю.

Опять оба замолчали, и тяжесть навалилась еще невыносимее.

- А у меня Трубецкой все из головы не выходит. Ведь этот, пожалуй, хуже Ростовцева, - хотел было Голицын переменить разговор, сбросить тяжесть, но вышло неестественно, и он сам это почувствовал. Опять рассердился. Жалел Оболенского, но чем сильнее жалел, тем больше сердился.

- А знаете что, Оболенский, - заговорил сухо, почти грубо, волков бояться, в лес не ходить: если нельзя убивать, так и бунтовать не надо.

- Нет, надо, - возразил Оболенский опять так же тихо, как давеча, по мере того как один горячился, другой утихал.

- Какой же бунт без крови? На розовой воде, по Трубецкому, что ли?

- Не бойтесь, Голицын, будет кровь. Нельзя убить нарочно, а ненарочных убийств всегда было сколько угодно, и у нас будут.

- А, вот что! Ну, кажется, я, наконец, начинаю понимать. Дураки убивать будут, а умные станут в сторонке, чтоб не запачкаться?

- Зачем вы так говорите? - взглянул на него Оболенский с укором. - Вы же знаете, что мы идем на муку крестную - вместе, все вместе. Больше этой муки нет на земле.

- Какая мука? Какая мука? Говорите прямо, надо убивать или не надо?

- Надо.

- И можно?

- Нет, нельзя.

- Нельзя и надо вместе?

- Да, вместе.

- Да ведь это значит рассудка лишиться? - остановился Голицын и затопал ногами в бешенстве. - Черт бы нас всех побрал! Что мы делаем! Что мы делаем! Рылеев мучается, Трубецкой изменяет, Ростовцев доносит, а мы с вами рассудка лишаемся. Квашни, размазни, точно без костей мягкие, русские люди, подлые, подлые! Святое дело в подлых руках!

- Ну, что ж, Голицын, какие есть, - улыбнулся Оболенский, и от этой улыбки лицо его вдруг изменилось, просветлело неузнаваемо. - А все-таки надо, все-таки надо начать. Пусть мягкие - окрепнем; пусть подлые - очистимся. И пусть ничего не сделаем - другие сделают. "Да будет один царь на земле и на небе - Иисус Христос", - это вся Россия когда-нибудь скажет - и сделает. Господь не покинет России. Только бы с Ним, только бы с Ним - и такая будет революция, какой мир не видал!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

"Диктатор" заговорщиков, князь Сергей Петрович Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, жил в доме своего тестя, графа Лаваля, на Английской набережной, около Сената.

Полунищий француз-эмигрант, женившись на московской купеческой дочке, миллионщице, наследнице семнадцати тысяч душ и богатейших медных заводов на Урале, Лаваль вышел в люди, сделался русским графом, камергером, тайным советником, директором департамента в министерстве иностранных дел. На балах и раутах его собиралось все высшее общество, дипломатический корпус и царская фамилия. Одна из его дочерей, Зинаида, была замужем за графом Лебцельтерном, австрийским посланником, другая, Екатерина, - за князем Трубецким.

На верхней лестничной площадке, выложенной древними мраморными плитами из дворца Нерона, встретил Голицына и Оболенского

почтительно-ласково старичок-камердинер, седенький, в черном атласном фраке, в черных шелковых чулках и башмаках, похожий на старого дипломата, и через ряд великолепных, точно дворцовых, покоев провел их на половину князеву, в его кабинет. Это была огромная, заставленная книжными шкапами комната, с окнами на Неву, очень светлая, но уютно затененная темными коврами, темной дубовой облицовкой стен и темно-зеленою сафьянною мебелью.

Хозяин встретил гостей со своей обычной, тихой и ровной, не светскою любезностью.

- Мы к вам на минутку, князь, - начал Оболенский, не садясь, несмотря на приглашение хозяина. - Рылеев очень просит вас пожаловать...

- Ах, Боже мой! - схватился Трубецкой за голову. - Я так виноват перед ним! Верите ли, господа, каждый день собираюсь, и вот все эти штабные дела проклятые. Но непременно, непременно, на днях... завтра же...

- Не завтра, а сегодня, сейчас. Мы за вами приехали, князь, и без вас не уедем, - произнес Оболенский с твердостью.

- Сейчас? Я, право, господа, не знаю. Да что ж вы стоите, садитесь. Ну, хоть на минутку. Не угодно ли позавтракать?

От завтрака отказались решительно, но должны были усесться в глубокие, колыбельно-мягкие кресла, у камина, уютно пылавшего в белесоватых полуденных сумерках. Заметив, что огонь может обеспокоить Голицына, Трубецкой подвинул экран так, чтобы ногам было тепло, а лицу не жарко, и только тогда уселся против них, спиною к свету - невольная уловка людей застенчивых.

- Дайте, господа, хоть с мыслями собраться.

Голицын оглянулся на дверь Трубецкой встал, подо шел к ней и запер на ключ.

- А та - на половину княгинину, там сейчас никого, - указал на другую дверь. - Позвольте, господа, говорить откровенно.

- Откровенность лучше всего, - подтвердил Голицын, вглядываясь в Трубецкого пристально.

Одет по-домашнему, во фраке. Не очень молод - лет за тридцать. Высок, сутул, худ, со впалою грудью, как у чахоточных, рябоват, рыжеват, с растрепанными жидкими бачками, с оттопыренными ушами, длинным, узким лицом, большим загнутым носом, толстыми губами и двумя болезненными морщинками по углам рта. Немного похож на "жида", как дразнили его в детстве товарищи. Некрасив, но в больших серых глазах, детски простых, печальных и добрых, такое благородство, что Голицын подумал: "Уж полно, не ошиблись ли мы с Оболенским?"

И вспомнились ему слова из сочиненной Трубецким конституции - "Устава Славяно-Русской империи": "Рабство отменяется, разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поелику оно противно христианской вере, по которой все люди - братья, все рождены на благо и все просто люди, ибо все пред Богом слабы". Весь он был в этих словах: не Брут, не Робеспьер и Марат, а вельможный "либералист", добрый русский князь, идущий к простому народу со свободой, братством и равенством. "Дон Кишот революции".

- Мое положение в Обществе весьма тягостно. Я чувствую, что не имею духу действовать к погибели, но боюсь, что власти не имею уже остановить, - заговорил глухим, сиповатым, но приятно-мягким голосом. "Слушаешь, точно рукой проводишь по бархату", - казалось Голицыну.

- Им нужно одно мое имя. Рылеев распоряжается всем, а я ничего не знаю. Не знаю даже, как попал в диктаторы...

Голицын чувствовал легкий запах чайной розы и все не понимал откуда. Наконец, опустив глаза, увидел на ручке кресла, в котором сидел, маленький дамский кружевной платок. Взял и понюхал. Трубецкой взглянул на него и чуть-чуть покраснел, замолчал. Голицын, тоже молча, подал ему платок; он сунул его в боковой карман и продолжал говорить.

- У Рылеева решимость действовать почти без всякой надежды. Но судя по средствам и по намерениям, сие есть верх безумия, верх безумия - вот...

Имел привычку повторять последние слова, немного запинаясь, растягивая и пришепетывая; в этом косноязычии было что-то вельможно-расслабленное и детски простодушное.

- Войск, кои могут быть употреблены для целей Общества, недостаточно. Никто из важных лиц в сем предприятии не участвует. Набрали пустой молодежи, которая только болтает. Но болтают в гостиных, а на площадях и улицах молчат. Смешно подумать, что три-четыре прапорщика, без весу, без имени, мыслят поколебать столетьями основанную империю... столетьями основанную империю - вот...

- Serge, вы здесь? - раздался молодой женский голос, и Голицын, оглянувшись, увидел на пороге незапертой двери, той, что вела на половину княгинину, незнакомую даму. Она хотела войти, но, заметив гостей, остановилась в нерешимости.

- Здравствуйте, князь, - узнала Оболенского и подошла к нему. - Извините, господа, кажется, я помешала?

- Позвольте, мой друг, представить вам князя Голицына, - сказал

Трубецкой.

Целуя руку ее, Голицын почувствовал запах чайной розы. Вся в черном - в трауре по покойном императоре, - с черными гладкими начесами волос на висках, она сама напоминала желтоватою, ровною и свежею бледностью лица чайную розу. Catache - от Catherine - звали ее по-французски, а по-русски немного смешно - "Каташею", но верно: маленькая, кругленькая, крепенькая, с быстрыми движениями, катающаяся, как точенный из слоновой кости шарик.

Все замолчали. Княгиня переглянулась с мужем, и по одному этому взгляду видно было, как они счастливы. Сами себя считали старою парочкой, а другим все еще казались "молодыми". Когда бывали вместе на людях, улыбались виноватой улыбкой, как будто стыдились своего счастья.

Улыбнулись и теперь, но в глазах у обоих была тревога вещая.

"Знает ли она, кто мы и зачем пришли? Если и не знает, то чувствует", - подумал Голицын и почему-то вдруг вспомнил Мариньку.

После нескольких любезных слов княгиня простилась.

- Еще раз, господа, извините. Не забудьте, мой друг, у Белосельских, в четыре часа. Я за вами карету пришлю, - выходя, обернулась к мужу, и опять в глазах была тревога вещая.

- Ради Бога, господа, извините! Я, право, не знал... Мне сказали, что княгиня уехала, - пролепетал Трубецкой в смущении.

- Полно, князь, - остановил его Голицын. - Если бы даже княгиня знала все, невелика беда. Неприятие женщин в общество я всегда почитал несправедливостью. Чем они хуже нас? А такие, как ваша супруга...

- Да ведь вы ее не знаете?

- Довольно увидеть, чтобы узнать.

Трубецкой весь просиял, покраснел и улыбнулся опять, как давеча, виновато-счастливой улыбкой.

- Ну, и ладно, и будет об этом, - заключил Голицын. - Время, господа, уходить. Будем же кончать скорее. Итак, Трубецкой, вы полагаете, что дело наше сверх сил?

- Да, Голицын, надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела, всю невозможность - вот... Никто на него не решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия...

- Вот именно, до сумасшествия, - поддакнул Голицын. Все время поддакивал, ловил его, "испытывал" А Оболенский, видимо страдая, молчал.

- Очень рад, господа, что вы меня поняли. Скажу прямо: я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сношении с членами Общества, как бы в виде начальника, я успею отвратить зло и сохранить хоть некоторый вид законности. Но ведь они сейчас Бог весть что затеяли: они хотят всех, хотят всех - вот... - прошептал Трубецкой испуганным шепотом, не смея выговорить страшных слов: "хотят истребить всех членов царской фамилии".

- А вы всех не хотите? Никого не хотите?

- Нет, не хочу, не могу, Голицын. Я не рожден убийцею...

- Так что же делать, князь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а пожалуй, и совсем выйти из Общества? - посмотрел ему Голицын прямо в глаза с тихой усмешкой.

Трубецкой замолчал: должно быть, вдруг западню почувствовал.

- Ну, так как же, князь? А? Как честному человеку, вам надобно ответить прямо - да или нет, остаетесь с нами или уходите? - проговорил Голицын с вызовом уже нескрываемым.

- Я, право, не знаю. Я еще подумаю...

- Подумаете? Да вот беда, ваше сиятельство, думать-то некогда: мы ведь завтра начинаем...

- Завтра? Как завтра? - пролепетал Трубецкой, уставившись на Голицына взором непонимающим.

- Ах, да, ведь вы еще не знаете, - посмотрел на него Голицын из-под очков, усмехаясь злорадно, и, как всегда в такие минуты, лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску. - Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина; завтра в семь часов утра по всем войскам присяга; мы собираемся на площади Сената и начинаем восстание...

- Восста... восста... - хотел Трубецкой выговорить и не мог; голос пресекся, глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы задрожали, и он вдруг сделался еще более похож на "жида".

"Ожидовел от страха", - подумал Голицын с отвращением.

- Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать!

- Перестаньте, Голицын, не смейте! - вскочил Оболенский и подбежал к Трубецкому. - Как вам не стыдно! Разве не видите?

Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил глаза. Оболенский расстегнул ему ворот рубашки.

- Воды! Воды!

Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, и зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться. Наконец, выпил, опять откинул голову и передохнул.

Оболенский, нагнувшись к нему, гладил его рукой по голове, как давеча

Рылеева.

- Ну, ничего, ничего, Трубецкой! Не слушайте Голицына: он вас не знает. Ужо поговорим с Рылеевым и как-нибудь устроим. Все будет ладно, все будет ладно!

- Да я ничего, пустяки, пройдет. У меня сердце... Все эти дни не очень здоров, а давеча выпил кофе, так вот, должно быть, от этого. Ну, и сразу... Я не могу, когда так сразу... Извините, господа, ради Бога, извините...

Рыжеватые волосы прилипли к потному лбу, толстые губы все еще дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски простое, жалкое: Дон Кихот, от бреда очнувшийся; лунатик, упавший с крыши и разбившийся.

Голицыну вдруг стало стыдно, как будто он обидел ребенка. Отвернулся, чтобы не видеть. Боялся жалости: чувствовал, что, если только начнет жалеть, все простит, оправдает "изменника".

- Послушайте, князь, - начал, не глядя на Трубецкого.

- Послушайте, Голицын, - перебил Оболенский спокойно и твердо, - я имею поручение от Рылеева привезти к нему Трубецкого. И я это сделаю. А вы не мешайте, прошу вас, оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас.

- Я только хотел сказать...

- Ступайте же, Голицын, ступайте! Делайте, что вам говорят!

- Это что ж, приказание?

- Да, приказание.

- Слушаю-с, - неловко усмехнулся Голицын, сухо поклонился и вышел.

"Все умные люди - дураки ужасные", - вспомнилось ему изречение. Умным дураком чувствовал себя в эту минуту.

"Да, Трубецкой о т о ш е л с п е ч а л ь ю, как тот богач евангельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? Не отойдем ли и мы с печалью?" - подумал Голицын.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побрился, скинул халат, надел фрак, хотя и домашний, но щегольской, темно-коричневый, "пюсовый"*, с модным из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстухом. Выйдя в залу, он, в разговоре с гостями, как всегда оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным румянцем на щеках казался почти здоровым.

---

* От фр. puce - блоха.

Утрешнего Рылеева Голицын не узнал - зато узнал давнишнего: лицо худое, скуластое, смуглое, немного цыганское; глаза под густыми черными бровями, огромные, ясно-темные; женственно-тонкие губы с прелестною улыбкою; вьющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начесаны, а на затылке упрямый хохол мальчишеский. И весь он - легкий, как бы летящий, стремительный, подобно развеваемому ветром пламени.

Через час, вслед за Голицыным, приехал Оболенский с Трубецким. Рылеев увел их в кабинет, затворил дверь в залу, где собралось уже много народу, и прямо начал о восстании.

- Все мы полагаемся на вас, Трубецкой, в принятии мер в теперешних обстоятельствах, ибо случай такой, какого упускать нельзя.

- Неужели, Рылеев, вы думаете действовать?

- Действовать, непременно действовать! Сами обстоятельства призывают к начатию действий. Теперь или никогда! Случай единственный, и если мы ничего не сделаем, то заслужим во всей силе имя подлецов, - сказал Рылеев, глядя на него в упор. - А вы что думаете, князь?

- Думаю, что надобно прежде узнать, какой дух в войсках и какие средства Общество имеет.

- Какие бы ни были средства, отступать уже нельзя: слишком далеко зашли. Может быть, нам уже изменили и все уже открыто. Вот извольте прочесть, - подал он письмо Ростовцева.

Трубецкой едва заглянул в него: не мог читать от волнения.

- Это что же, донос?

- Как видите. Ножны изломаны, и сабель спрятать нельзя. Мы обречены на гибель.

- Да ведь не только сами погибнем, но и других погубим. А мы не имеем права никого губить, никого губить, вот... - начал Трубецкой и подумал: "Теперь надо все сказать, объявить, что желаю отойти от Общества". С этим и ехал к Рылееву. Но язык не поворачивался: так невозможно было это сказать, как оскорбить, ударить по лицу человека невинного.

Звонок за звонком раздавался в передней.

- Что так много наезжает? - спросил Трубецкой.

- О курьере услышали, - ответил Рылеев и, помолчав, спросил: - Какую же силу, князь, вы полагаете достаточной?

- Несколько полков. По крайней мере, тысяч шесть человек или хотя бы один старый гвардейский полк, потому что к младшим не пристанут.

- Так нечего и хлопотать: за два полка, Московский - и лейб-гренадерский, я отвечаю наверное! - воскликнул Рылеев.

- Это только слова, - проговорил Оболенский. - Напрасно ты берешься отвечать так твердо: мы не можем поручиться ни за одного человека.

Рылеев взглянул на Оболенского и ничего не ответил, только пожал плечами и заговорил о плане восстания.

То легкое, летящее, стремительное, подобное развеваемому ветром пламени, что было в нем самом, передавалось и всем окружающим. Как будто он приказывал - и нельзя было противиться.

Трубецкой, слушая Рылеева, сам мало-помалу увлекся - так струна, смычком не задетая, отвечает рядом звенящей струне, - и начал развивать свой план.

- Мой план таков. Как скоро собраны будут полки для новой присяги и солдаты окажут сопротивление, то офицерам вывести их к ближнему полку, а когда тот пристанет, - к следующему, и так далее. Когда же полки почти всей или большей части гвардии будут собраны вместе - требовать прибытия государя цесаревича. Так будет соблюден весь вид законности и упорство полков сочтено верностью, но цель Общества уже потеряна. Если же известие к цесаревичу не будет послано, то идти к Сенату и требовать издания манифеста, в коем объявить, что назначаются выборные люди от всех сословий для утверждения, за кем остаться престолу и на каких основаниях. Между тем Сенат должен утвердить Временное правление, пока не будет учреждена Великим Собором народных представителей новая конституция Российская. По объявлении же сего манифеста, войскам непременно выступить из города и расположиться близ оного лагерем, дабы сохранить и посреди самого бунта совершенную тишину и спокойствие, тишину и спокойствие - вот...

"Революция на розовой воде", - вспомнилось Голицыну.

- Прекрасный план, Трубецкой, - сказал Рылеев. - Только боюсь, не долго ли будет от полка к полку ходить? И разве это непременно нужно?

- Непременно. Как же иначе?

- А так - прямо на площадь. Я полагаю, что довольно одной роте взбунтоваться, чтобы совершился переворот. Хоть пятьдесят человек придет, я становлюсь в ряды с ними! - воскликнул Рылеев, и глаза его загорелись таким огнем, что Трубецкому стало жутко. Он вдруг замолчал и почувствовал, что говорит совсем не то, что надо.

За дверью стоял гул голосов. Говорили все вместе, кричали, спорили. Слов не было слышно, но крик был такой, что казалось, вот-вот подерутся.

Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в комнату вбежал лейб-гвардии Московского полка штабс-капитан князь Щепин-Ростовский, весь красный, потный, растрепанный, взъерошенный, неистовый, похожий на пьяного или сумасшедшего.

- Ну и к черту вас всех, подлецы, трусы, изменники! - вопил он, потрясая кулаками. - Делайте, что знаете, а я...

- Чего вы, сударь, кричите? Мы не глухие, - остановил его Рылеев спокойно, и тот на мгновенье опешил.

- Послушайте, Рылеев, не могу я больше с ними! С этими филантропами ничего не поделаешь! Тут просто надобно резать, резать, да и только! А если не хотят, я первый пойду и на себя донесу...

- Да замолчите же, черт вас побери! - вскочил Рылеев и затопал ногами. - Взбесились вы, что ли? И чего лезете? Разве не видите, мы делом заняты. Ступайте, ступайте вон! - схватил он его за плечи и, хотя казался маленьким, слабеньким перед огромным Щепиным, так ловко повернул и вытолкал из комнаты, что Оболенский с Голицыным не успели опомниться, как все уже было кончено.

Рассмеялись. Но Трубецкому было не до смеху.

- Ну, вот, слышали? Это что же такое, Рылеев? А? - пролепетал он, бледнея.

- Ничего, Трубецкой, не беспокойтесь. Он только так говорит. Я его уйму. Он у меня в руках. Крикун, буян, а сердце доброе.

- Сердце доброе, а резать хочет, - продолжал Трубецкой. - И не он один, а все. Только о крови, об убийстве и думают. Нет, господа, я не могу... Бог видит душу мою: я не был никогда ни злодеем, ни извергом и произвольным убийцей быть не могу, не могу - вот...

"Я желаю отойти от Общества", - хотел сказать и не сказал - опять язык не повернулся. Чем больше хотел, тем меньше мог.

- Ну, я пойду, - вдруг поднялся и подал руку Рылееву со странно-внезапной поспешностью.

- Куда вы? Постойте. Как же так? Ведь мы еще не решили...

- Да что же решать? Все равно не решим.

- А ведь, пожалуй, что так: не решим. А может, и решать не надо. Обстоятельства покажут... Ну, ладно, с Богом! Значит, до завтра? - положил ему руки на плечи и приблизил лицо к лицу его так, что он почувствовал его дыхание. - А вы, Трубецкой, на меня не сердитесь? Не сердитесь, голубчик,

ради Бога! - улыбнулся детски нежной улыбкой. - Уж виноват, сам знаю, что виноват! Распоряжался, не слушался, вольничал. Ну, да уж этого больше не будет, кончено. Завтра вы диктатор, а я рядовой, ваш раб верноподданный. Пикни только кто против вас - своими руками убью! Ну, Христос с вами! - хотел его обнять, но тот отшатнулся и побледнел еще больше. - И обнять не хотите? Так, значит, сердитесь? - заглянул ему прямо в глаза Рылеев.

Трубецкой думал только о том, как бы уйти поскорей: боялся, чтобы опять дурно не сделалось. Вдруг обнял и поцеловал Рылеева. "Целованием ли предаешь Сына Человеческого?"* - подумал и выбежал из комнаты.

---

* Вопрос Христа, обращенный к Иуде (Евангелие от Луки. XXII, 48). Сын Человеческий - Христос.

Опомнился только на площадке лестницы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему. Трубецкой долго не мог понять что; наконец понял:

- А все-таки будете завтра на площади?

Сделал над собой усилье.

- Да что ж, если две какие-нибудь роты придут, что может быть? Кажется, все тихо пройдет, - ответил почти спокойно.

- А все-таки будете? - не отставал Оболенский, держал его за полу. Но Трубецкой уже ничего не ответил, вырвался, выбежал на улицу, бросился в карету, крикнул кучеру: "Домой!" - захлопнул дверцу и забился в угол ни жив ни мертв.

В карете пахло чайною розою - милым Каташиным запахом.

"Еще не знает! А ведь узнает когда-нибудь", - подумал с новым ужасом.

"А все-таки будете завтра на площади?" - опять прозвучало в ушах.

Вскочил, потянулся к окну, хотел опустить стекло и крикнуть кучеру: "Назад, к Рылееву!" Но ослабел, изнемог, упал на подушки, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Голицын решил, едучи в Петербург, остановиться в гостинице Демута на Мойке, у Полицейского моста. К себе на квартиру, в дом Бауера, у Прачешного моста, не заезжал, потому что она стояла все лето неубранная, а единственный слуга его, старый камердинер, уехал на побывку в деревню; да и сыщиков боялся, - знал от Рылеева, что за ним следят. Но когда привез в почтовом дилижансе из Москвы обеих спутниц своих, госпожу Толычеву с дочерью к Наталье Кирилловне Ржевской, сдал их ей с рук на руки и стал прощаться, чтобы ехать в гостиницу, старуха об этом и слышать не захотела.

- Что ты, батюшка, помилуй! Слыхано ли дело, из честного дома гостя в трактир отпускать! Мало тебе горниц, что ли? Весь дом пустехонек. Живи на здоровье. Да ведь ты же нам и свой человек.

Едва не с первых минут знакомства Наталья Кирилловна сосчиталась с ним свойством отдаленнейшим.

Голицын согласился тем охотнее, что ему казалось, что в доме ее он будет в большей безопасности, и еще потому, что не хотелось расставаться с Маринькой.

Дом Ржевской был на Фонтанке, у Аларчина моста. Место глухое. Кругом пустырь; только на окраине его виднелись низенькие домики. Иногда, по ночам, в темноте, с пустыря слышались вопли: "Караул! Грабят!" Испуганные люди вскакивали с постелей, отворяли форточки, высовывали головы и отвечали как можно внушительней: "Идем!" - но не шли, а снова забивались в теплые постели и с головой под одеяла прятались.

Окруженный старым садом, когда-то регулярным, но давно уже запущенным, дом похож был на загородный дворец вельмож екатерининских.

В больших сенях, с колоннами и мраморной лестницей, седые слуги дремали, вязали чулки или читали Псалтырь вполголоса. В обширных залах штофные обои на стенах полиняли и выцвели. Хрустальные подвески на люстрах, прозрачно-темные, как дымчатые топазы, тускло мерцали, дрожа и звеня, когда кто-нибудь шел по комнате. Огромные голландские печи из голубых изразцов были жарко натоплены. Во всех покоях накурено смолкою и тишина мертвая.

Бабушкина комната - угольная. Стены боскетом расписаны. Здесь, как в лавке старьевщика, шифоньерки, этажерки, стеклянные шкапчики с фарфоровыми куколками, круглые столики с медной решеткой, пузатые комоды с китайской инкрустацией - все напоминало о веке ином. На окнах - низенькие ширмочки с малиновыми стеклами, кидавшими на все предметы и лица нежный отсвет розовый, похожий на вечный закат. У одного из окон - клетка и подставка с шестом для белого, с желтым хохолком, попугая, Потапа Потапыча.

Бабушка была маленькая, сухонькая старушка с очень бледным, точно восковым, лицом, как у покойника: казалось, пролежала сутки в гробу, встала и опять начала жить. Всегда в туалете - шелковом платье стального

цвета, с рюшевым бароком около шеи, в белом тюлевом, с широким рюшем, чепце, в глянцевитых мелких фальшивых букольках - en grappes de raisin*; меховая кацавейка на плечах: старушка вечно зябла. За полчаса, перед тем как ей выйти из спальни, особая немка-приживалка, жирная, как купеческая лошадь, садилась в кресло и нагревала место.

---

* В виде виноградных гроздьев (фр.).

Бабушка в кресле сидела прямо, несмотря на множество подушечек, шерстяных, шелковых и бисерных. Рядом с нею на столике стояла коробочка с пудрою: старушка часто пудрилась и потом утиралась платочком или шкуркою из пузыря, домодельною. На круглой скамеечке, у ног ее, лежала, свернувшись, белая болонка Фиделька, презлая.

- Скажи, зачем ты так трясешь подносом? - спрашивала бабушка, когда поутру девка Марфушка подавала ей чай.

- Фиделька больно ноги кусает.

- Должно ли из-за этого трясти подносом? - удивлялась Наталья Кирилловна.

Была очень мнительна; при малейшем нездоровье ложилась в постель и привязывала к "пульсам" уксусные тряпочки. Не любила слышать о покойниках. Старая приживалка Захаровна прослышит, бывало, что кто-нибудь умер, придет к ней в спальню и шепнет на ухо.

- Молчи, что я знаю. Ты мне не говорила, слышишь! - строго скажет ей бабушка.

Однажды в мезонине, почти над самой старушкиной спальней, умерла другая приживалка, - в доме их было множество.

- Умерла, - шепнула Захаровна бабушке, указывая пальцем наверх.

- Ну, и молчи.

Вынесли покойницу украдкою, схоронили, а бабушка так и не помянула о ней, как будто никогда ее на свете не было.

Много видела на своем веку, а потому всего боялась и вздыхала о том, "как легко фортуна изменяется".

- Вся жизнь наша не что иное как газардная* игра!

---

* От фр. jeu de hasard - азартная игра.

После двух легких ударов часто впадала в полубеспамятство; тогда целыми днями сидела молча, не двигаясь, и тусклым взором следила, как попугай качается на колышке, пронзительно выкрикивая: "Потап Потапыч Потапов!" А потом вдруг оживлялась и вспоминала молодость, когда была фрейлиной при дворе Екатерины. Сообщала таинственным шепотом, как о последней новости, что князь Платон Зубов, "ce charmant vaurien"*, сумел убедить ее величество в своем "приятном умоначертании" Вспоминала с умилением о любезности императрицы-матушки.

---

* Этот очаровательный повеса (фр.).

- Бывало, заметит, что солнце кого беспокоит, - тотчас к окну подойдет и шторку опустит собственными ручками. Но зато и спуску не давала предерзостным: обер-секретарю Тайной экспедиции, Шешковскому, велено было взять из маскарада не в меру болтливую генеральшу Кожину, слегка на теле наказать и обратно туда же доставить со всякою благопристойностью.

Любила также рассказывать о господине Фонтенеле*, с которым видалась в Париже еще до революции.

---

* Ф о н т е н е л Бернар (1657 - 1757) французский литератор и ученый.

- Настоящий был философ: никогда не возвышал голоса, не сердился, не плакал и не смеялся. "Господин Фонтенель, говорю, вы никогда не смеялись?" - "Нет, говорит, я никогда не делал: "Ха! Ха! Ха!" Никакого чувства не знал, никого не любил - люди ему только нравились. "Господин Фонтенель, говорю, вы меня уважаете?" - "Je vous trouve fort aimable, madame"*. - "А если бы вам сказали, что я кого-нибудь убила, вы бы поверили?" - "Я бы подождал, сударыня", - говорит, а сам усмехается. Крепкий был старичок, больше лет ста прожил. Умница. Нынче таких не сыскать!

---

* Я считаю вас очень приятной женщиной, сударыня (фр.).

А люди нового века, с их куцыми мыслями, куцыми фраками, не нравились бабушке.

- Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани. Модники, мышиные жеребчики!

Не могла привыкнуть к новым широким панталонам навыпуск, которые

заменили старинные короткие штаны с чулками и башмаками.

- От санкюлотов пошла эта мода, от срамников, голоштанников, прости, Господи! - ворчала она и вспоминала, как на одном московском балу хозяин подбежал к щеголю, который явился первый в длинных штанах: "Что ты, говорит, за шутку выдумал? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты нарядился матросом!"

- С двенадцатого года Москва деженерировала*, - вздыхала Наталья Кирилловна, когда Нина Львовна рассказывала ей московские новости. - Поднял бы наших стариков, дал бы им взглянуть на Москву, - ахнули бы, на что она стала похожа. Ни сосьете*, ни вельможества. Да, обмелела Москва! Так все идет, что час от часу хуже. И глаза уж не глядели бы, и не слушала бы про то, что делается!

____

* От фр. dejenerer - приходить в упадок.

* Общество (фр. societe).

Единственным гостем Натальи Кирилловны был старичок Фрындин, Фома Фомич, отставной бригадир времен суворовских. Малого роста, приятной наружности, с бледно-голубыми, как выцветшие незабудочки, детскими глазками, с детскою улыбочкою, с тихим и ласковым голосом. Одет всегда с чрезвычайной опрятностью: в длиннополом коричневом кафтане французского покроя, со стальными пуговицами, в брызжах и манжетах, при шпаге, в пудреной косичке с лентою. Должно быть, когда-то влюблен был в бабушку и до конца жизни остался ей верен. Всегда чрезмерно почтителен; только играя в мушку или ломбер и входя в азарт, позволял себе шуточки: скажет, бывало, "семь в сердцах", вместо "семь в червях".

- Ну, ну, перестань, батюшка, что за прибаутки, - ворчала старушка.

- И, матушка, Наталья Кирилловна, отчего и не побаловать себя: коротка-то ведь жизнь! - улыбался старичок своей тихой улыбкой.

Когда бабушке хотелось подремать, он читал ей "Утехи любословия" или "Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца", а когда она скучала, старался ее позабавить какой-нибудь новостью.

- Вот, матушка, в "Северной пчеле" пишут, будто китайцы учат обезьян щипать листья с чайных дерев, потому что-де лучше людей по сучьям лазают.

- Да ты все врешь? - сомневалась бабушка. - Этак и я чаю пить не стану, из обезьяньих-то лап!

- Ничего, матушка, в трех водах у них лапки моют чистехонько, - утешал ее старичок.

А иногда любил пофилософствовать:

- Не бывает удовольственных для человека времен, кои бы не растворялись горестями следующих в большей пропорции. Тихое же сердце к радостям всегда отверсто. Вот я и радуюсь. Желаний никаких, именно никаких, в сем мире уже не имею, и нет человека на свете меня счастливее, - говорил, принюхивая медленно щепотку табаку из золотой табакерки с портретом императора Павла I и надписью: "По Боге он один, я им и существую". И такая тишина была в его улыбке ясной, что можно было поверить тому, что он говорил.

Любил сравнивать прошлый век с нынешним:

- Предки наши с меньшим просвещением, но с большим удовольствием жили. Роскоши такой, как мы, не имели, но и страха и беспокойства тоже. Удивительно, что не хотят люди спокойно жить и по стопам своих предков следовать. А что еще узрят внуки наши и правнуки, о том и подумать страшно!

После буйных сходок заговорщиков, где раздавались речи о мятеже, о крови, о России, в пожаре восстания пылающей, возвращался Голицын в тихий старый дом, как в сновиденье, царство призраков. Сновиденье рассеется, призраки исчезнут - и жалеть их нечего: все разметать, разрушить в старом доме так, чтобы не осталось камня на камне, - для этого он и шел на восстанье. Не хотел жалеть, а все-таки жалел Как будто проходили перед ним в последний раз и заглядывали в глаза его с тихою жалобою тихие тени прошлого.

Когда в тот день, 13 декабря, вернувшись от Рылеева, вошел он в бабушкину комнату, старушка, по обыкновению, сидела в низеньких креслах у столика с двумя восковыми свечами и раскладывала гранпасьянс нескончаемый. Старичок Фрындин читал прошлогодние "Ведомости". Нина Львовна вязала шарф, а Маринька метила белье.

В комнате было жарко натоплено, накурено смолкою, так что Голицын немного задохся со свежего воздуха. Он наклонился поцеловать ручку у бабушки. Фиделька залаяла и едва не укусила его за ногу. Попугай, дремавший в клетке, зашевелился, приоткрыл один глаз, поглядел на него и пробормотал сердитым голосом:

- Потап Потапыч Потапов!

Все как всегда: уютно, тихо, сонно, недвижно, неизменно, как в вечности.

- Где опять пропадал? Что это, батюшка, на месте не посидишь, с утра

до ночи по людям шляешься? - проворчала бабушка ласково.

- У дядюшки был, у князя Александра Николаевича. От вас поклон ему свез, - солгал Голицын, чтоб от расспросов отделаться.

- Да ты все врешь? Старик меня, чай, и не помнит.

- Помнит, бабушка. Кланяться велел и целовать ручку, - опять наклонился он, и Фиделька залаяла.

На минуту все замолчали, и стало еще тише, уютней, усыпительней.

- Marie, полно глаза слепить. При свечах метить нельзя, - сказала Нина Львовна.

Маринька сделала еще несколько стежков, закрепила нитку, откусила кончик и отложила работу.

- Поди-ка сюда, внучка, - позвала ее бабушка. - Что это ты нынче какая невеселая? Вот и личико бледное. Аль нездорова? - поцеловала ее и по щеке погладила. - Хоть и бледна, а очень, очень при своем авантаже сегодня!

И, обратившись к Нине Львовне, прибавила:

- Помилела-то как у нас Маринька. Женишка бы ей хорошего, да не вашего старого хрыча Аквилонова. Брось-ка ты свои Черемушки, мать моя, переезжай ко мне на житье, не поскучай старухою - будешь довольна. И жениха найду настоящего.

Нина Львовна молча потупилась и проворнее зашевелила спицами.

- А когда же вы обещанье ваше исполните, Марья Павловна? - сказал Голицын. Он видел, что ей тяжело, и хотел ей помочь отделаться от бабушки.

- Какое обещанье, князь?

- Показать сувенирчики.

- Ах, да. Я с удовольствием, если бабушка позволит.

- Я бы тебе сама показала, батюшка, да что-то ноги ломит, встать не могу. Покажи ему, Маринька.

Старушка любила показывать гостям свои сувенирчики и хвастать ими, как ребенок.

Марья Павловна подошла с Голицыным к стеклянному шкапчику, отперла его и начала показывать старинные вещицы - табакерки, бонбоньерки, медальоны, камеи, коробочки для мушек и пудры, саксонского фарфора куколки и чашечки.

- А это что? - спросил Голицын, указывая на маленькую вещицу из слоновой кости и золота.

- Блошная ловушечка. Видите, трубочка со множеством дырочек, снизу - глухие, а вверху - открытые. Стволик, намазанный медом, ввертывается в трубочку; блошки попадают в дырочки, прилипают к меду и ловятся, - объяснила Маринька. - Бабушка сказывает, что эти ловушечки носились на груди у модниц на шелковой ленточке.

- Надо же такое выдумать, - рассмеялся Голицын.

Маринька посмотрела на него молча, с тихою строгостью, и он понял, что не надо смеяться: эти бедные памятки старого века ей милы и дороги. Она ведь и сама немного похожа на них; в ее собственной прелести - благоухание прошлого. Да, не надо смеяться над прошлым: мы посмеемся над нашими дедами, а наши внуки - над нами; каждому свой черед, и своя блошная ловушечка у каждого.

- Маринька, как бы с вами поговорить наедине? - быстро шепнул он ей на ухо.

- Приходите ужо в голубую диванную, - ответила она таким же быстрым шепотом, заперла шкапик и вернулась к бабушке. Голицын потихоньку вышел из комнаты.

Бабушкин гранпасьянс кончался. Все следили за ним с любопытством.

- Бубны-то, матушка, бубны к червям! - волновался Фома Фомич.

- Отстань, батюшка! Чего суешься без толку, - сердилась Наталья Кирилловна.

- Письмо и дорога! Письмо и дорога! - не унимался Фома Фомич, то садился, то вскакивал, заглядывая в карты через плечо старушки.

- И вовсе не дорога, а смерть и марьяж, - возражала Нина Львовна, тоже вся в волнении.

- Ожидаемого получение и фортуна неизменная! - выложив последнюю карту, объявила бабушка торжественно.

- Фома Фомич, будьте добреньким, помогите мне пяльцы перетянуть, - сказала Маринька.

- Что это тебе на ночь глядя вздумалось? - удивилась Нина Львовна.

- Да я хочу завтра с утра начать. А то нынче дни такие короткие; как сядешь за работу, так и стемнеет, - покраснела Маринька до самых ушей - лгать не умела - и, наклонившись к матери, обняла ее, чтобы спрятать лицо. - Позвольте, маменька, голубушка, миленькая!

- Ну, ладно, ступай.

Миновав несколько темных комнат, где только ночники да лампадки теплились, Маринька с Фомой Фомичом вошли в голубую диванную. Здесь, у окна, за пяльцами с начатой вышивкой - белым попугаем на зеленом поле, должно быть, портретом Потапа Потапыча, - сидел Голицын.

- Ах, это вы, князь, - притворно удивилась Маринька и опять покраснела. - Фома Фомич, ради Бога, извините за беспокойство! Князь поможет мне пяльцы перетянуть. Я и забыла, что он обещал мне давеча...

- Что за беспокойство, сударыня, помилуйте! Так вы уж тут побудьте с князем, а я пойду отдохну в креслицах, что-то дрема долит. Да сон-то у меня чуткий - небось, если пройдет аль скличет кто, услышу и доложу немедленно. Tout a vos ordres, mademoiselle*, - шаркнул ножкой старичок с любезностью.

---

* Весь в вашем распоряжении, мадемуазель (фр.).

Понял, в чем дело. Мариньку любил как родную, терпеть не мог Аквилонова, а Голицына считал таким женихом, что лучше не надо.

Когда Фома Фомич вышел, Маринька села за пяльцы и наклонилась, тщательно рассматривая вышивку. Голицын сел рядом. Оба молчали.

- Ну, что же, князь, говорите, я слушаю, - улыбнулась она невольно. Он - тоже. И опять, как тогда, в дилижансе, по пути из Москвы в Петербург, оба смотрели друг на друга, улыбаясь молча и чувствуя, что это молчание сближает их неудержимо растущею близостью. Как будто после долгой разлуки увиделись и вспоминали, узнавали друг друга с удивлением радостным.

- Помните, Маринька, вы мне намедни сказали, что, может быть, у вас нет жениха. Ну, так как же, есть или нет? - спросил Голицын.

- А вам на что? - опять наклонилась она к вышивке и потрогала пальчиком желтый хохолок Потапа Потапыча.

- Маринька, милая, ведь вы же знаете на что, - взял он ее за руку, и она не отняла руки, только еще ниже опустила голову, так что лицо ее почти закрыли висевшие вдоль щек длинные локоны. Знала, что в эту минуту судьба ее решается. Хотела скрыть волнение и не могла. Сердце билось так, что казалось, он услышит.

- Что с вами? Что с вами, Маринька? Отчего вы не хотите говорить со мной, как прежде? Отчего вы такая?

- Какая? Нет, я ничего... Нельзя же все шалить да ребячиться. Ведь уж не маленькая. Пора и за ум взяться. Жизнь не шутка.

"Жизнь - Хо".

В терпенья сердца надо верить
И терпеливо ждать конца, -

вспомнилось Голицыну.

- Ну, что ж, не хотите говорить - и не надо. А только верьте, что бы ни случилось, Маринька, верьте, что есть у вас друг. Верите? Этому-то верите, да?

- Ну, конечно... - хотела она улыбнуться прежней улыбкой, но не могла. - Почти верю, - кончила уже с иною улыбкою, бледною, слабою.

- Почти? Разве можно верить почти? А впрочем, что же делать, значит, не заслужил, - горько усмехнулся он и отпустил ее руку.

Опять замолчали, и обоим стало тяжело; оба чувствовали, что говорят не то, что надо; слова разделяли, как будто после краткого свиданья наступала вновь разлука вечная.

- Это все, князь, что вы хотели, сказать?

- Нет, не все. Еще самое главное: когда будете решать с господином Аквилоновым, то помните, что вы свободны; долг за имение уплачен, и теперь уж никто у вас не отнимет Черемушек. Как хотите, так и решайте: вы свободны, Маринька.

Радость мгновенно блеснула в глазах ее и так же мгновенно потухла.

- Что вы говорите, князь? Долг заплачен? Кем?

- Все равно кем.

- Как все равно? Судьбу мою решают, а я не знаю кто...

- Ах, Боже мой, не в этом дело! Ну, если непременно хотите знать кто... - залепетал Голицын и вдруг покраснел, растерялся, как маленький мальчик. - Ну, Фома Фомич заплатил, вот кто...

- Фома Фомич? Откуда же он деньги взял? Ведь он еще беднее нашего.

- А, право, не знаю откуда. Должно быть, у бабушки...

- У бабушки? Да ведь маменька еще сегодня утром говорила с бабушкой, просила хоть часть заплатить, и бабушка ей наотрез отказала. Зачем вы говорите неправду, князь? Что у вас на уме? - посмотрела на него Маринька долго, пристально. - Валерьян Михайлович, сейчас же, сейчас же говорите, кто заплатил, а если не скажете, я Бог знает что подумаю...

Он молчал, и она вдруг поняла Побледнела и встала, не сводя с него глаз.

- Так это вы?.. Ну, спасибо, князь! Вы очень добры. Сжалились над бедною девушкою, облагодетельствовали... Но как же вы не подумали, что мы, хоть и бедные, а может быть, не захотим принять вашего подарка... милостыни? Если бы у вас была хоть капля не дружбы, а уважения ко мне и к маменьке, вы бы этого не сделали. А впрочем, я сама виновата, сама

позволила... глупая девчонка... глупая... глупая...

Закрыла лицо руками, опустилась на стул и заплакала. Худенькие плечики вздрагивали. Из-под сбившейся косынки обнажилась тоненькая шея и полудетская грудь; на этой груди, то подымавшейся, то опускавшейся от слез, выступали под смуглой кожей тонкие ключицы, тоже полудетские.

"Дурак! Дурак! Что я наделал!" - схватился Голицын за голову. Не знал, что для него в эту минуту важнее - освобождение России, восстание, революция или эта плачущая девочка.

Маринька встала и, не отнимая рук от лица, пошла к двери. Голицын бросился к ней.

- Маринька... Марья Павловна, постойте, постойте, не уходите, дайте сказать, выслушайте, ради Бога, выслушайте!

- Пустите! Пустите!

Но он не пускал, держал ее за руки.

- Ну, дайте же, дайте сказать! Не могу я так, Маринька! Ведь вот сейчас уйдете, и, может быть, никогда не увидимся...

Она остановилась, прислушалась.

- Только минутку... Я только хочу... Да сядьте же, сядьте, - умолял он, тащил ее за руку.

И она покорилась, пошла за ним, села на прежнее место.

- Дурак! Дурак! Все умные люди дураки ужасные, это обо мне сказано, - торопился он, сбивался и путался. - Ну и пусть дурак! Но если б я знал, что так выйдет... Неужели же вы меня таким подлецом считаете? Я хотел - просто... Вы сами намедни сказали, что можно - просто... Ведь вы не знаете, Маринька, в каких я сейчас обстоятельствах. Помните сказку: странник и верблюд в пустыне; верблюд взбесился, странник в колодец бросился, а там куст малины... Ах, не то, не то! Я все не то говорю. Я с ума схожу, Маринька... Не могу я вынести, что вы себя губите, потому что Аквилонов - гибель, хуже всякой гибели... Вы давеча сказали, что почти верите, что я ваш друг... Как это скучно, как страшно, что все в жизни - п о ч т и, ничего - с о в с е м не бывает... Ах, не то, опять не то... Погодите, что я хотел?.. Да, если бы ваш друг, почти друг, шел на смерть, на поединок, из которого, может быть, жив не вернется, и пожелал вам сделать добро - заплатить этот проклятый долг за Черемушки, чтобы спасти вас от гибели, - неужели вы не приняли бы, отказали бы в последней воле умирающему?

Она перестала плакать, отняла руки от лица и, еще не понимая слов, вслушивалась в голос его, вглядывалась в лицо, простое, милое, детское и такое жалкое, что опять, как тогда, в первые минуты сближения, сердце ее сжималось от страха, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда - и надо помочь ему, остеречь, спасти.

- Я так и знала! Я так и знала! - всплеснула она руками. - Говорите, сейчас же говорите! Что это значит? Какая смерть? Какой поединок?

- Не спрашивайте, Маринька. Я не могу сказать.

- Невеста?

- Какая невеста?

- Опять забыли? Невеста у вас...

- Никакой невесты нет. Ведь я же вам говорил...

- Говорили, что нет, а может быть, есть?

- Зачем вы мне не верите, Маринька? Разве не видите, что я говорю правду?

- Так что же, что? Да говорите же! Зачем вы меня мучаете? Что вы со мною делаете!

- Не могу сказать, - повторил Голицын.

От Фомы Фомича Маринька слышала, что "время теперь такое страшное", - император Константин Павлович отказался от престола, и войска должны присягнуть Николаю, а если не присягнут, то может быть бунт. "Уж не это ли?" - подумала с вещим ужасом.

- Я вам давеча неправду сказала, что почти верю вам. Не почти, а совсем. И что бы ни случилось, буду верить всегда. А только страшно, как страшно - знать и не знать! И что со мною будет, Господи!.. Валериан Михайлович, милый, а нельзя, чтоб этого не было?

- Нет, Маринька, нельзя.

- А когда?

- Не знаю. Скоро. Может быть, завтра.

- Завтра? Так значит, уйдете - и, может быть, никогда не увидимся?

Побледнела, наклонилась и положила ему руки на плечи. Он опустился на колени и руками обвил ее стан.

- Родная, родная, любимая, единственная!

Вдруг вспомнил Софью. Не изменяет ли небесной для земной? Но нет, измены не было. Любил в обеих - земной и небесной - одну, Единственную.

- Уйдете - и никогда, никогда, никогда не увидимся! - повторяла она и плакала; но это уже были не прежние, горькие, а новые, сладкие слезы любви.

- Нет, Маринька, увидимся. А если увидимся, вы меня не покинете?

Она наклонилась к нему еще ниже, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал ее дыхание. Они смотрели друг на друга, улыбаясь, молча, и опять вспоминали, узнавали друг друга, как сквозь вещий сон незапамятно давний, много раз виденный. Улыбки сближались, сближались - и, наконец, слились в поцелуй.

- Родная! Родная! Родная! - повторял он, как будто в одном этом слове было все, что он чувствовал. - Перекрестите меня, Маринька. Я ведь и за вас, может быть, на смерть иду.

- Почему за меня?

- Потом узнаете.

- Тоже нельзя сказать?

- Да, нельзя. Перекрестите же.

- Ну, Христос с вами! Сохрани, помоги, спаси, Матерь Пречистая! - благословила она его теми же словами, как некогда Софья, и поцеловала уже с материнскою нежностью.

"Да, Матерь, Матерь Пречистая! - подумал он. - Родная мать-земля. Мать и Невеста вместе. На муку крестную, на смерть - за нее, за Россию, Матерь Пречистую!"

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ночь с 13 на 14 декабря в маленьких комнатках Рылеева в последний раз собрались заговорщики. Здесь, ночью, так же как днем, толпились они, приходили и уходили. Но уже не кричали, не спорили, как давеча; речи были тихи, лица торжественны: все чувствовали, что наступила минута решительная.

Пожилой человек, в потертом зеленом фраке, высоком белом галстухе и черепаховых очках, с лицом как будто сухим и жестким, а на самом деле восторженно-мечтательным, отставной чиновник канцелярии московского генерал-губернатора, барон Владимир Иванович Штейнгель, один из старейших членов Северного общества, читал невнятно и сбивчиво, по черновой измаранной:

- В манифесте от Сената объявляется:

"Уничтожение бывшего правления.

Учреждение Временного - до установления постоянного.

Свободное тиснение и уничтожение цензуры.

Свободное исповедание всех вер.

Равенство всех сословий перед законом.

Уничтожение крепостного состояния.

Гласность судов.

Введение присяжных.

Уничтожение постоянной армии".

- Чу, а как же мы все это сделаем? - спросил кто-то.

- Очень просто, - ответил Штейнгель. - Заставим Синод и Сенат объявить Верховную думу Тайного общества Временным правительством, облеченным властью неограниченной; раздадим министерства, армии, корпуса и прочие начальства членам Общества и приступим к избранию народных представителей, кои долженствуют утвердить новый порядок правления по всему государству Российскому...

Каждый, кто входил в эти маленькие комнатки, сразу пьянел, точно крепкое вино бросалось ему в голову; дух захватывало от чувства могущества: что захотят, то и сделают; как решат, так и будет.

"Ничего не будет, - думал Голицын. - А может быть, и будет? Безумцы, лунатики, планщики, а может быть, и пророки? Может быть, все это - не исполнение, а знаменье; зарница, а не молния? Но где была зарница, там будет и молния".

- Город Нижний Новгород, под именем С л а в я н с к, будет новой столицей России, - объявил Штейнгель.

Голицын, прищурив глаза, смотрел, как восковые свечи тускло мерцают в облаках табачного дыма, и ему казалось, что он уже видит золотые маковки Славянска, Града Грядущего, Сиона русской вольности.

Инженерный подполковник Батенков, сутулый, костлявый, неповоротливый, медлительный, говорил с трудом, точно тяжелые камни ворочал; курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из нее высасывал. Герой Двенадцатого года, потерявший в сраженье под Монмирале команду с пушками "от чрезмерной храбрости", был мастером на рукоделье женское, любил вышивать по канве. И теперь тоже по канве вышивал - мечтал о своем участии во Временном правительстве, вместе со Сперанским, генералом Ермоловым, архиепископом Филаретом и Пестелем.

Предлагал "обратить военные поселения Аракчеева в национальную гвардию - guarde nationale и передать Петропавловскую крепость муниципалитету, поместив в оной городовой совет с городовою стражею".

- У нас в России ничего не стоит сделать революцию: только объявить Сенату да послать печатные указы, то присягнут без затруднения. Или взять

немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку - и можно бы произвести славных дел множество!

- По крайней мере, о нас будет страничка в истории! - воскликнул драгунский штабс-капитан Александр Бестужев и, подняв глаза к небу, прибавил чувствительно: - Боже мой, неужели отечество не усыновит нас?..

- Ну, уж это лучше оставьте, - проговорил Оболенский сухо и поморщился.

Лейб-гренадерский полковник Булатов, хорошенький, тоненький, беленький, похожий на фарфоровую куколку, с голубыми удивленными глазками, с удивленным и как будто немного полоумным личиком, слушал всех с одинаковым вниманием, словно хотел что-то понять и не мог.

- Одно только скажу вам, друзья мои: если я буду в действии, то и у нас явятся Бруты, а может быть, и превзойдут тех революционистов, - вдруг начал и не кончил, сконфузился.

- Какой же план восстания? - спросил Голицын.

- Наш план такой, - ответил Рылеев. - Говорить против присяги, кричать по полкам, что Константина принудили и что отказ по письму недостаточен, пусть манифестом объявит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, вести их прямо на площадь.

- А много ли будет полков? - полюбопытствовал Батенков.

- А вот считайте: Измайловский весь, Финляндского батальон, московцев две роты, лейб-гренадер тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии часть, а также артиллерии.

- Не надо артиллерии, холодным оружием справимся! - опять выскочил Булатов.

- Успех несомнителен! Успех несомнителен! - закричали все.

- Ну, а что же мы будем делать на площади? - спросил Оболенский.

- Представим Сенату манифест о конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию.

- Легко сказать: арестуем. Ну, а если убегут? Дворец велик и выходов в нем множество.

- Недурно бы достать план, - посоветовал Батенков.

- Царская фамилия не иголка: когда дело дойдет до ареста, не спрячется, - рассмеялся Бестужев.

- Да ведь мы и не думаем, чтобы одним занятием дворца успели кончить все, - продолжал Рылеев. - Но если государь бежит со своею фамилиею, довольно и этого: тогда вся гвардия пристанет к нам. Надобно нанесть первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию. Помните, друзья, успех революции в одном слове: дерзай! - воскликнул он и, подобно развеваемому ветром пламени, весь трепетно-стремительный, легкий, летящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как никогда.

- Вы, молодые люди, о русском солдате никакого понятия не имеете, а я его знаю вдоль и поперек, - заговорил штабс-капитан Якубович, худощавый, смуглолицый, похожий на цыгана, с черной повязкой на голове простреленной, "кавказский герой". - Кабаки разбить, вот с чего надо начать, а когда перепьются как следует, - солдаты в штыки, мужики в топоры, - пусть пограбят маленько; да красного петуха пустить, поджечь город с четырех концов: чтоб и праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви, да крестным ходом во дворец, захватить царя, огласить республику - и дело с концом!

- Любо! Любо! Вот это по-нашему! К черту всех филантропишек! - закричал, забушевал князь Щепин. - Скорее! Скорее! Утра ждать нечего! Сию же минуту, немедленно!

Вскочил - и все повскакали, как будто и вправду готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем.

- Что вы, господа, помилуйте! Куда же теперь, ночью? До объявления присяги солдаты не двинутся. И разве не видите, Якубович шутит?

- Нет, не шучу. А впрочем, если вам угодно за шутку принять... - усмехнулся Якубович двусмысленно.

- Нет, друзья, подвизаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкие. Для чистого дела чистые руки нужны. Да не осквернится же святое пламя вольности! - заговорил опять Рылеев, и мало-помалу все приходили в себя, утихали, опоминались.

В уголку, у печки, за отдельным столиком, уставленным бутылками, сидели Кюхельбекер и Пущин.

Коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер или попросту Кюхля, русский немец, издатель журнала "Мнемозина", молодой человек, белобрысый, пучеглазый, долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется "караморой", по собственному признанию, "ничего не делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершении рода человеческого"; не был даже членом Тайного общества, зато участвовал в ином тайном обществе - Московских "любомудров", поклонников Шеллинга.

Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старинный собутыльник, "ветреный мудрец", по слову поэта, имевший слабость к вину, картам и женщинам, покинул блестящую военную карьеру и поступил

маленьким чиновником в уголовный департамент Московского надворного суда, чтобы доказать примером, что можно приносить пользу отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятия. "Маремьяна-старица"*, "Мать-Софья-о-всех-сохнет" - эти лицейские прозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равной ко всем. Какой-нибудь спор двух старых лавочниц у Иверской* о мотке ниток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности.

---

* Маремьяна-старица за весь мир печалится.

* Иверская икона Божией Матери находилась в надвратной церкви Воскресенских (позднее Иверских) ворот Китай-города. Во время реконструкции Москвы церковь и ворота были снесены.

Кюхельбекер с Пущиным вели беседу о натурфилософии.

- Абсолют есть Божественный Нуль, в коем успокаиваются плюс и минус, идеальное и вещественное. Понимаете, Пущин?

- Ничего не понимаю, Кюхля. Нельзя ли попроще?

- А попроще - так. Натура есть гиероглиф, начертанный Высочайшею Премудростию, отражение идеального в вещественном. Вещественное равно отвлеченному; вещественное есть то же отвлеченное, но только разрозненное и конечное. Понимаете?

Пущин глядел на него глазами слегка осовелыми - выпил лишнее - и слушал с таким же вниманием, как тех двух лавочниц у Иверской.

Отставной армейский поручик Каховский, с голодным, тощим лицом, тяжелым-тяжелым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и глазами жалобными, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, расхаживал из залы в кабинет, все по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, туда и назад, однообразно-утомительно, как маятник.

- Будет вам шляться, Каховский! - окликнул его Пущин.

Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить.

- Вещественное и отвлеченное одно и то же, только в двойственной форме. Идея сего совершенного единства и есть Абсолют. Искомое условие всех условий - Безуслов. Ну, теперь поняли? - заключил Кюхельбекер.

- Ничего не понял. И какой же ты, право, Кюхля, удивительный! В этакую минуту думаешь о чем! Ну, а завтра на площадь пойдешь?

Каховский вдруг остановился и прислушался.

- Пойду.

- И стрелять будешь?

- Буду.

- А как же твой абсолют?

- Мой абсолют совершенно с этим согласен. Брань вечная должна существовать между добром и злом. Познанье и добродетель - одно и то же. Познанье есть жизнь, и жизнь есть познанье. Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить! - воскликнул Кюхля и, неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлевший светом внутренним, был почти прекрасен в эту минуту.

- Ах, ты мой Абсолютик, Безусловик миленький! Цапля ты моя долговязая! - рассмеялся Пущин и полез к нему целоваться.

- Напрасно смеяться изволите, - вдруг вмешался Каховский. - Он говорит самое нужное. Все пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь! - наклонившись к Пущину, поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим; потом выпрямился, круто повернулся на каблуках и опять зашагал, зашатался, как маятник.

Было поздно. Казачок Филька давно уже храпел, неестественно скорчившись на жесткой выпуклой крышке платяного ящика в прихожей, под вешалкой. Гости расходились. В кабинете Рылеева собралось несколько человек для последнего сговора.

- А ведь мы, господа, так и не решили главного, - сказал Якубович.

- Что же главное? - спросил Рылеев.

- Будто не знаете? Что делать с царем и с царской фамилией, вот главное, - посмотрел на него Якубович пристально.

Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все на него смотрят и ждут.

- Захватить и задержать их под стражею до съезда Великого Собора, который должен решить, кому царствовать и на каких условиях, - ответил он, наконец.

- Под стражею? - покачал головою Якубович сомнительно. - А кто устережет царя? Неужели вы думаете, что приставленные к нему часовые не оробеют от одного взгляда его? Нет, Рылеев, арестованье государя произвело бы неминуемую гибель нашу или гибель России - войну междоусобную.

- Ну, а вы-то сами, Якубович, как думаете? - вдруг заговорил все время молчавший Голицын. Давно уж злил его насмешливый вид Якубовича. "Дразнит, хвастает, а сам, должно быть, трусит!"

- Да я что ж? Я как все, - увильнул Якубович.

- Нет, отвечайте прямо. Вы задали вопрос, вы и отвечайте, - все больше злился Голицын.

- Извольте. Ну, вот, господа, если нет других средств, нас тут шесть человек...

Каховский, продолжая расхаживать, вошел в кабинет и, дойдя до окна, повернулся, чтобы идти назад, но вдруг опять остановился и прислушался.

- Нет, семь, - продолжал Якубович, взглянув на Каховского. - Метнемте жребий: кому достанется - должен убить царя или сам будет убит.

"А может быть, и не хвастает", - подумал Голицын, и вспомнились ему слова Рылеева. "Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового ею жертвовать во всяком случае".

- Ну, что ж, господа, согласны? - обвел Якубович всех глазами с усмешкой.

Все молчали.

- А вы думаете, что так легко рука может подняться на государя? - проговорил, наконец, Батенков.

- Нет, не думаю. Покуситься на жизнь государя не то, что на жизнь простого человека...

- На священную особу государя императора, - опять разозлился Голицын. Но Якубович не понял.

- Вот, вот, оно самое! - продолжал он. - Священная Особа, Помазанник Божий! Это у нас у всех в крови. Революционисты, безбожники, а все-таки русские люди, крещеные. Не подлецы же, не трусы - все умрем за благо отечества. Ну, а как до царя дойдет, рука не подымется, сердце откажет. В сердце-то царя убить трудней, чем на площади.

- Цыц! Молчать! - вдруг закричал Каховский так неожиданно, что все оглянулись на него с удивлением.

- Что с вами, Каховский? - удивился Якубович так, что даже не обиделся. - На кого вы кричите?

- На тебя, на тебя! Молчать! Не сметь говорить об этом! Смотри у меня! - погрозил он ему кулаком и хотел еще что-то прибавить, но только рукой махнул и проворчал себе под нос: - О, болтуны проклятые! - повернулся и, как ни в чем не бывало, пошел назад все по тому же пути, из кабинета в залу. Опять за шагал, зашатался, как маятник, с лицом, как у сонного.

"Лунатик", - подумал Голицын.

- Да что он, рехнулся, что ли? - вскочил Якубович в бешенстве.

Рылеев удержал его за руку.

- Оставьте его. Разве не видите, он сам не знает, что говорит.

В эту минуту Каховский опять вошел в кабинет. Якубович вгляделся в него и плюнул.

- Тьфу! Сумасшедший! Берегитесь, Рылеев, он вам беды наделает!

- Ошибаетесь, Якубович, - проговорил Голицын спокойно. - Каховский в полном рассудке. А сказал он то, что надо было сказать.

- Что надо? Что надо? Да говорите толком, черт бы вас побрал!

- Довольно говорили. Много скажешь - мало сделаешь.

- Да уж и вы, Голицын, не рехнулись ли?

- Послушайте, сударь, я не охотник до ссор. Но если вы непременно желаете...

- Да будет вам! Нашли время ссориться. Эх, господа, как вам не стыдно! - проговорил Рылеев с таким горьким упреком, что оба сразу опомнились.

- Ваша правда, Рылеев, - сказал Голицын. - Утро вечера мудренее. Завтрашний день нас всех рассудит. Ну, а теперь пора по домам!

Он встал, и все - за ним. Хозяин проводил гостей в прихожую. Здесь, по русскому обычаю, уже стоя в шинелях и шубах, опять разговорились. Храпевшего Фильку растолкали и выслали в кухню, чтоб не мешал.

Такое чувство было у всех, что после давешнего разговора о цареубийстве все снова смешалось и спуталось, - ничего не решили и никогда не решат.

- Принятые меры весьма неточны и неопределительны, - начал Батенков.

- Да ведь нельзя же делать репетицию, - заметил Бестужев.

- Войска выйдут на площадь, а потом - что удастся. Будем действовать по обстоятельствам, - заключил Рылеев.

- Теперь рассуждать нечего, наше дело слушаться приказов начальника, - подтвердил Бестужев. - А кстати, где же он сам, начальник-то наш? Что он все прячется?

- Трубецкой сегодня не очень здоров, - объяснил Рылеев.

- А завтра... все-таки будет завтра на площади?

Страх пробежал по лицам у всех.

- Что вы, Бестужев, помилуйте! - возмутился Рылеев так искренно, что все успокоились.

- Ну, господа, теперь Бог управит все остальное. С Богом! С Богом! - сказал Оболенский.

Якубович, Бестужев и Батенков вышли вместе. Голицын и Оболенский

стояли в прихожей, прощаясь с Рылеевым.

Каховский, все еще ходивший по зале, увидев, наконец, что все расходятся, тоже вышел в прихожую и стал надевать шинель. Лицо у него было все такое же сонное - лицо "лунатика".

Рылеев подошел к нему.

- Что с тобой, Каховский? Нездоровится?

- Нет, здоров. Прощай.

Он пожал ему руку, повернулся и сделал шаг к дверям.

- Постой, мне надо тебе два слова сказать, - остановил его Рылеев.

Каховский поморщился.

- Ох, еще говорить! Зачем?

- Ну, можно и без слов.

Рылеев отвел его в сторону, вынул что-то из бокового кармана и потихоньку сунул ему в руку.

- Что это? - удивился Каховский и поднял руку. В ней был кинжал.

- Забыл? - спросил Рылеев.

- Нет, помню, - ответил Каховский. - Ну, что ж, спасибо за честь!

Это был знак, давно между ними условленный: получивший кинжал избирается Верховною думою Тайного общества в цареубийцы.

Рылеев положил ему руки на плечи и заговорил торжественно; видно было, что слова заранее обдуманы, сочинены, может быть, для потомства: "Будет и о нас страничка в истории", как давеча сказал Бестужев.

- Любезный друг, ты сир на сей земле. Я знаю твое самоотвержение. Ты можешь быть полезней, чем на площади: убей царя.

Рылеев хотел его обнять, но Каховский отстранился.

- Как же это сделать? - спросил он спокойно, как будто задумчиво.

- Надень офицерский мундир и рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Или на площади, когда выедет, - сказал Рылеев.

Что-то медленно-медленно открывалось в лице Каховского, как у человека, который хочет и не может проснуться; наконец, открылось. Сознание блеснуло в глазах, как будто только теперь он понял, с кем и о чем говорит. Лунатик проснулся.

- Ну, ладно, - проговорил, бледнея, но все так же спокойно-задумчиво. - Я - его, а ты - всех? Ты-то всех - решил?

- Зачем же всех? - прошептал Рылеев, тоже бледнея.

- Как зачем? Да ведь ты сам говорил: одного мало, надо всех?

Рылеев этого никогда не говорил, даже думать об этом боялся.

Он молчал. А Каховский все больше бледнел и как будто впивался в него горящим взором.

- Ну, что ж ты молчишь? Говори. Аль и сказать нельзя? Сказать нельзя, а сделать можно?

Вдруг лицо его исказилось, рот скривился в усмешку, надменно оттопыренная нижняя губа запрыгала.

- Ну, спасибо за честь! Лучше меня никого не нашлось, так и я пригодился? А вы-то все что же? Аль в крови не охота пачкаться? Ну, еще бы! Честные люди, благородные! А я - меня только свистни! Злодей обреченный! Отверженное лицо! Низкое орудие убийства! Кинжал в руках твоих!

- Что ты, что ты, Каховский! Никто не принуждает тебя. Ты же сам хотел...

- Да, сам! Как сам захочу, так и сделаю! Пожертвую собой для отечества, но не для тебя, не для Общества. Ступенькой никому не лягу под ноги. О, низость, низость! Готовил меня быть кинжалом в руках твоих, потерял рассудок, склоняя меня. Думал, что очень тонок, а так был груб, что я не знаю, какой бы дурак не понял тебя! Наточил кинжал, но берегись - уколешься!

- Петя, голубчик, что ты говоришь! - сложил и протянул к нему руки Рылеев с мольбою. - Да разве мы не все вместе? Разве ты не с нами?

- Не с вами, не с вами! Никогда я не был и не буду с вами! Один! Один! Один!

Больше не мог говорить - задыхался. Весь дрожал, как в припадке. Лицо потемнело и сделалось страшным, как у одержимого.

- Вот тебе кинжал твой! И если ты еще когда-нибудь осмелишься - я тебя!.. - одной рукой занес кинжал над головой Рылеева, другой - схватил его за ворот Оболенский и Голицын хотели кинуться на помощь к Рылееву. Но Каховский отбросил кинжал, ударившись об пол, клинок зазвенел, - оттолкнул Рылеева с такою силою, что он едва не упал, и выбежал на лестницу.

Одно мгновение Рылеев стоял ошеломленный. Потом выбежал за ним и, нагнувшись через перила лестницы, позвал его с мольбой отчаянной:

- Каховский! Каховский! Каховский!

Но ответа не было. Только где-то далеко, должно быть, из ворот на улицу, тяжелая калитка с гулом захлопнулась.

Рылеев постоял еще минуту, как будто ожидая чего-то; потом вернулся в прихожую.

Все трое молчали, потупившись и стараясь не смотреть друг другу в

лицо.

- Сумасшедший! - произнес, наконец, Рылеев. - Правду говорит Якубович: беды еще наделает, погубит нас всех.

- Вздор! Никого не погубит, кроме себя, - возразил Оболенский. - Несчастный Все мы несчастные, а он пуще всех. В такую минуту - один. Один за всех на муку идет - больше этой муки нет на земле... И за что ты его обидел, Рылеев?

- Я его обидел?

- Да, ты. Разве можно сказать человеку убей?

- "Сказать нельзя, а сделать можно?" - повторил Рылеев слова Каховского с горькой усмешкой.

Оболенский вздрогнул и побледнел, покраснел, так же как давеча, в разговоре с Голицыным.

- Не знаю, можно ли сделать. Но лучше самому убить, чем другому сказать: убей, - проговорил он тихо, со страшным усилием.

И опять все трое замолчали. Рылеев опустился на сундук под вешалкой, Филькино ложе, уперся локтями в колени и склонил голову на руки.

Оболенский присел рядом с ним и гладил его по голове, как больного ребенка, с тихою лаской.

Молчание длилось долго.

Наконец Рылеев поднял голову. Так же как сегодня утром, он казался тяжелобольным: сразу побледнел, осунулся, как будто весь поник, потух: был огонь - стал пепел.

- Тяжко, братья, тяжко! Сверх сил! - простонал с глухим рыданием.

- А помнишь, Рылеев, - заговорил Оболенский, продолжая гладить его по голове все с тою же тихою лаской: - "Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире"*.

____

* Евангелие от Иоанна. XVI, 21.

- Какие слова! - удивился Рылеев. - Кто это сказал?

- Забыл? Ну, ничего, когда-нибудь вспомнишь. И еще, слушай: "Вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас"*. Так-то, Рылеюшка: будет скорбь, будет и радость, и радости нашей никто не отнимет у нас!

____

* Евангелие от Иоанна. XVI, 22.

На глазах Рылеева блестели слезы, и он улыбался сквозь слезы. Встал и положил руку на плечо Голицына.

- Помните, Голицын, как вы однажды сказали мне: "Хоть вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог"?

- Помню, Рылеев.

- Ну, вот и теперь скажите так, - начал Рылеев и не кончил, вдруг покраснел, застыдился.

Но Голицын понял, перекрестил его и сказал:

- Помоги вам Бог, Рылеев! Христос с вами! С нами со всеми Христос!

Рылеев обнял одной рукой Голицына, другой - Оболенского, привлек обоих к себе, и уста их слились в тройной поцелуй.

Сквозь страх, сквозь боль, сквозь муку крестную была великая радость, и они уже знали, что радости этой никто не отнимет у них.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

"С Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня", - вспомнил Голицын слова Пушкина, сказанные Пестелю, когда утром 14 декабря вышел на Сенатскую площадь и взглянул на памятник Петра.

Пасмурное утро, туманное, тихое, как будто задумалось, на что повернуть, на мороз или оттепель. Адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату Мостки через Неву уходили в белую стену, и казалось, там, за Невою, нет ничего - только белая мгла, пустота - конец земли и неба, край света. И Медный всадник на медном коне скакал в эту белую тьму кромешную.

Поглядывая на пустую площадь, Голицын ходил взад и вперед по набережной. Увидел издали Ивана Ивановича Пущина и подошел к нему.

- Кажется, в восемь? - спросил Голицын.

- Да, в восемь, - ответил Пущин.

- А уж скоро девять? И никого?

- Никого.

- Куда же все девались?

- Не знаю.

- А что Рылеев?

- Должно быть, спит. Любит долго спать.

- Ох, как бы нам не проспать Российской вольности!

Помолчали, походили, ожидая, не подойдет ли кто. Нет, никого.

- Ну, я пойду, - сказал Пущин.

- Куда вы? - спросил Голицын.

- Домой.

Пущин ушел, а Голицын продолжал расхаживать взад и вперед по набережной.

Баба в обмерзшем платье, с посиневшим лицом, полоскала белье в проруби. Старичок-фонарщик, опустив на блоке фонарь с деревянного столба, забрызганного еще летнею грязью, наливал конопляное масло в жестяную лампочку. Разносчик на ларе раскладывал мятные жамки, в виде рыбок, белых и розовых, леденцы, в виде петушков прозрачных, желтеньких и красненьких.

Мальчишка из мелочной лавочки, в грязном переднике, с пустой корзиной на голове, остановился у панели и, грызя семечки, с любопытством разглядывал Голицына; может быть, знал по опыту, что если барин ждет, то будет и барышня. И Голицыну тоже казалось, что он ждет, -

Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.

Мальчишка надоел ему. Он перешел с набережной на Адмиралтейский бульвар и начал расхаживать по одной стороне, а по другой - господин в темных очках, в гороховой шинели: пройдет туда и поглядит, как будто спросит: "Ну, что ж, будет ли что?" - пройдет оттуда и как будто ответит: "Что-нибудь да будет, посмотрим!"

"Сыщик", - подумал Голицын и, зайдя за угол, сел на скамью, притаился.

- Бывало, недалеки времена, копеечного калачика и на сегодня, и на завтра хватает, а тут вдруг с девятью копейками и к лотку не подходи, - торговалась старушка-салопница с бабой-калачницей и глазами искала сочувствия у Голицына. А над головой его, на голом суку, ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала.

"Ничего не будет! Ничего не будет!" - подумал Голицын.

И вдруг ему сделалось скучно, тошно, холодно. Встал и, перейдя Адмиралтейскую площадь, вошел в кофейню Лореда, на углу Невского, рядом с домом Главного штаба.

Здесь горели лампы - дневной свет едва проникал в подвальные окна; было жарко натоплено; пахло горячим хлебом и кофеем. Стук биллиардных шаров доносился из соседней комнаты.

Голицын присел к столику и велел подать себе чаю. Рядом двое молоденьких чиновников читали вслух манифест о восшествии на престол императора Николая I.

- "Объявляем всем верным нашим подданным... В сокрушении сердца, смиряясь пред неисповедимыми судьбами Всевышнего, мы принесли присягу на верность старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Всероссийского..."

Когда дело дошло до отречения Константина и второй присяги, читавший остановился.

- Понимаете? - спросил он громким шепотом, так что Голицын не мог не слышать.

- Понимаю, - ответил слушавший. - Сколько же будет присяг? Сегодня - одному, завтра - другому, а там, пожалуй, и третьему...

- "Призываем всех верных наших подданных соединить теплые мольбы их к Всевышнему, да укрепит благие намерения наши, следовать примеру оплакиваемого нами государя, да будет царствование наше токмо продолжением царствования его..." Понимаете?

- Понимаю: на колу мочало, начинай сначала!

"Тоже, верно, сыщики", - подумал Голицын, отвернулся, взял со стола истрепанную книжку "Благонамеренного" и сделал вид, что читает.

Гремя саблею, вошел конногвардейский корнет и заказал продавщице-француженке фунт конфет, "лимонных, кисленьких".

Голицын узнал князя Александра Ивановича Одоевского, поздоровался и отвел его в сторону.

- Откуда ты?

- Из дворца. На карауле всю ночь простоял.

- Ну, что?

- Да ничего. Только что граф Милорадович у государя был с рапортом: из всех полков знамена возвращаются; все войска присягнули уже, да и весь город, можно сказать, потому что с утра нельзя пробиться к церквам. Граф такой веселый, точно именинник; приглашает всех на пирог к директору театров Майкову, а оттуда к Телешовой, танцовщице.

- И ты думаешь, Саша?..

- Ничего я не думаю. Уж если военный губернатор на пироге у балетной танцовщицы, значит, все благополучно в городе.

Француженка подала Одоевскому фунтик, перевязанный розовой ленточкой.

- Куда ты? - спросил Голицын.

- Домой.

- Зачем?

- На канапе лежать да конфетки сосать. Умнее ничего не придумаешь! - рассмеялся Одоевский, пожал ему руку и вышел.

А Голицын опять присел к столику. Устал, глаза отяжелели, веки слипались. "Как бы не заснуть", - подумал.

Белая душная вата наполнила комнату. Где-то близко была Маринька, и он звал ее. Но вата заглушала голос. А над самым ухом его ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала: "Ничего не будет! Ничего не будет!"

Проснулся от внезапного шума. Все повскакали, подбежали к окнам и смотрели на улицу. Но в низеньких, почти в уровень с тротуаром, окнах мелькали только ноги бегущих людей.

- Куда они?

- Раздавили!

- Ограбили!

- Пожар!

- Бунт!

Голицын тоже вскочил и, едва не сбив кого-то с ног, как сумасшедший, кинулся на улицу.

- Бунт! Бунт! - услышал крики в бегущей толпе и побежал вместе с нею за угол Невского, по Адмиралтейской площади к Гороховой.

- Ах, беда, беда!

- Да что такое?

- Гвардия бунтует, не хочет присягать Николаю Павловичу!

- Кто с Николаем, тех колят и рубят, а кто с Константином, тащат с собой.

- А кто же государь, скажите на милость?

- Николай Павлович!

- Константин Павлович!

- Нет государя!

- Ах, беда, беда!

Добежав до Гороховой, Голицын услышал вдали барабанную дробь и глухой гул голосов, подобный гулу бури налетающей. Все ближе, ближе, ближе, - и вдруг земля загудела от тысяченогого топота, воздух потрясся от криков оглушающих:

- Ура! Ура! Ура, Константин!

Наклоняясь низко, точно падая, со штыками наперевес, с развевающимся знаменем, батальон лейб-гвардии Московского полка бежал стремительно, как в атаку или на штурм невидимой крепости.

- Ура! Ура! Ура! - кричали солдаты неистово, и рты были разинуты, глаза выпучены, шеи вытянуты, жилы напружены, с таким усильем, как будто этим криком подымали они какую-то тяжесть неимоверную. И грязно-желтые, низенькие домики Гороховой глядели на невиданное зрелище, как старые петербургские чиновники - на светопреставление.

Толпа бежала рядом с солдатами. Уличные мальчишки свистели, свиристели и прыгали, как маленькие чертики. А три больших черта, три штабс-капитана, неслись впереди батальона: Александр и Михаил Бестужевы подняли на концах обнаженных шпаг треугольные шляпы с перьями, а князь Щепин-Ростовский махал окровавленною саблею - только что зарубил трех человек до смерти.

Спотыкаясь и путаясь в полах шинели, держа в руке спавшие с носа очки, Голицын бежал и кричал вместе со всеми, восторженно-неистово:

- Ура, Константин!

ГЛАВА ВТОРАЯ

С Гороховой повернули налево, мимо дома Лобанова и забора Исакия, на Сенатскую площадь. Здесь, у памятника Петра, остановились и построились в боевую колонну, лицом к Адмиралтейству, тылом к Сенату. Выставили цепь стрелков-разведчиков. А внутри колонны поставили знамя и собрались члены Тайного общества.

Тут, за стальною оградою штыков, было надежно, как в крепости, и уютно, тепло, теплотой дыханий человеческих надышано. От солдат пахло казармою - ржаным хлебом, тютюном и сермягою, а от "маменькина сынка" Одоевского - тонкими духами, пармскою фиалкою. И вещим казалось Голицыну это соединение двух запахов.

Члены Тайного общества обнимались, целовались трижды, как будто христосуясь. Все лица вдруг изменились, сделались новыми. Узнавали и не узнавали друг друга, как будто на том свете увиделись. Говорили, спеша,

перебивая друг друга, бессвязно, как в бреду или пьяные.

- Ну, что, Сашка, хорошо ведь, хорошо, а? - спрашивал Голицын Одоевского, который, не доехав из кофейни до дому, узнал о бунте и прибежал на площадь.

- Хорошо, Голицын, ужасно хорошо! Я и не думал, что так хорошо! - отвечал Одоевский и, поправляя спавшую с плеча шинель, выронил фунтик, перевязанный розовой ленточкой.

- Ага, лимонные, кисленькие! - рассмеялся Голицын. - Ну, что, будешь, подлец, на канапе лежать да конфетки сосать?

Смеялся, чтоб не заплакать от радости. "Женюсь на Мариньке, непременно женюсь!" - вдруг подумал и сам удивился: "Что это я? Ведь умру сейчас... Ну, все равно, если не умру, то женюсь!"

Подошел Пущин; и с ним тоже поцеловались трижды, похристосовались.

- Началось-таки, Пущин?

- Началось, Голицын.

- А помните, вы говорили, что раньше десяти лет и подумать нельзя?

- Да вот, не подумавши, начали.

- И вышло неладно?

- Нет, ладно.

- Все будет ладно! Все будет ладно! - твердил Оболенский, тоже как в беспамятстве, но с такой светлой улыбкой, что, глядя на него, у всех становилось светло на душе.

А Вильгельм Кюхельбекер, неуклюжий, долговязый, похожий на подстреленную цаплю, рассказывал, как его по дороге на площадь извозчик из саней вывалил.

- Ушибся?

- Нет, прямо в снег, мягко. Как бы только пистолет не вымок.

- Да ты стрелять-то умеешь?

- Метил в ворону, а попал в корову!

- Что это, Кюхля, какие с тобой всегда приключения!

"Смеются тоже, чтоб не заплакать от радости", - подумал Голицын.

Похоже было на игру исполинов: огромно, страшно, как смерть, и смешно, невинно, как детская шалость.

Забравшись за решетку памятника, Александр Бестужев склонился к подножью и проводил взад и вперед лезвием шпаги по гранитному выступу.

- Что ты делаешь? - крикнул ему Одоевский.

- Я о гранит скалы Петровой
Оружье вольности точу! -

ответил Бестужев стихами, торжественно.

- А ты, Голицын, чего морщишься? - заметил Одоевский. - Бестужев молодец: полк взбунтовал. А что поактерствовать любит, так ведь мы и все не без этого, а вот, все молодцы!

Князь Щепин, после давешнего бешенства, вдруг ослабел, отяжелел, присел на панельную тумбу и внимательно рассматривал свои руки в белых перчатках, запачканных кровью; хотел снять - не снимались, прилипли; разорвал, стащил, бросил и начал тереть руки снегом, чтобы смыть кровь.

- "Все будет ладно", - повторил Одоевский слова Оболенского и указал Голицыну на Щепина: - И это тоже ладно?

- Да, и это. Нельзя без этого, - ответил Голицын и почему-то, заговорив об этом, взглянул на Каховского.

В нагольном тулупе, с красным кушаком, за который заткнуты были кинжал и два пистолета, Каховский стоял поодаль от всех, один, как всегда. Никто не подходил к нему, не заговаривал. Должно быть, почувствовав на себе взгляд Голицына, он тоже взглянул на него - и в голодном, тощем лице его, тяжелом-тяжелом, точно каменном, с надменно оттопыренною нижнею губою и жалобными глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, что-то дрогнуло, как будто хотело открыться и не могло. И тотчас опять отвернулся, угрюмо потупился. "Не с вами, не с вами, никогда я не был и не буду с вами!" - вспомнились Голицыну вчерашние слова Каховского и вдруг стало жаль его нестерпимою жалостью.

- А вот и Рылеющка! Умаялся, бедненький? - подошел Голицын к Рылееву и обнял его с особенной нежностью. Чувствовал, что виноват перед ним: думал, что он проспит, а он все утро метался как угорелый по всем казармам и караулам, чтобы набрать войска, но ничего не набрал, вернулся с пустыми руками.

- Мало нас, Голицын, ох, как мало!

- Пусть мало, а все-таки надо, все-таки надо было начать! - напомнил ему Голицын его же слова.

- Да, все-таки надо! Хоть одну минутку, а были свободны! - воскликнул Рылеев.

- А где же Трубецкой? - вдруг спохватился.

- Черт его знает! Пропал, как сквозь землю провалился!

- Испугался, должно быть, и спрятался.

- Как же так, господа? Разве можно без диктатора? Что он с нами делает! - начал Рылеев и не кончил, только рукой махнул и побежал опять как угорелый метаться по городу, искать Трубецкого.

- Никаких распоряжений не сделали, согнали на площадь, как баранов, а сами спрятались, - проворчал Каховский.

И все притихли, как будто вдруг очнулись, опомнились; жуткий холодок пробежал у всех по сердцу.

Не знали, что делать; стояли и ждали. Собрались на площади около одиннадцати. На Адмиралтейской башне пробило двенадцать, час, а противника все еще не было, ни даже полиции, как будто все начальство вымерло.

Думали было захватить сенаторов, но оказалось, что уже в восемь утра они присягнули и уехали в Зимний дворец на молебствие.

Солдаты в одних мундирах зябли и грелись горячим сбитнем, переминались с ноги на ногу и колотили рука об руку. Стояли так спокойно, что прохожие думали, что это парад.

Голицын ходил вдоль фронта, прислушиваясь к разговорам солдат.

- Константин Павлович сам идет сюда из Варшавы!

- За четыре станции до Нарвы стоит с Первою армиею и Польским корпусом, для истребления тех, кто будет присягать Николаю Павловичу!

- И прочие полки непременно откажутся!

- А если не будет сюда, пойдем за ним, на руках принесем!

- Ура, Константин! - этим криком все кончалось.

А когда их спрашивали: "Отчего не присягаете?" - отвечали: "По совести".

Между правым флангом каре и забором Исакия теснилась толпа. Голицын вошел в нее и здесь тоже прислушался.

В толпе были мужики, мастеровые, мещане, купцы, дворовые, чиновники и люди неизвестного звания, в странных платьях, напоминавшие ряженых: шинели господские с мужицкими шапками; полушубки с круглыми высокими шляпами; черные фраки с белыми полотенцами и красными шарфами вместо кушаков. У одного - все лицо в саже, как у трубочиста.

- Кумовьев, значит, много в полиции, так вот, чтоб не признали, рожу вымазал, - объяснили Голицыну.

- Рожа черна, а совесть бела. Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит, - подмигнул ему сам чернорожий, скаля белые зубы, как негр.

У них было оружие: старинные ржавые сабли, ножи, топоры, кирки и те железные ломы, которыми дворники скалывают лед на улицах, и даже простые дубинки, как, бывало, во дни пугачевщины. А те, кто с голыми руками пришел, разбирали поленницы дров у забора Исакия и выламывали камни из мостовой, вооружаясь кто поленом, кто булыжником.

- И видя такое неустроенное, варварское на все российское простонародье самовластье и тяжкое притесненье, государь император Константин Павлович вознамерился уничтожить оное, - говорил мастеровой с испитым, злым и умным лицом, в засаленном картузе и полосатом тиковом халате, ремешком подпоясанном.

- По две шкуры с нас дерут, анафемы! - злобно шипел беззубый старичок-дворовый в лакейской фризовой шинели со множеством воротников.

- Народу жить похужело, всему царству потяжелело! Томно так, что ой-ой-ой! - вздыхала баба с красным лицом и веником под мышкой, должно быть, прямо из бани. А лупоглазая девчонка, в длинной кацавейке мамкиной, разинув рот, жадно слушала, как будто все понимала.

- И видя оное притеснение лютое, - продолжал мастеровой, - государь Константин Павлович, пошли ему Господь здоровья, пожелал освободить российскую чернь от благородных господ...

- Господа благородные - первейшие в свете подлецы! - послышались голоса в толпе.

- Отжили они свои красные дни! Вот он потребует их, варваров!

- Недолго им царствовать - не сегодня, так завтра будет с них кровь речками литься!

- Воля, ребята, воля! - крикнул кто-то, и вся толпа, как один человек, скинула шапки и перекрестилась.

- Сам сюда идет расправу творить, уж он у Пулкова!

- Нет, взяли за караул, заковали в цепь и увезли!

- Ах ты, сердечный, болезный наш!

- Ничего, братцы, небось отобьем!

- Ура, Константин!

- Идут! Идут! - услышал Голицын и, оглянувшись, увидел, что со стороны Адмиралтейского бульвара, из-за забора Исакия, появилась конная гвардия. Всадники, в медных касках и панцирях, приближались гуськом, по три человека в ряд, осторожно-медленно, как будто крадучись.

- Ишь, как сонные мухи ползут. Не любо, чай, бедненьким! - смеялись в толпе.

А солдаты в мятежном каре, заряжая ружья, крестились:

- Ну, слава Богу, начинается!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Генерал-губернатор граф Милорадович подскакал к цепи стрелков, выставленных перед фронтом мятежников. В шитом золотом мундире, во всех орденах, в голубой Андреевской ленте, в треугольной шляпе с белыми перьями, он сидел молодцом на гарцующей лошади.

Попал прямо на площадь из уборной балетной танцовщицы Катеньки Телешовой. На помятом лице его с жидкими височками крашеных волос, пухлыми губками и маслеными глазками было такое выражение, как будто он все это дело кругом пальца обернет.

- Стой! Назад поворачивай! - закричали ему солдаты, и стальное полукольцо штыков прямо на него уставилось.

"Русский Баярд, сподвижник Суворова, в тридцати боях не ранен - и этих шалунов испугаюсь!" - подумал Милорадович.

- Полно, ребята, шалить! Пропусти! - крикнул и поднял лошадь в галоп на штыки с такою же лихостью, с какою, бывало, на полях сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем щегольском плаще амарантовом. "Бог мой, пуля на меня не вылита!" - вспомнил свою поговорку.

А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились: "Ах ты, шут гороховый, хвастунишка, фанфаронишка!"

- Куда вы, куда вы, граф! Убьют! - подбежал к нему Оболенский.

- Не убьют, небось! Не злодеи, не изверги, а шалуны, дурачки несчастные. Их пожалеть, вразумить надо, - ответил Милорадович, выпятив мягкие, пухлые губы чувствительно.

По угрюмой злобе на лицах солдат Оболенский видел, что еще минута - и примут на штыки "фанфаронишку".

- Смирна-а! Ружья к ноге! - скомандовал и схватил под уздцы лошадь Милорадовича. - Извольте отъехать, ваше сиятельство, и оставить в покое солдат!

Лошадь мотала головой, бесилась, пятилась. Узда острым краем ремня резала пальцы Оболенского; но, не чувствуя боли, он не выпускал ремня из рук.

Адъютант Милорадовича, молоденький поручик Башуцкий, с перекошенным от страха лицом, подбежал, запыхавшись, и остановился рядом с лошадью.

- Да скажите же ему хоть вы, господин поручик, - убьют! - крикнул ему Оболенский.

Но Башуцкий только махнул рукой с безнадежностью.

А Милорадович уже ничего не видел и не слышал. Пришпоренная лошадь рванулась вперед. Оболенский едва не упал и выпустил узду из рук. Цепь стрелков расступилась, и всадник подскакал к самому фронту мятежников.

- Ребята! - начал он, видимо, заранее приготовленную речь с самонадеянной развязностью старого отца-командира. - Вот эту самую шпагу, видите, с надписью: "Другу моему Милорадовичу" подарил мне в знак дружбы государь цесаревич Константин Павлович. Неужели же я изменю другу моему и вас обману, друзья?

Неловко, бочком протискиваясь сквозь шеренгу солдат, подошел Каховский и остановился в двух-трех шагах от Милорадовича. Левую руку положил на рукоять кинжала, заткнутого за красный кушак, - Оболенский заметил, что из двух пистолетов за кушаком остался только один, - а правую - неуклюже, неестественно, точно вывихнутую, засунул под распахнутый тулуп, за пазуху.

- Разве нет между вами старых служивых суворовских? Разве тут одни мальчишки да канальи-фрачники? - продолжал Милорадович, взглянув на Каховского.

А тот, как будто внимательно прислушиваясь, смотрел в лицо его прямо, недвижно, неотступно-пристально. И от этого взгляда вдруг страшно стало Оболенскому. Почти не сознавая, что делает, он выхватил ружье у стоявшего рядом солдата и начал колоть штыком в бок лошадь Милорадовича.

Каховский оглянулся, и Оболенскому почудилась в лице его усмешка едва уловимая.

Лошадь взвилась на дыбы. Знакомый звук послышался Милорадовичу, как будто выскочила пробка из бутылки шампанского. "Вот оно! - подумал он, но уже не успел прибавить: - Бог мой, пуля на меня не вылита!"

В белом облачке дыма проплыла белая юбочка балетной танцовщицы; две розовые ножки торчали из юбочки, как две тычинки из чашки цветка опрокинутой Выпятились пухлые губы старчески-младенчески, как, бывало, в последнем акте балета, когда он, хлопая в ладоши, покрикивал: "Фора, Телешова, фора!" Последний поцелуй воздушный послала ему Катенька - и опустилась черная занавесь.

Вдруг вскинул руки вверх и замотался, задергался, как пляшущий на нитке паяц. С головы свалилась шляпа, оголяя жидкие височки крашеных волос, и по голубому шелку Андреевской ленты заструилась струйка алая.

Оболенский чувствовал, как острое железо штыка вонзается во что-то живое, мягкое, хотел выдернуть и не мог - зацепилось. А когда облачко дыма рассеялось, увидел, что Милорадович, падая с лошади, наткнулся на штык, и острие вонзилось ему в спину, между ребрами.

Наконец, со страшным усильем, Оболенский выдернул штык.

"Какая гадость!" - подумал, так же как тогда, во время дуэли со Свиньиным, и лицо его болезненно сморщилось.

Ружейный залп грянул из каре, и "Ура, Константин!" прокатилось над площадью, радостное. Радовались, потому что чувствовали, что только теперь началось как следует: переступили кровь.

Каховский, возвращаясь в каре, так же как давеча, пробирался неловко, бочком. Лицо его было спокойно, как будто задумчиво. Когда послышались крики и выстрелы, он с удивлением поднял голову; но тотчас опять опустил, как будто еще глубже задумался.

"Да, этот ни перед чем не остановится. Если только подъедет государь, несдобровать ему", - подумал Голицын.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

- Представь себе, Комаровский, есть люди, которые, к несчастью, носят один с нами мундир и называют меня... - начал государь, усмехаясь криво, одним углом рта, как человек, у которого сильно болят зубы, и кончил с усилием: - Называют меня самозванцем!

"Самозванец" - в устах самодержца российского: это слово так поразило генерала Комаровского, что он не сразу нашелся, что ответить.

- Мерзавцы! - проговорил, наконец, и, чувствуя, что этого мало, выругался по-русски, непристойным ругательством.

Государь, в одном мундире Измайловского полка, в голубой Андреевской ленте, как был одет к молебствию, сидел верхом на белой лошади, окруженный свитою генералов и флигель-адъютантов, впереди батальона лейб-гвардии Преображенского полка, построенного в колонну на Адмиралтейской площади, против Невского.

Тишина зимнего дня углублялась тем, что на занятых войсками площадях и улицах езда прекратилась. Близкие голоса раздавались, как в комнате, а издали, со стороны Сената, доносился протяжный гул, несмолкаемый, подобный гулу морского прибоя, с отдельными возгласами, как будто скрежетами подводных камней, уносимых волной отливающей: "Ура-ра-ра!" Вдруг затрещали ружейные выстрелы, гул голосов усилился, как будто приблизился, и опять: "Ура-ра-ра!"

Генерал Комаровский поглядывал на государя украдкой, искоса. Под низко надвинутою треугольною черною шляпою с черными перьями лицо Николая побледнело прозрачно-синеватою бледностью, и впалые, темные глаза расширились. "У страха глаза велики", - подумал Комаровский внезапно-нечаянно.

- Слышишь эти крики и выстрелы? - обернулся к нему государь. - Я покажу им, что не трушу!

- Все удивляются мужеству вашего императорского величества, но вы обязаны хранить драгоценную жизнь вашу для блага отечества, - ответил Комаровский.

А государь почувствовал, что не надо было говорить о трусости. Все время фальшивил, как певец, спавший с голоса, или актер, не выучивший роли.

"Рыцарь без страха и упрека" - вот роль, которую надо было сыграть. Начал хорошо. "Может быть, сегодня вечером нас обоих не будет на свете, но мы умрем, исполнив наш долг", - одеваясь поутру, сказал Бенкендорфу. И потом - командирам гвардейского корпуса: "Вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы, а что до меня, - если буду императором, хоть на один час, то покажу, что был того достоин!"

Но когда услышал: "Бунт!" - вдруг сердце упало, потемнело в глазах, и все замелькало, закружилось, как в вихре.

Для чего-то кинулся на дворцовую гауптвахту - должно быть, думал, что вот-вот бунтовщики вломятся во дворец, и хотел поставить караулы у дверей; потом выбежал под главные ворота дворца и столкнулся с полковником Хвощинским, приехавшим прямо из казарм Московского полка, израненным, с повязкою на голове. Государь, увидев на повязке кровь, замахал руками, закричал: "Уберите, уберите! Спрячьте же!" - чтобы видом крови не разжечь толпы, хотя никакой толпы еще не было.

Потом один, без свиты, очутился на Дворцовой площади, в столпившейся кучке прохожих; что-то говорил им, доказывал, читал и толковал манифест и просил убедительно: "Наденьте шапки, наденьте шапки - простудитесь!" А те кричали: "Ура!", становились на колени, хватали его за фалды мундира, за руки, за ноги: "Государь-батюшка, отец ты наш! Всех на клочья разорвем, не выдадим!" И краснорожий в лисьей шубе лез целоваться; изо рта его пахло водкою, луком и еще каким-то отвратительным запахом, точно сырой говядины.

А в задних рядах бушевал пьяный; его унимали, били, но он успел-таки выкрикнуть:

- Ура, Константин!

Государь немного отдохнул, ободрился только тогда, когда увидел, что батальон лейб-гвардии Преображенского полка строится перед дворцом в колонну.

Собралась наконец свита; подали лошадь.

- Ребята! Московские шалят. Не перенимать у них и делать свое дело молодцами! Готовы ли вы идти за мной, куда велю? - закричал, проезжая по фронту, уже привычным, начальническим голосом.

- Рады стараться, ваше императорское величество! - ответили солдаты нетвердо, недружно, но слава Богу, что хоть так.

- Дивизион, вперед! Вполоборота, левым плечом, марш-марш! - скомандовал государь и повел их на Адмиралтейскую площадь.

Но, дойдя до Невского, остановился, не зная, что делать. Решил подождать посланного для разведок генерала Сухозанета, начальника гвардейской артиллерии.

Все это мелькнуло перед ним, как видение бреда, когда он закрыл глаза и забылся на миг: такие миги забвения находили на него, подобные обморокам.

Очнулся от голоса генерал-адъютанта Левашова, подскакавшего к нему после давешних криков и выстрелов на Сенатской площади.

- Ваше величество, граф Милорадович ранен.

- Жив?

- Рана тяжелая - едва ли выживет.

- Ну, что ж, сам виноват, свое получил, - пожал плечами государь, и тонкие губы его искривились такою усмешкою, что всем вдруг стало жутко.

"Да, это не Александр Павлович! Погодите, ужо задаст вам конституцию!" - подумал Комаровский.

- Ну, что, как, Иван Онуфрич? - обратился государь к подскакавшему генералу Сухозанету.

- Cela va mal, sire*, - начал тот. - Бунт разрастается; бунтовщики никаких увещаний не слушают; присягнувшие войска ненадежны, каждую минуту могут перейти на сторону мятежников, и тогда следует ожидать величайших ужасов. Извольте, ваше величество, послать за артиллерией, - кончил Сухозанет свое донесение.

____

* Плохо дело, ваше величество (фр.).

- Да ведь сам говоришь - ненадежна?

- Что же делать, другого способа нет. Не обойтись без артиллерии...

Но государь уже не слушал. Чувствовал, что по спине его ползут мурашки, и нижняя челюсть прыгает. "От холода", - утешал себя, но знал, что не только от холода. Вспомнилось, как в детстве, во время грозы, убегал в спальню, ложился в постель и прятал под подушку голову, а дядька Ламсдорф вытаскивал его за ухо: "За ушко да на солнышко". Жалел себя. Ну за что они все на него? Что он им сделал? "Братниной воли жертва невинная! Pauvre diable! - Бедный малый! Бедный Никс!"

Когда очнулся, то увидел, что с ним говорит уже не генерал Сухозанет, а генерал Воинов, начальник гвардейского корпуса.

- Ваше величество, в Измайловском полку беспокойство и нерешительность...

- Что вы говорите? Что вы говорите? Как вы смеете? - вдруг закричал на него государь так внезапно неистово, что тот остолбенел и выпучил глаза от удивления. - Место ваше, сударь, не здесь, а там, где вверенные вам войска вышли из повиновения!

- Осмелюсь доложить, ваше величество...

- Молчать!

- Государь...

- Молчать!

И каждый раз, как раскрывал он рот, раздавался этот крик неистовый.

Государь знал, что сердиться не за что, но не мог удержаться. Точно огненный напиток разлился по жилам, согревающий, укрепляющий. Ни подлых мурашек, ни дрожания челюсти. Опять - рыцарь без страха и упрека; самодержец, а не самозванец. Понял, что спасен, только бы рассердиться как следует.

Незнакомый штабс-капитан драгунского полка, высокого роста, с желто-смуглым лицом, черными глазами, черными усами и черной повязкой на лбу, подошел и уставился на него почтительно, но чересчур спокойно; что-то было в этом спокойствии, что уничтожало расстояние между государем и подданным.

- Что вам угодно? - невольно обернувшись к нему, спросил государь.

- Я был с ними, но оставил их и решился явиться с повинной головой к вашему величеству, - ответил офицер все так же спокойно.

- Как ваше имя?

- Якубович.

- Спасибо вам, вы ваш долг знаете, - подал ему руку государь, и Якубович пожал ее с тою усмешкою, которую дамы, в него влюбленные, называли "демонской".

- Ступайте же к ним, господин Якубовский...

- Якубович, - поправил тот внушительно.

- И скажите им от моего имени, что, если они сложат оружие, я их прощаю.

- Исполню, государь, но жив не вернусь.

- Ну, если боитесь...

- Вот доказательство, что я не из трусов. Мне честь моя дороже головы израненной! - снял Якубович шляпу и указал на свою повязанную голову. Потом вынул из ножен саблю, надел на нее белый платок - знак перемирия - и пошел на Сенатскую площадь к мятежникам.

- Молодец! - сказал кто-то из свиты.

Государь промолчал и нахмурился.

Долго не возвращался посланный. Наконец вдали замелькал белый платок. Государь не вытерпел - подъехал к нему.

- Ну, что же, господин Якубовский?

- Якубович, - опять поправил тот еще внушительней. - Толпа буйная, государь. Ничего не слушает.

- Так чего же они хотят?

- Позвольте, ваше величество, сказать на ухо.

- Берегитесь, рожа разбойничья, - шепнул государю Бенкендорф.

Но тот уже наклонился с лошади и подставил ухо.

"Вот теперь его можно убить", - подумал Якубович Не был трусом; если бы решил убить, не побоялся бы. Но не знал, зачем и за что убивать. Покойного Александра Павловича - за то, что чином обошел, а этого за что? К тому же цареубийца, казалось ему, должен быть весь в черном платье, на черном коне и непременно, чтобы парад и солнце и музыка. А так просто убить, что за удовольствие?

- Просят, чтоб ваше величество сами подъехать изволили. С вами говорить хотят и больше ни с кем, - шепнул ему на ухо.

- Со мной? О чем?

- О конституции.

Лгал: никаких переговоров с бунтовщиками не вел. Когда подходил к ним, они закричали ему издали: "Подлец!" - и прицелились. Он успел только шепнуть два слова Михаилу Бестужеву, повернулся и ушел.

- А ты как думаешь? - спросил государь Бенкендорфа, пересказав ему на ухо слова Якубовича.

- Картечи бы им надо, вот что я думаю, ваше величество! - воскликнул Бенкендорф с негодованием.

"Картечи или конституции?" - подумал государь, и бледное лицо его еще больше побледнело; опять мурашки по спине заползали, нижняя челюсть запрыгала.

Якубович взглянул на него и понял, что был прав, когда сказал давеча Михаилу Бестужеву:

- Держитесь - трусят!

ГЛАВА ПЯТАЯ

- Отсюда виднее, влезайте-ка, - пригласил Оболенский Голицына и помог ему вскарабкаться на груду гранитных глыб, сваленных для стройки Исакия у подножия памятника Петра I.

Голицын окинул глазами площадь.

От Сената до Адмиралтейства, от собора до набережной и далее, по всему пространству Невы до Васильевского острова, кишела толпа многотысячная - одинаково черные, малые, сжатые, как зерна паюсной икры, головы, головы, головы. Люди висели на деревьях бульвара, на фонарных столбах, на водосточных желобах; теснились на крышах домов, на фронтоне Сената, на галереях Адмиралтейской башни, - как в исполинском амфитеатре с восходящими рядами зрителей.

Иногда внизу, на площади, в однообразной зыби голов, завивались водовороты.

- Что это? - спросил Голицын, указывая на один из них.

- Шпиона, должно быть, поймали, - ответил Оболенский.

Голицын увидел человека, бегущего без шапки, в шитом золотом флигель-адъютантском мундире с оторванной фалдой, в белых лосинах с кровавыми пятнами.

Иногда слышались выстрелы, и толпа шарахалась в сторону, но тотчас опять возвращалась на прежнее место: сильнее страха было любопытство жадное.

Войска, присягнувшие императору Николаю, окружали кольцом каре мятежников: прямо против них - преображенцы, слева - измайловцы, справа -

конногвардейцы, и далее, по набережной, тылом к Неве - кавалергарды, финляндцы, конно-пионеры; на Галерной улице - павловцы, у Адмиралтейского канала - семеновцы.

Войска передвигались, а за ними - волны толпы; и во всем этом движении, кружении, как неподвижная ось в колесе вертящемся, - стальной четырехугольник штыков.

Долго смотрел Голицын на две ровные линии черных палочек и белых крестиков: палочки - султаны киверов, крестики - ремни от ранцев; а между двумя - третья, такая же ровная, но разнообразная линия человеческих лиц. И на них на всех - одна и та же мысль - тот вопрос и ответ, которые давеча слышал он: "Отчего не присягаете?" - "По совести".

Да, неколебимая крепость этого стального четырехугольника - святая крепость человеческой совести. На скалу Петрову опирается - и сам как эта скала несокрушимая.

В середине каре - члены Тайного общества, военные и штатские, "люди гнусного вида во фраках", как потом доносили квартальные; тут же - полковое знамя с полинялыми ветхими складками золотисто-зеленого шелка, истрепанное, простреленное на полях Бородина, Кульма и Лейпцига - ныне святое знамя Российской вольности; столик, забрызганный чернилами, принесенный из сенатской гауптвахты, с какими-то бумагами - может быть, манифестом недописанным, - с караваем хлеба и бутылкой вина - святая трапеза российской вольности.

Промелькнуло бледное на бледном небе привидение солнца - и стальная щетина тонких изломанных игл бледно заискрилась на серой глыбе гранита, подножии Медного всадника. Зазеленела темная бронза тускло-зеленою ржавчиною - и страшною жизнью ожил лик нечеловеческий.

"С Ним или против Него?" - подумал Голицын опять, как тогда, во время наводнения. Что значит это мановение десницы, простертой над пучиной волн человеческих, как над пучиной потопа бушующей? Тогда укротил потоп - укротит ли и ныне? Или в пучину низвергнется бешеный конь вместе с бешеным Всадником?

Вернувшись в каре, Голицын узнал, что готовится атака конной гвардии; а Рылеев пропал, Трубецкой не являлся, и команды все еще нет.

- Надо выбрать другого диктатора, - говорили одни.

- Да некого. С маленькими эполетами и без имени никто не решится, - возражали другие.

- Оболенский, вы старший, выручайте же!

- Нет, господа, увольте. Все что угодно, а этого я на себя не возьму.

- Как же быть? Смотрите, вот уже в атаку идут!

Два эскадрона конной гвардии вынеслись на рысях из-за дощатого забора Исакия и построились в колонну тылом к дому Лобанова.

Коллежский асессор Иван Иванович Пущин, в длиннополой шинели, в высокой черной шляпе, похаживал перед фасом каре и покуривал трубочку так же спокойно, как у себя в кабинете или в Михайловском, в домике Пушкина, под уютный шелест вязальных спиц Арины Родионовны.

- Ребята, будете моей команды слушать? - спросил он солдат.

- Рады стараться, ваше благородие!

Высвободив из рукава шинели правую руку в зеленой лайковой перчатке, он поднял ее вверх, как бы взмахнув невидимой саблей, и скомандовал:

- Смирна-а! Ружья к ноге! В каре против кавалерии стройся!

Один залп мог положить на месте всю конницу. Чтобы даром не перебить и не озлобить людей, Пущин велел стрелять лошадям в ноги или вверх через головы всадников.

Конница уже неслась с тяжелым топотом. Грянул залп, но пули просвистели над головами людей.

Когда пороховой дым рассеялся, увидели, что первая атака не удалась. Мешала теснота, выдававшийся угол забора - надо было его огибать, - а пуще всего гололедица. Неподкованные лошади скользили на все четыре ноги по обледенелым булыжникам и падали. Да и люди шли в атаку нехотя: понимали, что нельзя атаковать кавалерией на расстоянии двадцати шагов, когда ружейный огонь лошадям в морды.

- И чего, анафемы, лезете? - ругались московцы, помогая вставать упавшим всадникам.

- Полезешь, коли гонят. А вам, братцы, спасибо, что мимо стреляли, а то и живы быть не чаяли! - благодарили конногвардейцы.

- Переходи к нам, ребята!

- А вот, погоди, ужо как стемнеет, все перейдем.

- Назад, равняйсь! - скомандовал полковой командир, генерал Орлов, и начал строить взводы для второй атаки.

Но и вторая удалась не лучше первой. Так же плавно склонялись штыки и, натыкаясь на стальную щетину их, так же опрокидывались кони, увлекая всадников. А толпа из-за забора швыряла камнями, кирпичами, поленьями. Генерала Воинова едва не зашибли до смерти; герцога Евгения Виртембергского закидали снежками, как маленького мальчика.

Атака за атакой, как волна за волной, разбивалась о четырехугольник,

неколебимый, недвижный, и с каждым новым натиском он как будто твердел, каменел. Опирался о скалу Петрову и сам был как эта скала несокрушимая.

Вдруг, под веселый гром военной музыки, послышалось издали: "Ура, Константин!" - и три с половиною роты лейб-гвардии флотского экипажа, под командою лейтенанта Михаила Кюхельбекера и штабс-капитана Николая Бестужева, выбежали из Галерной улицы.

Обнимались, целовались с московцами:

- Голубчики, братцы, миленькие! Спасибо вам, не выдали!

- Соединились армии с флотами!

- Наша взяла и на море, и на суше!

- Слава Богу, вся Россия в поход пошла!

Экипаж построился в новое каре, справа от московцев, на мосту Адмиралтейского канала, лицом к Исакию.

И опять, уже с другой стороны, с Дворцовой площади:

- Ура, Константин!

По бульвару бежали отдельными кучками, в расстегнутых шинелях, в заваленных фуражках, в сумах с боевыми патронами, с ружьями наперевес, лейб-гренадеры.

Уже добежали до площади, перелезли через камни, сваленные на углу Адмиралтейского бульвара и набережной, но тут произошло смятенье.

Полковой командир Стюрлер, все время бежавший рядом с солдатами, убеждал, умолял их вернуться в казармы.

- Не выдавай, ребята, не слушай подлеца! - кричал полковой адъютант, поручик Панов, член Тайного общества, тоже бежавший рядом.

- Вы за кого? - спросил Каховский, подбегая к Стюрлеру с пистолетом в руках.

- За Николая! - ответил тот.

Каховский выстрелил. Стюрлер схватился рукою за бок и побежал дальше. Двое солдат со штыками - за ним.

- Бей, коли немца проклятого!

Штыки вонзились в спину его, и он упал.

Лейб-гренадеры соединились с московцами. И опять объятия, поцелуи братские.

Третье каре построилось слева от первого, лицом к набережной, тылом к Исакию.

Теперь уже было на площади около трех тысяч войска и десятки тысяч народа, готовых на все по первому знаку начальника. А начальника все еще не было.

Погода изменилась. Задул ледяной восточный ветер. Мороз крепчал. Солдаты в одних мундирах по-прежнему зябли и переминались с ноги на ногу, колотили рука об руку.

- Чего мы стоим? - недоумевали. - Точно к мостовой примерзли. Ноги отекли, руки окоченели, а мы стоим.

- Ваше благородие, извольте в атаку вести, - говорил ефрейтор Любимов штабс-капитану Михаилу Бестужеву.

- В какую атаку? На что?

- На войска, на дворец, на крепость - куда воля ваша будет.

- Погодить надо, братец, команды дождаться.

- Эх, ваше благородие, годить - все дело губить!

- Да, что другое, а годить и стоять мы умеем, - усмехнулся Каховский язвительно. - Вся наша революция - стоячая!

"Стоячая революция", - повторил про себя Голицын с вещим ужасом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

- Да что такое происходит? Какого мы ждем неприятеля?

- Ничего не понимаю, убей меня Бог! Кавардак какой-то анафемский! - подслушал великий князь Михаил Павлович разговор двух генералов. Он тоже ничего не понимал.

Вызванный братом Николаем из городка Ненналя, где остановился по дороге в Варшаву, только что прискакал в Петербург, усталый, голодный, продрогший, и попал прямо на площадь, в революцию, по собственному выражению, "как кур во щи".

Когда, после неудачи конных атак, начальство поняло, что силой ничего не возьмешь, и решило приступить к увещаниям, Михаил Павлович попросил у государя позволение поговорить с бунтовщиками. Николай сначала отказал, а потом, уныло махнув рукой, согласился:

- Делай, что знаешь!

Великий князь подъехал к фронту мятежников.

- Здорово, ребята! - крикнул зычно и весело, как на параде.

- Здравья желаем вашему императорскому высочеству! - ответили солдаты так же весело.

"Косолапый Мишка", "благодетельный бука, le bourru bienfaisant", Михаил Павлович наружность имел жесткую, а сердце мягкое. Однажды солдатик

пьяненький, валявшийся на улице, отдал ему честь, не вставая, и он простил его: "Пьян, да умен". Так и теперь готов был простить бунтовщиков за это веселое: "Здравья желаем!"

- Что это с вами, ребята, делается? Что вы такое затеяли? - начал, как всегда, по-домашнему. - Государь цесаревич Константин Павлович от престола отрекся, я сам тому свидетель. Знаете, как я брата люблю. Именем его приказываю вам присягнуть законному...

- Нет такого закона, чтоб двум присягать, - поднялся гул голосов.

- Смирна-а! - скомандовал великий князь, но его уже не слушали.

- Мы ничего худого не делаем, а присягать Николаю не будем!

- Где Константин?

- Подай Константина!

- Пусть сам приедет, тогда поверим!

- Не упрямьтесь-ка лучше, ребята, а то худо будет, - попробовал вступиться кто-то из генералов.

- Поди к чертовой матери! Вам, генералам, изменникам, нужды нет всякий день присягать, а мы присягой не шутим! - закричали на него с такою злобою, что Михаил Павлович, наконец, понял, что происходит, слегка побледнел. И лошадь его тоже как будто поняла - дрогнула, попятилась.

В узеньком проулке между двумя каре - флотским экипажем и московцами - Вильгельм Карлович Кюхельбекер нелепо суетился, метался из стороны в сторону, держа в руках большой пистолет, тот самый, который упал в снег и вымок; то натягивал, то откидывал шинель, и, наконец, скинул совсем, остался в одном фраке, длинновязый, кривобокий, тонконогий, похожий на подстреленную цаплю.

- Voulez vous faire descendre Michel?* - произнес рядом с ним чей-то знакомый, но странно изменившийся голос, и вдруг почудилось ему, что все это уже когда-то было.

____

* Хотите застрелить Михаила? (фр.)

- Je le veux bien, mais ou est-il done?*

____

* Очень хочу, но где же он? (фр.)

- А вон, видите, черный султан.

Щуря близорукие голубые глаза навыкате, такие же грустные и нежные, как, бывало, в беседах с лицейским товарищем Пушкиным "о Шиллере, о славе, о любви", он прицелился.

Вдруг почувствовал, что кто-то его трогает за локоть. Оглянулся и увидел двух солдат. Ничего не сказали, только один подмигнул, другой покачал головою. Но он понял: "Не надо! Ну его!"

- Погоди, ребята, маленько; скорее дело кончим, - произнес тот же знакомый голос, и опять все это уже когда-то было.

Кюхельбекер поднес пистолет к самому носу и рассматривал его, как будто с удивлением.

- А ведь, кажется, и вправду смог, - пробормотал сконфуженно.

- Эх ты, чудак, Абсолют Абсолютович! Сам, видно, смок! - рассмеялся Пущин и потрепал его по плечу ласково. Голицын подошел и прислушался.

- Да ведь мы и все, господа, не очень сухи, - опять усмехнулся Каховский язвительно.

- А вы-то сами что же? Вы лучше нас всех стреляете, - проговорил Пущин.

- Довольно с меня! Уже двое на душе, а будет и третий, - ответил Каховский.

Голицын понял, что третий - Николай Павлович.

На конце Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, близ каре мятежников, остановилась большая восьмистекольная карета, на высоких рессорах, с раззолоченными козлами, вроде колымаг старинных. Из кареты вылезли два старичка с испуганными лицами, в церковных облачениях: митрополит Серафим - Петербургский, и Евгений - Киевский.

Какой-то генерал схватил обоих владык в дворцовой церкви, где готовились они служить молебствие по случаю восшествия на престол, усадил в карету с двумя иподиаконами* и привез на площадь.

____

* Лица, прислуживающие архиерею во время церковной службы.

Старички, стоя в толпе перед цепью стрелков и не зная что делать, шептались беспомощно.

- Не ходите, убьют! - кричали одни.

- Ступайте с Богом! Это ваше дело, духовное. Не басурмане, чай, а свои люди, крещеные, - убеждали другие.

У митрополита Евгения, хватая за полы, чтоб удержать, оторвали палицу* и затерли его в толпе. А Серафим, оставшись один, потерялся так, что даже страха не чувствовал, остолбенел, не понимал, что с ним

делается, - как будто летел с горы вниз головой; только крестился, шептал молитву, быстро мигая подслеповатыми глазками и озираясь во все стороны.

____

* Квадратный плат с изображением креста.

Вдруг увидел над собой удивленное, спокойное и доброе лицо молодого лейтенанта лейб-гвардии флотского экипажа, Михаила Карловича Кюхельбекера, Вильгельмова брата, такого же, как тот, неуклюжего, длинноногого и пучеглазого.

- Что вам угодно, батюшка? - спросил Кюхельбекер вежливо, делая под козырек. Русский немец, лютеранин, не знал, как обращаться к митрополиту, и решил, что если поп, так "батюшка"*.

____

* Обращение к митрополиту - "ваше высокопреосвященство" или "владыка".

Серафим ничего не ответил, только пуще замигал, зашептал, закрестился.

Некогда светские барыни прозвали его за приятную наружность "серафимчиком". Теперь ему было уже за семьдесят. Одутловатое, старушечье лицо, узенькие щелки заплывших глаз, ротик сердечком, носик шишечкой, жиденькая бородка клинышком. Он весь трясся, и бородка тряслась. Кюхельбекеру стало жаль старика.

- Что вам угодно, батюшка? - повторил он еще вежливей.

- Мне бы туда, к воинам... Поговорить с воинами, - пролепетал, наконец, Серафим, боязливо указывая пухлою ручкою на каре мятежников.

- Уж не знаю, право, - пожал Кюхельбекер плечами в недоумении. - Тут пропускать не велено. А впрочем, погодите, батюшка, я сию минуту.

И побежал. А Серафим робко поднял глаза и взглянул на лица солдат. Думал - не люди, а звери. Но увидел обыкновенные человеческие лица, вовсе не страшные.

Немного отдохнул и вдруг, с тою храбростью, которая иногда овладевает трусами, снял митру, отдал иподиакону, положил на голову крест и пошел вперед. Солдаты расступились, взяли ружья на молитву и начали креститься.

Он сделал еще несколько шагов и очутился перед самым фронтом каре. Здесь тоже люди крестились, но, крестясь, кричали:

- Ура, Константин!

- Воины православные! - заговорил Серафим, и все умолкли, прислушались. Он говорил так невнятно, что только отдельные слова долетали до них. - Воины, утишьтеся... Умаливаю вас... Присягните... Константин Павлович трикраты отрекся... вот вам Бог свидетель...

- Ну, Бога-то лучше оставьте в покое, владыка, - произнес чей-то голос, такой тихий и твердый, что все оглянулись. Это говорил князь Валериан Михайлович Голицын.

- А ты что? Кто такой? Откуда взялся? Во Христа-то Господа веруешь ли? - залепетал Серафим и вдруг побледнел, затрясся уже не от страха, а от злобы.

- Верую, - ответил Голицын так же тихо и твердо.

- А ну-ка, ну-ка, целуй, если веруешь!

- Только не из ваших рук, - сказал Голицын и хотел взять у него крест.

Но Серафим отдернул его, уже в ином, нездешнем страхе, как будто только теперь увидел то, чего боялся - в лице бунтовщика лицо самого дьявола.

- Ну что ж, давайте, не бойтесь, отдам. Он ваш до времени, ужо отымем! - произнес Голицын, и глаза его из-под очков сверкнули так грозно, что Серафим опять замигал, зашептал, закрестился и отдал крест.

Голицын взял его и поцеловал с благоговением.

- Дайте и мне, - сказал Каховский.

- И мне! И мне! - потянулись другие.

Крест обошел всех по очереди, а когда опять вернулся к Голицыну, он отдал его Серафиму.

- Ну, а теперь ступайте, владыка, и помните, что не по вашей воле свободу российскую осенили вы крестным знаменьем.

И опять, как тогда, в начале восстания, закричал восторженно-неистово:

- Ура, Константин!

- Ура, Константин! - подхватили солдаты.

- Поди-ка на свое место, батька, знай свою церковь!

- Какой ты митрополит, когда двум присягал!

- Обманщик, изменник, дезертир николаевский!

Штыки и шпаги скрестились над головой Серафима. Подбежали иподиаконы, подхватили его под руки и увели.

- А вот и пушки, - указал кто-то на подъезжавшую артиллерию.

- Ну что ж, все как следует, - усмехнулся Голицын. - За крестом -

картечь, за Богом - Зверь!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

- Я еще не уверен в артиллерии, - отвечал государь каждый раз, когда убеждали его послать за артиллерией.

Не только в ней, но и в остальных войсках не был уверен. Семеновцы передавали бунтовщикам через народ о своем желании соединиться с ними; измайловцы на троекратное: "Здорово, ребята!" - отвечали государю молчаньем; а финляндцы как встали на Исакиевском мосту, так и не двигались.

"Что, если все они перейдут на сторону мятежников? - думал государь. - Тогда и артиллерия не поможет: пушки на меня самого обратятся".

- Bonjour, Карл Федорович. Посмотрите, что здесь происходит. Вот прекрасное начало царствования - престол, обагренный кровью! - сказал он подъехавшему генералу Толю, опять усмехаясь давешнею, как сквозь зубную боль, кривою усмешкою.

- Государь, одно только средство положить сему конец: расстрелять картечью эту сволочь! - ответил Толь.

Государь молча нахмурился; чувствовал, что надо что-то сказать, но не знал что. Опять забыл роль, боялся сфальшивить.

- Не нужно крови, - подсказал Бенкендорф.

- Да, крови, - вспомнил государь. - Не нужно крови. Неужели вы хотите, чтобы в первый день царствования я пролил кровь моих подданных?

Замолчал и надул губы ребячески. Опять стало жалко себя, захотелось плакать от жалости: "Pauvre diable! - Бедный малый! Бедный Никс!"

Взяв Бенкендорфа под руку, Толь отъехал с ним в сторону и, указывая на государя глазами, спросил шепотом:

- Что с ним?

- А что? - притворился Бенкендорф непонимающим и посмотрел на солдатское, простоватое лицо Толя с лукавой придворной усмешкой.

- Да неужели этих каналий миловать? - удивился Толь.

- Ну, об этом не нам с вами судить. Царская милость неизреченна. Государь полагает прибегнуть к огню только в самом крайнем случае. Наш план - окружить и стеснить их так, чтобы принудить к сдаче без кровопролития.

Толь ничего не ответил. Боевой генерал, сподвижник Суворова, любимец Кутузова, знаток Наполеоновой тактики, он понимал, что Бенкендорф говорит с тою невежественною легкостью, которая свойственна людям, никогда не нюхавшим пороха; что каре мятежников стоит твердо: можно его расстрелять, раздавить, уничтожить, но сдвинуть нельзя; и что если бунт перекинется в чернь, то в тесноте, в толпе многотысячной, произойдет не бой, а свалка, и Бот знает, чем это кончится. В войсках, верных Николаю, было колебание, а среди начальников - то, что всегда бывает перед боем проигранным: все теряли голову, суетились, метались без толку, давали и принимали советы нелепые - подождать до утра, в той надежде, что к ночи мятежники сами разойдутся; или послать за пожарными трубами и облить каре водою, "направляя струю против глаз, что, при бывшем маленьком морозце, привело бы солдат в невозможность действовать".

Появилась, наконец, артиллерия: после долгих уговоров государь согласился послать за нею. С Гороховой выехали на больших рысях четыре орудия с пустыми передками, без зарядов, под командой полковника Нестеровского.

- Господин полковник, имеете ли вы картечи с собою? - спросил Толь.

- Никак нет, ваше превосходительство, не было приказано.

- Извольте же послать за ними немедленно, ибо в них скорая надобность будет, - приказал Толь.

Он знал, что делает: самовольным приказом спасал государя и, может быть, государство Российское.

От угла Невского к дому Лобанова, от дома Лобанова к забору Исакия и вдоль по забору, к тому последнему углу, который заслонял от фронта мятежников, государь двигался медленно-медленно, шаг за шагом, в течение долгих часов, казавшихся вечностью.

Остановившись у этого угла, почувствовал, что и дальше, за угол, туда, откуда пули посвистывают, влечет его сила неодолимая, затягивает, засасывает, как водоворот - щепку. Смотрел на гладкие, серые доски и не мог оторвать от них глаз: там, на страшном углу, эти страшные доски напоминали плаху, дыбу проклятую.

Он знал, что влечет его туда, за угол. "Я покажу им, что не трушу", - вспоминал слова свои и слова Якубовича: "Хотят, чтобы ваше величество сами подъехать изволили". Почему других посылает, а сам не едет?

Пули из-за угла посвистывали, перелетая через головы: бунтовщики, должно быть, нарочно целили вверх.

Угол забора защищал государя от пуль, а все-таки казалось, что они свистят над самой головой.

- Что ты говоришь? - спросил он генерала Бенкендорфа, который, выехав за угол, что-то приказывал стоявшему впереди батальону преображенцев.

- Я говорю, ваше величество, чтоб дураки пулям не кланялись, - ответил тот и, не успев отвернуться, увидел, что государь наклонил голову.

На бледных щеках Николая проступили два розовых пятнышка. Пришпоренная лошадь вынесла всадника за угол. Он увидел мятежников, и они его увидели. Закричали: "Ура, Константин!" - и сделали залп. Но опять, должно быть, целили вверх - щадили. Пули свистели над ним, как хлысты не бьющие, только грозящие, и в этом свисте был смех: "Штабс-капитан Романов, уж не трусишь ли?"

Опять пришпорил, лошадь взвилась на дыбы и вынесла бы всадника к самому фронту мятежников, если бы генерал-адъютант Васильчиков не схватил его под уздцы.

- Извольте отъехать, ваше величество!

- Пусти! - закричал государь в бешенстве. Но тот держал крепко и не отпустил бы, если бы ему это стоило жизни: был верный раб.

Вдруг пальцы государя, державшие повод, ослабели, разжались. Васильчиков повернул лошадь, и она поскакала назад.

Государь почти не сознавал, что делает, но испытывал то же, что в детстве, во время грозы, когда прятал под подушку голову.

Доскакав до Дворцовой площади, опомнился. Надо было объяснить себе и другим, почему отъехал так внезапно от страшного места. Подозвав дворцового коменданта Башуцкого, спросил, исполнено ли приказание усилить караул во дворце двумя саперными ротами.

- Исполнено, ваше величество.

- Экипажи готовы? - спросил государь адъютанта Адлерберга.

- Так точно, ваше величество.

Велел приготовить загородные экипажи, чтобы, в крайнем случае, перевезти тайком под конвоем кавалергардов обеих императриц и наследника в Царское.

- А что, императрица как? - продолжал государь.

- Очень беспокоиться изволят. Умоляют ваше величество ехать с ними, - ответил Адлерберг.

Государь понял: ехать с ними - бежать.

- А ты как думаешь? - взглянул на Адлерберга исподлобья, украдкою.

- Я думаю, что жизнь вашего императорского величества...

- Дурак! - крикнул государь и, повернув лошадь, опять поскакал на Сенатскую площадь.

На Адмиралтейской башне пробило три. Смеркалось. Шел снег. Белые мухи кружились в темнеющем воздухе.

Вдоль Адмиралтейского бульвара стояла рота пешей артиллерии с четырьмя орудиями и зарядные ящики с картечами.

Генерал Сухозанет подскакал к государю.

- Ваше высочество... - начал второпях докладывать.

Государь посмотрел на него так, что он готов был сквозь землю провалиться. Но "бедный малый" вспомнил, как сам давеча скомандовал: "Рота его величества остается при мне". Где уж спрашивать с других, когда сам себя не чувствовал "величеством".

- Ваше императорское в е л и ч е с т в о, - поправился Сухозанет, - сумерки близки, а темнота в этом положении опасна. Извольте повелеть очистить площадь пушками.

Государь ничего не ответил и вернулся на прежнее место, к забору Исакия. Опять гладкие, серые доски и тот страшный угол - плаха, дыба проклятая; опять свист пуль - свист хлыстов, не бьющих, только грозящих и смеющихся.

Прежде было две толпы: одна на стороне царя, другая - на стороне мятежников; теперь обе слились в одну. Все больше темнело, и в темноте толпа напирала, теснила государеву лошадь.

- Народ ломит дуром. Извольте отъехать, ваше величество! - сказал кто-то из свиты.

- Сделайте одолженье, ребята, ступайте все по домам. Государь вас просит, - убеждал Бенкендорф.

- По мне стрелять будут, могут и в вас попасть, - сказал государь.

- Вишь, какой мякенькой стал! - послышались голоса в толпе.

- Теперь, как вам приспичило, то вы и лисите, а потом нашего же брата в бараний рог согнете!

- Не пойдем, умрем с ними!

Лица вдруг сделались злыми, и стоявшие без шапок начали их надевать.

- Шапки долой! - закричал государь, и опять, как давеча, восторг бешенства разлился по жилам огнем; опять понял, что спасен, только бы рассердиться как следует.

Вдруг из-за забора начали швырять камнями, кирпичами, поленьями.

- Подальше от забора, ваше величество! - крикнул генерал-адъютант

Васильчиков.

Черноволосый, курносый мужик, в полушубке распахнутом, в красной рубахе, сидел верхом на заборе, там, на страшном углу, как палач на дыбе.

- Вот-ста наш Пугачев! - смеялся он, глядя прямо в лицо государя. - Ваше величество, чего за забор прячешься? Поди-ка сюда!

И вся толпа закричала, загоготала:

- Пугачев! Пугачев! Гришка Отрепьев! Самозванец! Анафема!

"А что, если камнем или поленом в висок убьют, как собаку?" - подумал государь с отвращением и вдруг вспомнил, как у того краснорожего, который давеча утром лез к нему целоваться, изо рта пахло сырою говядиною. Затошнило, засосало под ложечкой. Потемнело в глазах. Руки, ноги сделались как ватные. Боялся, что упадет с лошади.

- Ура, Константин! - раздался крик; в темноте огнями вспыхнули выстрелы, и грянул залп. Испуганная лошадь под государем шарахнулась.

- Ваше величество, нельзя терять ни минуты, ничего не поделаешь, нужна картечь, - сказал Толь.

Государь хотел ему ответить и не мог - язык отнялся. И как, бывало, молния сверкала в глаза, когда дядька Ламсдорф во время грозы из-под подушки вытаскивал голову его, - сверкнула мысль:

"Все пропало - конец!"

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

"Стоячая революция", - вспоминал Голицын слова Каховского.

Стоят и ничего не делают. В одних мундирах зябнут по-прежнему и, чтобы согреться, переминаются с ноги на ногу, колотят рукой об руку. Ждут, сами не зная чего.

Более четырех часов прождали так, не сделав ни одного движенья, пока не собрали всех полков, чтобы их раздавить. Как будто зачарованы чарой недвижности. Пока стоят - сила, крепость неколебимая, скала Петрова; но только что пробуют сдвинуться - слабеют, изнемогают, шагу не могут ступить. Как в страшном сне: ногами двигают, хотят бежать - и стоят.

И противник тоже стоит. Как будто этим только и борются: кто кого перестоит.

"Неужели прав Каховский? - думал Голицын. - Неужели вся наша революция - стоячая?"

Победа сама дается в руки, а они не берут, как будто нарочно упускают случай за случаем, делают глупость за глупостью.

Когда Московский полк взбунтовался, ему надо было идти к другим полкам, чтобы присоединить их к себе; но он пошел на площадь, думая, что все уже там, и, только прибежав туда, увидел, что никого еще нет.

Когда флотский экипаж выступил, он мог взять с собой артиллерию: пушки против пушек решили бы участь восстания; мог взять - и не взял.

А лейб-гренадеры могли занять крепость, которая господствовала над дворцом и над городом; могли захватить дворец, где находились тогда Сенат, Совет, обе императрицы с наследником: могли это сделать - и не сделали.

Но и после всех этих промахов силы мятежников были огромные: три тысячи войска и вдесятеро больше народа, готовых на все по мановению начальника.

- Дайте нам только оружие, мы вам в полчаса весь город перевернем! - говорили в толпе.

- Стрелять будут. Нечего вам на смерть лезть, - отгоняли толпу солдаты.

- Пусть стреляют! Умрем с вами! - отвечала толпа.

Решимость действовать была у народа, у войска, у младших чинов Общества, но не у старших: у них было одно желание - страдать, умереть, но не действовать.

- В поддавки играть умеете? - спросил Каховский Голицына.

- Какие поддавки? - удивился тот.

- А такая игра в шашки: кто больше поддал, тот и выиграл.

- Что это значит?

- Это значит, что в поддавки играем. Поддаем друг другу, мы им, а они нам. Глупим взапуски, кто кого переглупит.

- Нет, тут не глупость.

- А что же?

- Не знаю. Может быть, мы не только с ними боремся; может быть, и в нас самих... Нет, не знаю, не умею сказать...

- Не умеете? Эх, Голицын, и вы туда же!.. А впрочем, пожалуй, и так - не глупость, а что-то другое. Видели, давеча шпиона поймали, адъютанта Бибикова смяли, оборвали, избили до полусмерти, а Михайло Кюхельбекер заступился, вывел из толпы, проводил за цепь застрельщиков с любезностью, да еще шинель с себя снял и надел на него, потеплее закутал - как бы не простудился, бедненький! Упражняемся в христианской добродетели: бьют по левой щеке, подставляем правую. Сами как порченые - и людей перепортили:

вон стреляют вверх, щадят врага. Человеколюбивая революция, филантропический бунт! Душу спасаем. Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь - только напрасная и падет на нашу голову! Расстреляют, как дураков - так нам и надо! Холопы, холопы вечные! Подлая страна, подлый народ! Никогда в России не будет революции!..

Вдруг замолчал, отвернулся, ухватился обеими руками за чугунные прутья решетки - разговор шел у памятника Петра - и начал биться о них головой.

- Ну, полно, Каховский! Дело еще не проиграно, успех возможен...

- Возможен? В том-то и подлость, что возможен, возможен успех! Но нельзя терять ни минуты - поздно будет. Ради Бога, помогите, Голицын, скажите им... что они делают! Что они делают!.. Да нет, и вы, и вы с ними! Вы все вместе, а я...

Губы его задрожали, лицо сморщилось, как у маленьких детей, готовых расплакаться. Он опустился на каменный выступ решетки, согнулся, уперся локтями в колени и стиснул голову руками с глухим рыданием:

- Один! Один! Один!

И, глядя на него, Голицын понял, что если есть между ними человек, готовый погубить душу свою за общее дело, то это - он, Каховский; понял также, что помочь ему, утешить его нельзя никакими словами. Молча наклонился, обнял его и поцеловал.

- Господа, ступайте скорее! Оболенский выбран диктатором; сейчас военный совет, - объявил Пущин так спокойно, как будто они были не на площади, а за чайным столом у Рылеева.

Оболенскому навязали диктаторство почти насильно. Старший адъютант гвардейской пехоты, один из трех членов Верховной думы Тайного общества, он больше, чем кто-либо, имел право быть диктатором. Но если никто не хотел начальствовать, то он - меньше всех. Долго отказывался, но, видя, что решительный отказ может погубить все дело, - наконец, согласился и решил собрать "военный совет".

Совет собирали и все не могли собрать. Шли и по дороге останавливались, как будто о чем-то задумавшись, все в той же чаре недвижности.

- Почему мы стоим, Оболенский? Чего ждем? - спросил Голицын, подойдя к столу, в середине каре, под знаменем.

- А что же нам делать? - ответил Оболенский вяло и нехотя, как будто о другом думая.

- Как что? В атаку идти.

- Нет, воля ваша, Голицын, я в атаку не пойду. Все дело испортим: вынудим благоприятные полки к действию против себя. Только о том ведь и просят, чтобы подождали до ночи. "Продержитесь, говорят, до ночи, и мы все, поодиночке, перейдем на вашу сторону". Да у нас и войска мало - силы слишком неравные.

- А народ? Весь народ с нами, дайте ему только оружие.

- Избави Бог! Дай им оружие - сами будем не рады: свалка пойдет, резня, грабеж; прольется кровь неповинная.

- "Должно избегать кровопролития всячески и следовать самыми законными средствами", - напомнил кто-то слова Трубецкого, диктатора.

- Ну, а если расстреляют до ночи? - сказал Голицын.

- Не расстреляют: у них сейчас и зарядов нет, - возразил Оболенский все так же вяло и нехотя.

- Заряды подвезти недолго.

- Все равно, не посмеют: духу не хватит.

- А если хватит?

Оболенский ничего не ответил, и Голицын понял, что говорить бесполезно.

- Смотрите, смотрите, - закричал Михаил Бестужев, - батарею двинули!

Батальон лейб-гвардии Преображенского полка, стоявший впереди остальных полков, расступился на обе стороны: в пустое пространство выкатились три орудия и, снявшись с передков, обратились дулами прямо на мятежников.

Бестужев вскочил на стол, чтобы лучше видеть.

- А вот и заряды! Сейчас заряжать будут! - опять закричал он и соскочил со стола, размахивая саблей. - Вот когда надо в атаку идти и захватить орудия!

Орудия стояли менее чем в ста шагах под прикрытием взвода кавалергардов, с командиром, подполковником Анненковым, членом Тайного общества. Только добежать и захватить.

Все обернулись к Оболенскому, ожидая команды. Но он стоял все так же молча, не двигаясь, потупив глаза, как будто ничего не видел и не слышал.

Голицын схватил его за руку.

- Оболенский, что же вы?

- А что?

- Да разве не видите? Пушки под носом, сейчас стрелять будут.

- Не будут. Я же вам говорю: не посмеют.

Злость взяла Голицына.

- Сумасшедший! Сумасшедший! Что вы делаете!

- Успокойтесь, Голицын. Я знаю, что делаю. Пусть начинают, а мы - потом. Так надо.

- Почему надо? Да говорите же! Что вы мямлите, черт бы вас побрал! - закричал Голицын в бешенстве.

- Послушайте, Голицын, - проговорил Оболенский, все еще не поднимая глаз. - Сейчас вместе умрем. Не сердитесь же, голубчик, что не умею сказать. Я ведь и сам не знаю, а только так надо, иначе нельзя, если мы с Ним...

- С кем?

- Его забыли? - поднял глаза Оболенский с тихой улыбкой, а Голицын глаза опустил.

Внезапная боль, как острый нож, пронзила сердце его. Все та же боль, тот же вопрос, но уже обращенный к Другому: "С Ним или против Него?" Всю жизнь только и думал о том, чтобы в такую минуту, как эта, быть с Ним; и вот наступила минута, а он и забыл о Нем.

- Ничего, Голицын, все будет ладно, все будет ладно, - проговорил Оболенский. - Христос с вами! Христос с нами со всеми! Может быть, мы и не с Ним, да уж Он-то наверное с нами! А насчет атаки, - прибавил, помолчав, - небось, ужо пойдем в штыки, не струсим, еще посмотрим, чья возьмет!.. Ну, а теперь пора и на фронт: ведь какой ни на есть, а все же диктатор! - рассмеялся он весело и побежал, махая саблей. И все - за ним.

Добежав до фронта, увидели скачущего со стороны батареи генерала Сухозанета. Подскакав к цепи стрелков, он крикнул им что-то, указывая туда, где стоял государь, и они пропустили его.

- Ребята! - заговорил Сухозанет, подъехав к самому фронту московцев. - Пушки перед вами. Но государь милостив, жалеет вас, и если вы сейчас положите оружие...

- Сухозанет, где же конституция? - закричали ему из каре.

- Я прислан с пощадою, а не для переговоров...

- Так убирайся к черту!

- И пришли кого-нибудь почище твоего!

- Коли его, ребята, бей!

- Не троньте подлеца, он пули не стоит!

- В последний раз говорю: положите ружья, а то палить будем!

- Пали! - закричали все с непристойным ругательством.

Сухозанет, дав шпоры лошади, повернул ее, поднял в галоп - толпа отшатнулась - он выскочил. По нем сделали залп, но он уже мчался назад, к батарее, только белые перья с шляпного султана посыпались.

И Голицын увидел с восторгом, что Оболенский тоже выстрелил.

Вдруг, на левом фланге батареи, появился всадник на белом коне - государь. Он подскакал к Сухозанету, наклонился к нему и сказал что-то на ухо.

Наступила тишина, и слышно было, как Сухозанет скомандовал:

- Батарея, орудья заряжай! С зарядом-жай!

- Ура, Константин! - закричали мятежники неистово.

В белесоватых сумерках затеплились, рядом с медными жерлами пушек, красные звездочки фитилей курящихся. Голицын смотрел прямо на них - прямо в глаза смерти, - и старые слова звучали для него по-новому:

"С нами Бог! С нами Бог! Нет, Каховский не прав: будет революция в России, да еще такая, какой мир не видал!"

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

"Ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять", - сказал государь, посылая Сухозанета к бунтовщикам.

- Ну, что, как? - спросил его, когда тот вернулся.

- Ваше величество, сумасбродные кричат: конституция! Картечи бы им надо, - повторил Сухозанет слова Бенкендорфа.

"Картечи или конституции?" - опять подумал государь, как давеча.

Сухозанет ждал приказаний. Но государь молчал, как будто забыл о нем.

- Орудия заряжены? - спросил, наконец, выговаривая слова медленно, с трудом.

- Так точно, ваше величество, но без боевых зарядов. Приказать изволите - картечами?

- Ну, да. Ступай, - ответил государь все так же трудно-медленно. - Стой, погоди, - вдруг остановил его. - Первый выстрел вверх.

- Слушаю-с, ваше величество.

Сухозанет отъехал к орудиям, и государь увидел, что их заряжают картечами.

Прежний страх исчез, и был новый, неведомый. Он уже за себя не боялся - понял, что ничего ему не сделают, пощадят до конца, - но боялся того, что сделает сам.

Увидел Бенкендорфа, подъехал к нему.

- Что же делать, что же делать, Бенкендорф? - зашептал ему на ухо.

- Как что? Стрелять немедленно, ваше величество! Сейчас в атаку пойдут, пушки отнимут...

- Не могу! Не могу! Как же ты не понимаешь, что не могу!

- Чувствительность сердца делает честь вашему величеству, но теперь не до того! Надо решиться на что-нибудь: или пролить кровь некоторых, чтобы спасти все; или государством пожертвовать...

Государь слушал, не понимая.

- Не могу! Не могу! Не могу! - продолжал шептать, как в беспамятстве. И что-то было в этом шепоте такое новое, странное, что Бенкендорф испугался.

- Успокойтесь, ради Бога, успокойтесь, ваше величество! Извольте только скомандовать - я все беру на себя.

- Ну, ладно, ступай. Сейчас... - махнул рукой государь и отъехал в сторону.

Закрыл на мгновение глаза - и так ясно-отчетливо, как будто сейчас перед глазами, увидел маленькое голенькое Сашино тело. Это было давно, лет пять назад, в грозовую душную ночь, в Петергофском дворце, в голубой Сашиной спальне. Зубки прорезались у мальчика; он по ночам не спал, плакал, метался в жару, а в эту ночь уснул спокойно. Alexandrine подвела мужа к Сашиной кроватке и тихонько раздвинула полог. Мальчик спал, разметавшись; скинул одеяльце, лежал голенький - все розовое тельце в ямочках - и улыбался во сне. "Regarde, regarde le donc! Oh, qu'il est joli, le petit ange!"* - шептала Alexandrine с улыбкой. И штабс-капитан Романов тоже улыбался.

____

* Посмотри, посмотри же на него! О, как он прелестен, наш ангелочек! (фр.)

"Что это я? Брежу? С ума схожу?" - опомнился. Открыл глаза и увидел генерала Сухозанета, который уже в третий раз докладывал:

- Орудья заряжены, ваше величество.

Государь молча кивнул головой, и тот опять, не получив приказаний, отъехал к батарее в недоуменье.

"Господи, спаси! Господи, помоги!" - попробовал государь молиться, но не мог.

- Пальба орудьями по порядку! Правый фланг, начинай! Первое! - вдруг закричал с таким чувством, с каким боязливый убийца заносит нож не для того, чтоб ударить, а чтобы только попробовать.

- Начинай! Первое! Первое! Первое! - прокатилась команда от начальника к начальнику.

- Первое! - повторил младший - ротный командир Бакунин.

- Отставь! - крикнул государь. Не смог ударить - нож выпал из рук.

И через несколько секунд опять:

- Начинай! Первое!

И опять:

- Отставь!

И в третий раз:

- Начинай! Первое!

Как будто исполинский маятник качался от безумья к безумью, от ужаса к ужасу.

Вдруг вспомнил, что первый выстрел - вверх, через головы. Попробовать в последний раз - не испугаются ли, не разбегутся ли?

- Первое! Первое! - опять прокатилась команда.

- Первое! Пли! - крикнул Бакунин.

Но фейерверкер замялся - не наложил пальника на трубку.

- Что ты, сукин сын, команды не слушаешь? - подскочил к нему Бакунин.

- Ваше благородье, свои, - тихо ответил тот и взглянул на государя. Глаза их встретились, и как будто расстоянье между ними исчезло: не раб смотрел на царя, а человек на человека.

"Да, свои! Сашино, Сашино тело!"

- Отставь! - хотел крикнуть Николай, но чья-то страшная рука сдавила ему горло.

Бакунин выхватил из рук фейерверкера пальник и сам нанес его на трубку с порохом.

Загрохотало, загудело оглушающим гулом и грохотом. Но картечь пронеслась над толпой, через головы. Нож не вонзился в тело - мимо скользнул.

Каре не шелохнулось: опираясь на скалу Петрову, стояло, недвижное, неколебимое, как эта скала. Только в ответ на выстрел затрещал беглый ружейный огонь и раздался крик торжествующий:

- Ура! Ура! Ура, Константин!

И как вода превращается в пар от прикосновения железа, раскаленного добела, ужас государя превратился в бешенство.

- Второе! Пли! - закричал он, и вторая пушка грянула.

Облако дыма застилало толпу, но по раздирающим воплям, крикам, визгам и еще каким-то страшным звукам, похожим на мокрое шлепанье, брызганье, он понял, что картечь ударила прямо в толпу. Нож вонзился в тело.

А когда облако рассеялось, увидел, что каре все еще стоит; только маленькая кучка отделилась от него и побежала в атаку стремительно.

Но грянула третья, четвертая, пятая - и сквозь клубящийся дым, прорезаемый огнями выстрелов, видно было, как сыпалась градом картечь в сплошную стену человеческих тел.

Мешала скала Петрова, но и в нее палили: казалось, что расстреливают Медного всадника.

А когда уже вся площадь опустела, выкатили пушки вперед и, преследуя бегущих, продолжали палить вдоль по Галерной, Исакиевской, по Английской набережной, по Неве и даже по Васильевскому острову.

- Заряжай-жай! Пли! Жай-пли! - кричал Сухозанет уже осипшим голосом.

- Жай-пли! Жай-пли! - вторил ему государь.

Удар за ударом, выстрел за выстрелом - нож вонзался, вонзался, вонзался, а ему все было мало, как будто утолял жажду неутолимую, и огненный напиток разливался по жилам так упоительно, как еще никогда.

Генерал Комаровский взглянул на государя и подумал, так же как давеча, внезапно-нечаянно:

"Не человек, а дьявол!"

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Голицын стоял у чугунной решетки памятника, обернувшись лицом к батарее, когда раздался первый выстрел и картечь, пронесшись с визгом над головами, ударилась вверх, в стены, окна и крышу Сената. Разбитые стекла зазвенели, посыпались. Два человека, взобравшиеся в чаши весов, которые держала в руках богиня Правосудия на фронтоне Сената, упали к ее подножию, и несколько убитых, свалившись с крыши, стукнулись о мостовую глухо, как мучные кули.

Но толпа на площади не дрогнула.

- Ура, Константин! - закричала с торжествующим вызовом.

- За мной, ребята! Стройся в колонну к атаке! - скомандовал Оболенский, размахивая саблей.

"Неужели он прав? - думал Голицын. - Не посмеют стрелять, духу не хватит? Победили, перестояли? Сейчас пойдем в штыки и овладеем пушками!"

Но вторая грянула, и первый ряд московцев лег, как подкошенный. Задние ряды еще держались. А толпа уже разбегалась, кишела, как муравейник, ногой человека раздавленный. Часть отхлынула в Галерную; другая - к набережной, и здесь, кидаясь через ограду Невы, люди падали в снег; третья - к Конногвардейскому манежу. Но пальба началась и оттуда, из батареи великого князя Михаила Павловича.

Бегущие махали платками и шапками, но их продолжали расстреливать с обеих сторон. Люди метались, давили друг друга. Тела убитых ложились рядами, громоздились куча на кучу. И не зная, куда бежать, толпа завертелась, как в водовороте, в свалке неистовой. А картечь, врезаясь в нее с железным визгом и скрежетом, разрывала, четвертовала тела, так что взлетали окровавленные клочья мяса, оторванные руки, ноги, головы. Все смешалось в дико ревущем, вопящем и воющем хаосе.

Голицын стоял не двигаясь. Когда московцы дрогнули и побежали, он видел, как вдали заколебалось уносимое знамя полка - поруганное знамя Российской вольности.

- Стой, ребята! - кричал Оболенский, но его уже не слушали.

- Куда бежишь? - с матерной бранью схватил Михаил Бестужев одного из бегущих за шиворот.

- Ваше благородье, сила солому ломит, - ответил тот, вырвался и побежал дальше.

Пули свистели мимо ушей Голицына; сорвали с него шляпу, пробили шинель. Он закрыл глаза и ждал смерти.

- Ну, кажется, все кончено, - послышался ему спокойный голос Пущина.

"Нет, не все, - подумал Голицын, - что-то еще надо сделать. Но что?"

Между двумя выстрелами наступила тишина мгновенная, и он услышал, как над самым ухом его слабо щелкнуло. Открыл глаза и увидел Каховского. Взобравшись на каменный выступ решетки, он ухватился одной рукой за перила, а другой держал пистолет и взводил курок.

Голицын оглянулся, чтобы увидеть, в кого он целит. Там, у левого фланга батареи, за клубами порохового дыма, сидел на белой лошади всадник. Голицын узнал Николая.

Каховский выстрелил и промахнулся. Соскочил с решетки, вынул другой пистолет из-за пазухи и побежал.

Голицын - за ним. На бегу тоже вынул из бокового кармана шинели пистолет и взвел курок. Теперь знал, что надо делать: убить Зверя.

Но десяти шагов не сделали, как валившая навстречу толпа окружила их, сдавила, стиснула и потащила назад.

Голицын споткнулся, упал, и кто-то навалился ему на спину; кто-то ударил сапогом в висок так больно, что он лишился чувств.

Когда очнулся, толпа рассеялась, Каховский исчез. Голицын долго шарил рукой по земле, искал пистолета: должно быть, потерял его давеча в свалке. Наконец, бросил искать, встал и побрел, сам не зная куда, шатаясь, как пьяный.

Пальба затихла. Выдвигали орудья, чтобы стрелять вдоль по Галерной и набережной.

Он пробирался по опустевшей площади, между телами убитых. Сам как мертвый между мертвыми. Все было тихо - ни движенья, ни стона - только по земле струилась кровь неостывшая, растопляя снег, и потом сама замерзала.

Он вспомнил, что московцы побежали в Галерную, и пошел туда, к товарищам, чтобы вместе с ними умереть. По дороге на что-то наткнулся ногой в темноте; наклонился, нащупал рукой пистолет; поднял, осмотрел - он был заряжен - и для чего-то сунул его в карман шинели.

Когда он вошел в Галерную, опять началась пальба - здесь, в тесноте между домов, еще убийственней. Проносясь по узкой, длинной улице, картечь догоняла и косила людей. Они забегали в дома, прятались за каждым углом и выступом, стучались в ворота, но все было наглухо заперто и не отпиралось ни на какие вопли. А пули, ударяясь об стены, отскакивали, прыгали и не щадили ни одного угла.

- Истолкут нас всех в этой чертовой ступе! - ворчал седой усач гренадер и, по привычке, вынул из-за голенища тавлинку, но тотчас спрятал опять - должно быть, решил, что нюхать табак перед смертью грешно.

- Кровопийцы, злодеи, анафемы! Будьте вы прокляты! - кричал в исступленье, грозя кулаком, тот самый мастеровой с испитым лицом, в тиковом халате, который проповедовал давеча о вольности, - и вдруг упал, пронзенный пулею.

Чиновник, старенький, лысенький, без шубы, во фраке, с Анной на шее, прижался к стене, распластался на ней, как будто расплющился, и визжал тоненьким голосом, однообразно-пронзительным, - нельзя было понять, от боли или от страха.

Толстая барыня в буклях, в черной шляпе с розаном, присела на корточки, и крестилась, и плакала, точно кудахтала.

Мальчишка из лавочки, в засаленном фартуке, с пустой корзинкой на голове, - может быть, тот самый, что следил за Голицыным давеча утром, когда он ждал "минуты сладкого свиданья", - лежал навзничь, убитый, в луже крови.

Рядом с Голицыным кому-то размозжило голову. "Звук такой, как мокрым полотенцем бросить об стену", - подумал он с удивлением бесчувственным.

И опять закрыл глаза. "Да ну же, ну, скорее!" - звал смерть, но смерть не приходила. Ему казалось, что все его товарищи убиты и только он один жив. Тоска на него напала пуще смерти. "Убить себя", - подумал, вынул пистолет, взвел курок и приложил к виску. Но вспомнил Мариньку и отнял руку.

В это время Михайло Бестужев, собрав на Неве остаток солдат, строил их в колонну, чтобы идти по льду в атаку на крепость. Заняв ее и обратив пушки на Зимний дворец, думал начать восстание сызнова.

Три взвода уже построились, когда завизжало ядро и ударилось в лед. Батарея с Исакиевского моста палила вдоль по Неве. Ядро за ядром валило ряды. Но солдаты продолжали строиться.

Вдруг раздался крик:

- Тонем!

Разбиваемый ядрами лед провалился. В огромной полынье тонущие люди барахтались. Остальные кинулись к берегу.

- Сюда, ребята! - указал Бестужев на ворота Академии художеств.

Но прежде чем успели вбежать, ворота захлопнулись. Вынули бревно из днища сломанной барки и начали сбивать ворота с петель. Они уже трещали под ударами, когда солдаты увидели эскадрон кавалергардов, мчавшийся прямо на них.

- Спасайся, ребята, кто может! - крикнул Бестужев, и все разбежались. Остался только знаменщик. Бестужев обнял его, поцеловал, велел отдать знамя скакавшему впереди эскадрона поручику и сам побежал.

Оглянувшись на бегу, увидел, что знаменщик подошел к офицеру, отдал знамя и упал, зарубленный ударом сабли сплеча, а офицер поскакал с отбитым знаменем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

- Ваше величество, все кончено, - доложил Бенкендорф.

Государь молчал, потупившись. "Что это было? Что это было?" - вспоминал, как будто очнувшись от бреда, и чувствовал, что произошло

ужасное, непоправимое.

- Все кончено, бунт усмирен, ваше величество, - повторил Бенкендорф, и что-то было в голосе его такое новое, что государь удивился, но еще не понял, не поверил.

Робко поднял глаза и тотчас опять опустил; потом - смелее, и вдруг понял - ничего ужасного, все как следует: усмирил бунт и казнил бунтовщиков. "Если буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин!" И показал. Только теперь воцарился воистину: не самозванец, а самодержец.

На бледных щеках его проступили два розовых пятнышка; искусанные до крови губы заалели, как будто напились крови. И все лицо ожило.

- Да, Бенкендорф, кончено - я император, но какою ценою, Боже мой! - вздохнул и поднял глаза к небу: - Да будет воля Господня!

Опять вошел в роль и знал, что уже не собьется; опять пристала личина к лицу - и уже не спадет.

- Ура! Ура! Ура, Николай! - начавшись от Сенатской площади, докатилось, тысячеголосое, до внутренних покоев Зимнего дворца, - и там тоже поняли, что бунт усмирен.

В маленьком круглом кабинете-фонарике, выходившем окнами на Дворцовую площадь, молодая императрица Александра Федоровна сидела на подоконнике, молча, бледная, помертвевшая, и смотрела в окно, откуда видна была часть площади, покрытая войсками.

Императрица Мария Федоровна, по обыкновению, болтала и суетилась без толку. Совала всем в руки маленький портретик покойного императора Александра Павловича, умоляя отнести его к мятежникам:

- Покажите, покажите им этого ангела - может быть, они опомнятся!

Тут же был Николай Михайлович Карамзин и князь Александр Николаевич Голицын.

Карамзин выходил на площадь.

"Какие лица я видел! Какие слова слышал! - вспоминал впоследствии. - Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Умрем, однако ж, за Святую Русь! Камней пять-шесть упало к моим ногам... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж".

- А знаете, Николай Михайлович, ведь то, что здесь происходит, есть критика вооруженною рукою на вашу "Историю государства Российского", - шепнул ему на ухо один из "безумных либералистов", еще там, на площади, и он потом часто вспоминал эти слова непонятные.

Когда загремели пушки, Мария Федоровна всплеснула руками.

- Боже мой, вот до чего мы дожили! Мой сын всходит на престол с пушками! Льется кровь, русская кровь!

- Испорченная кровь, ваше величество, - утешал ее Голицын. Но она повторяла, неутешная:

- Что скажет Европа! Что скажет Европа!

А молодая императрица как упала на колена, закрыв лицо руками при первых пушечных выстрелах, так и не встала, замерла, не двигаясь; только голова дрожала дрожью непрестанною. "Как лилея под бурею", - думал Карамзин.

И потом, когда все уже кончилось, не прекращалось это дрожанье, качанье головы, как цветка на стебле надломленном. Сама его не чувствовала, но все заметили. Думали, пройдет. Но не прошло - осталось на всю жизнь.

В соседней комнате, за круглым столиком, сидел и кушал котлетку, под наблюдением англичанки Мими, маленький мальчик, круглолицый, голубоглазый, в красной, шитой золотом курточке, вроде гусарского ментика, государь наследник Александр Николаевич.

Он первый услышал "ура" на площади, подбежал к окну и закричал, захлопал в ладоши:

- Папенька! Папенька!

В парадных залах дворца, сиявших огненными гроздьями люстр, золотой жужжащий улей смолк, когда вошел государь.

"Не узнать - совсем другой человек: такая перемена в лице, в поступи, в голосе", - тотчас заметили все.

"Tout de suit il a pris de I'applome*, - подумал князь Александр Николаевич Голицын. - Пошел не тем, чем вернулся; пошел самозванцем - вернулся самодержцем".

- Благословен грядый* во имя Господне, - встретил государя, входившего в церковь, митрополит Серафим торжественным возгласом.

---

* Сразу обрел самоуверенность (фр.).

* Идущий, шествующий (церковнослав.).

- Благочестивейшему, самодержавнейшему государю императору всея России, Николаю Павловичу многая лета! Да подаст ему Господь благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и на враги победу

и одоление! - загудел в конце молебствия громоподобный голос диакона.

"Да, Божьей милостью император самодержец Всероссийский! Что дал мне Бог, ни один человек у меня не отнимет", - подумал государь и поверил окончательно, что все как следует.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

"Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь, только напрасная", - вспоминались Голицыну слова Каховского. "Напрасная! Напрасная! Напрасная!" - стучало в больной голове его, как бред, однозвучно-томительно.

Лежа на софе, глядел он сквозь прищуренные, лихорадочно горящие веки на светлый круг от лампы под зеленым абажуром в полутемной комнате, на библиотечные полки с книгами, выцветшие нежные пастели бабушек и дедушек - все такое уютное, мирное, тихое, что сегодняшний день на площади казался страшным сном.

Поздно ночью, когда все уже кончилось, унтер-офицер Московского полка, спасаясь от погони конных разъездов и пробираясь по глухим, занесенным снежными сугробами задворкам, у Крюкова канала наткнулся в темноте на Голицына, уснувшего между поленницами дров, окоченевшего и полузамерзшего; подумал, что мертвый, хотел пройти мимо, но услышал слабый стон, наклонился, заглянул в лицо, при тусклом свете фонаря узнал одного из бывших на площади начальников и доложил о нем Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру, который находился поблизости, с кучкой бежавших солдат.

Голицына привели в чувство, усадили на извозчика, и Кюхельбекер отвез его к Одоевскому, с которым жил вместе у Большого театра. Хозяина не было дома - еще не вернулся с площади.

Узнав, что все товарищи целы, Голицын сразу ожил и, вспомнив обещание, данное Мариньке - увидеться с ней в последний раз, может быть, перед вечной разлукой, - хотел тотчас ехать домой. Но Кюхельбекер не пустил его, уложил, укутал, обвязал голову полотенцем с уксусом, напоил чаем, пуншем и еще каким-то декоктом собственного изобретения.

Голицыну спать не хотелось; он только прилег отдохнуть, но закрыл глаза и мгновенно глубоко заснул, как будто провалился в яму.

Когда проснулся, Кюхельбекера уже не было в комнате. Позвал - никто не откликнулся. Взглянул на часы - и глазам не поверил: семь утра. Пять часов проспал, а казалось, пять минут.

Встал, обошел комнаты - никого. Только в людской храпел денщик. Голицын разбудил его и узнал, что барин не возвращался, а Кюхельбекер со старым камердинером князя уехал искать его по городу.

Голицын был очень слаб; голова кружилась, и висок болел мучительно, должно быть, от удара сапогом во время свалки на площади. Но он все-таки оделся - только теперь заметил, что шляпа на нем чужая, а очки каким-то чудом уцелели, - вышел на улицу, сел на извозчика и велел ехать на Сенатскую площадь. Решил - сначала туда, а домой - уже потом.

Еще не рассвело, только небо начинало сереть, и снег на крышах белел.

Чем ближе к Сенатской площади, тем больше напоминали улицы военный лагерь: всюду войска, патрули, кордонные цепи, коновязи, кучи соломы и сена, пики и ружья в козлах, караульные окрики, треск горящих костров; блестящие жерла пушек то показывались, то скрывались в дыму и мерцании пламени.

На Английской набережной Голицын слез с саней - проезда дальше не было - и пошел пешком, пробираясь сквозь толпу. Но, сделав несколько шагов, должен был остановиться: на площадь не пропускали; ее окружали войска шпалерами, и между ними стояли орудия, обращенные жерлами во все главные улицы.

По набережной ехал воз, крытый рогожами. Завидев его, толпа расступилась, стала снимать шапки и креститься.

- Что это? - спросил Голицын.

- Покойники, - ответил ему кто-то боязливым шепотом. - Царство им небесное! Тоже ведь люди крещеные, а пихают под лед, как собак.

Зашептались и другие, рядом с Голицыным, и, прислушиваясь к этим шепотам, он узнал, что полиция всю ночь подбирала тела и свозила их на реку; там было сделано множество прорубей, и туда, под лед, спускали их всех, без разбора, не только мертвых, но и живых, раненых: разбирать было некогда - к утру велено очистить площадь. Второпях, кое-как пропихивали тела в узкие проруби, так что иные застревали и примерзали ко льду.

Воронье, чуя добычу, носилось над Невою черными стаями, в белесоватых сумерках утра, со зловещим карканьем. И карканье это сливалось с каким-то другим, еще более зловещим звуком, подобным железному скрежету.

- А это что? Слышите? - опять спросил Голицын.

- А это - мытье да катанье, - ответили ему все тем же боязливым шепотом.

- Какое мытье да катанье?

- Ступай, сам погляди.

Голицын еще немного протискался, приподнялся на цыпочки и заглянул туда, откуда доносился непонятный звук. Там, на площади, люди железными скребками скребли мостовую, соскабливали красный, смешанный с кровью снег, посыпали чистым, белым - и катками укатывали; а на ступенях Сенатского крыльца отмывали замерзшие лужи крови кипятком из дымящихся шаек и терли мочалками, швабрами. Вставляли стекла в разбитые оконницы; штукатурили, закрашивали, замазывали желтые стены и белые колонны Сената, забрызганные кровью, испещренные пулями. И вверху, на крыше чинили весы в руках богини Правосудия.

А пасмурное утро, туманное, тихое, так же как вчера, задумалось, на что повернуть - на мороз или оттепель; так же Адмиралтейская игла воткнулась в низкое небо, как в белую вату; так же мостки через Неву уходили в белую стену, и казалось, там, за Невою, нет ничего - только белая мгла, пустота, конец земли и неба, край света. И так же Медный всадник на медном коне скакал в эту белую тьму кромешную.

И все скребли, скребли скребки, скрежеща железным скрежетом.

"Не отскребут, - подумал Голицын. - Кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит Зверя!"

Книга вторая

ПОСЛЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

- Революция - на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока Божьей милостью я - император... Что ты на меня так смотришь?

Бенкендорф таращил глаза, думая только об одном, как бы не заснуть. Но трудно было застигнуть его врасплох, даже сонного.

- Любуюсь вами, государь. Недаром уподобляют ваше величество Аполлону Бельведерскому. Сей победил Пифона, змия лютого; вы же - революцию всесветную.

Разговор шел в приемной, между временным кабинетом - спальней государя и флигель-адъютантскою комнатой, в Зимнем дворце, в ночь с 14 декабря на 15-е.

Восемь часов провел государь на площади; устал, оголодал, озяб. Вернувшись во дворец и поужинав наскоро, после молебна тотчас принялся за допрос арестованных. В мундире Преображенского полка, в шарфе и в ленте, в ботфортах и лосинах, затянутый, застегнутый на все крючки и пуговицы, даже не прилег ни разу, а только иногда задремывал, сидя на кожаном диване с неудобной, выпуклой спинкой, за столом, заваленным бумагами.

Камер-лакей, неслышно крадучись, уже в третий раз входил в комнату, переменяя в углу, на яшмовом столике, канделябр со множеством догорающих свечей. На английских стенных часах пробило четыре. Бенкендорф поглядел на них с тоской: тоже вторую ночь не спал. Но продолжал говорить, чтоб не заснуть.

- Иногда прекрасный день начинается бурею, да будет так и в царствование вашего величества. Сам Бог защитил нас от такого бедствия, которое если б не разрушило, то, конечно, истерзало бы Россию. Это стоит французского нашествия: в обоих случаях вижу блеск как бы луча неземного, - повторил он слышанные давеча слова Карамзина.

- Да, счастливо отделались, - сказал государь, чувствуя, что все еще сердце у него замирает, как у человека, только что перебежавшего по утлой дощечке над пропастью, и взглянул на Бенкендорфа украдкой, с тайной надеждой, не успокоит ли. Но тот как будто нарочно запугивал, оплетал липкой сетью страха, как паук - муху паутиной.

- Все на волоске висело, ваше величество. Решительные действия мятежников имели бы верный успех. Но, видно, Бог милосердный погрузил действовавших в какую-то странную нерешительность. Сколько часов простояли на площади в совершенном бездействии, пока мы всех нужных мер не приняли! А ведь опоздай саперы только на одну минуту, когда лейб-гренадеры уже во двор ворвались, - и в руках злодеев был бы дворец со всей августейшей фамилией. Ужасно подумать, что бы наделала сия адская шайка извергов, отрекшихся от Бога, царя и отечества! Ужасно! Волосы дыбом встают, кровь стынет в жилах!

- Перерезали бы всех?

- Всех, ваше величество.

- А правда, что меня еще там, на площади, убить хотели?

- Да, еще там. Может быть, та самая пуля, коей пронзен Милорадович, предназначалась вашему величеству.

- А что, он еще жив?

- Кончается, едва ли де утра выживет. Антонов огонь в кишках.

Помолчали.

- Ну, а как теперь, спокойно? - спросил государь и подумал, что слишком часто об этом спрашивает.

- Слава Богу, пока что спокойно.

- Много арестовано?

- Сот семь человек нижних чинов, офицеров с десяток да несколько каналий фрачников. Но это не главные начальники, а только застрельщики.

- И Трубецкой - не главный?

- Нет, государь, я полагаю, что дело это восходит выше...

- Как выше? Что ты разумеешь?

- Еще не знаю наверное, но опасаюсь, что важнейшие сановники, может быть, даже члены Государственного совета в этом деле замешаны.

- Кто же именно?

- Имен я бы не хотел называть.

- Имена, имена - я требую!

- Мордвинов, Сперанский...

- Быть не может! - прошептал государь и почувствовал, что сердце опять замирает, но уже не от прошлого, а от грядущего ужаса: через одну пропасть перебежал, а впереди зияет новая; думал, все уже кончено, - и вот, только начинается.

- Да, ваше величество, все может начаться сызнова, - угадал Бенкендорф, как будто подслушал.

- Сперанский, Мордвинов! Не может быть, - повторил государь; все еще пытался из липкой сети, как муха из паутины, выбиться. - Нет, Бенкендорф, ты ошибаешься.

- Дай-то Бог, чтобы ошибся, государь!

Великий сыщик смотрел на Николая молча, тем же взором, видящим на аршин под землей, как тогда, накануне Четырнадцатого, и по тонким губам его скользила улыбка, едва уловимая. Вдруг стало весело - даже сон прошел. Понял, что дело сделано: из паутины муха не выбьется. Аракчеев был - Бенкендорф будет.

Вынул из кармана и положил на стол четвертушку бумаги мелко исписанной.

- Извольте прочесть. Прелюбопытно.

- Что это?

- Проект конституции Трубецкого, ихнего диктатора.

- Арестован?

- Нет еще. У шурина своего, австрийского посланника Лебцельтерна, спрятался. Должно быть, сейчас привезут... А кстати насчет конституции, - усмехнулся Бенкендорф, как будто вдруг вспомнил что-то веселое, а может быть, и сжалился - захотел государя побаловать. - Когда пьяная сволочь сия кричала на площади: "Ура, конституция!" - кто-то спросил их: "Да знаете ли вы, дурачье, что такое конституция?" - "Ну, как же не знать, говорят: муж - Константин, а жена - Конституция".

- Недурно, - усмехнулся Николай своею всегдашнею, как сквозь зубную боль, кривою усмешкою, а губы оставались надутыми, как у поставленного в угол мальчика.

Бенкендорф знал, чего государю нужно; знал, что он боится, ненавидит, а хочет презирать; неутолимо жаждет презрения. "Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем"*. Анекдот о конституции и был концом перста омоченного - прохлаждающим, но не утоляющим.

---

* Притча о богатом и Лазаре: нищий Лазарь после смерти был взят в Царство Небесное, а богач, крохами со стола которого при жизни питался Лазарь, теперь, находясь в аду, просил его о помощи (Евангелие от Луки. XVI, 19 - 25).

За дверью послышался шум. Из соседней залы казачьего пикета во флигель-адъютантскую приводили под конвоем арестованных, и здесь допрашивали их генерал-адъютанты Левашев и Толь.

Бенкендорф подошел к дверям и приоткрыл их.

- Ишь, их сколько собралось, Пугачевых! - поморщился с брезгливостью.

Дворцовый комендант Башуцкий что-то шепнул ему на ухо.

- Кто? - спросил государь.

- Еще один каналья фрачник, сочинитель Рылеев. Допросить угодно вашему величеству?

- Нет, потом. Сначала - ты. Ну, ступай. О Трубецком доложи.

Когда Бенкендорф вышел, Николай откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза и начал дремать. Но было неловко: голова скользила по гладкой спинке, а прилечь боялся, чтобы не заснуть. Подобрал ноги, сел в угол, съежился, хотел было расстегнуть на узко стянутой талии две нижних пуговицы, но подумал, что неприлично: имел отвращение к расстегнутым пуговицам. Склонил голову, оперся щекой о жесткую ручку и, хотя тоже было

неудобно, резьба резала щеку, - опять начал дремать.

Вошел флигель-адъютант Адлерберг, высоко держа на трех пальцах, с лакейской ловкостью, поднос с кофейником. Государь всю ночь пил черный кофе, чтобы разогнать сон.

Вздрогнул, очнулся.

- Прилечь бы изволили, ваше величество.

- Нет, Федорыч, не до сна.

- Вторую ночь не спите. Этак заболеть можно.

- Ну, что ж, заболею - свалюсь. А пока еще ноги таскают, держаться надо.

Налил кофею, отпил и, чтобы лучше разгуляться, принялся за письмо к брату Константину. Не мог вспомнить о нем без зубовного скрежета, не писал с обычной родственной нежностью.

"Дорогой, дорогой Константин, верьте мне, что следовать вашей воле и примеру нашего ангела, покойного императора, вот что я постоянно буду иметь в сердце. Аресты идут хорошо, и я надеюсь, в скором времени, сообщить вам подробности этой ужасной и позорной истории. Тогда вы узнаете, какую трудную задачу вы задали вашему несчастному брату и какого сожаления достоин ваш бедный малый - votre pauvre diable, votre каторжный du palais d'Hiver*".

---

* Ваш бедный малый, ваш каторжный Зимнего дворца (фр.).

Генерал Толь вошел с бумагами.

- Садись, Карл Федорович, читай.

Толь прочел показание Оболенского, арестованного вместе с Рылеевым.

- Как ты думаешь, можно простить нижних чинов и сих несчастных молодых людей? - спросил государь.

Уже не в первый раз об этом спрашивал. Толь ничего не ответил.

- Ах, бедные, несчастные! - тяжело вздохнул Николай. - Может быть, прекрасные люди. Ну, за что их казнить? Мы все за них дадим ответ Богу. Их заблуждение - заблуждение нашего века. Не губить, а спасти их надо. Палач я, злодей, что ли? Нет, не могу, не могу, Толь. Разве ты не видишь, сердце мое раздирается...

"Расплачется!" - подумал Толь с отвращением, не зная, куда девать глаза. Слушал с терпеливой скукой на грубоватом, жестком и плоском, но честном, открытом лице старого прусского унтера. А государь долго еще говорил, болтал той болтовней чувствительной, которую получил в наследство от матери. Примеривал маску перед Толем, как перед зеркалом.

- Ну, так как же, мой друг, как ты думаешь, можно простить, а?

- Ваше величество, - не выдержал, наконец, Толь, даже крякнул и так повернулся, что стул под ним затрещал, - простить их вы всегда успеете, но доколь не открыты главные возбудители и подстрекатели сего злодеяния, не только офицеров, но и нижних чинов предать должно всей строгости законов без замедления... Какой номер повелеть изволите Оболенскому?

Государь замолчал, надулся, нахмурился; понял, что собеседник не желает быть зеркалом. Еще тяжелее вздохнул, пригорюнился, взял карандаш и план Петропавловской крепости, с рядами клеток, казематов, - каждая клетка под номером, - отметил одну из них красным крестиком, поставил номер в записке крепостному коменданту, генералу Сукину, и отдал молча Толю. Толь, также молча, взял, поклонился и вышел.

А государь опять откинул голову за спинку дивана, закрыл глаза, задремал; опять голова начала соскальзывать с гладкой спинки на жесткую ручку.

Вошел генерал Башуцкий, дворцовый комендант. В одной руке у него была шпага, а в другой - серебряное блюдце с чем-то маленьким, кругленьким.

Николай вздрогнул, очнулся и посмотрел на него с удивлением:

- Что ты?

- Граф Милорадович, ваше величество... - начал он и не кончил, всхлипнул.

- Умер?

- Так точно.

- Царствие небесное! - перекрестился государь и подумал, что надо бы что-то почувствовать.

- Последние слова его были: "Умираю, как жил, с чистой совестью; счастлив, что жизнью за государя жертвую". Крестьян на волю отпустить велел. А вашему величеству вот это - шпагу и пулю, коей пронзен...

Башуцкий положил на стол шпагу и поставил блюдце с пулею.

- Не могу... простите, ваше величество, - опять всхлипнул, поцеловал государя в плечо, отвернулся, закрыл лицо платком и выбежал.

Николай взял пулю осторожно, двумя пальцами, и рассматривал долго, с любопытством. Новая, маленькая, пистолетная, не солдатская, должно быть, стрелял один из тех каналий фрачников. "Предназначалась вашему величеству", - вспомнил слова Бенкендорфа.

Отложил пулю и взял тот листок из бумаг Трубецкого, который давеча

Бенкендорф передал ему. Прочел:

"Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека; невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности - на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае - вне законов, вне человечества; что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы - тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным? Или несправедливы - тогда зачем хотят подчинять им других? Все народы европейские достигают законов и свобод. Более всех их народ русский заслуживает и то и другое. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства. Источник верховной власти есть народ..."

"Quelle enfamie!* - подумал государь. - Да, гнусно, но не глупо..."

---

* Какая гнусность! (фр.)

Опять хотел презирать и не мог; чувствовал, что это уже не "Конституция - жена Константина". Расстрелял бунтовщиков на площади, но как расстрелять это? Страшен этот листок - страшнее пули, неотразимее.

- Трубецкой, ваше величество, - доложил Бенкендорф.

Государь подумал и сказал:

- Пусть войдет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В сражении под Кульмом две роты семеновцев, не имевшие в сумах ни одного патрона, посланы были с холодным оружием прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Ротный командир, князь Сергей Петрович Трубецкой, пошел впереди солдат, размахивая саблей над головой, так спокойно и весело, что все за ним кинулись, ударили в штыки и выбили французов из лесу.

А под Люценом, когда принц Евгений* из сорока орудий громил гвардейские полки, Трубецкой пошутил над поручиком фон Боком, известным в полку своей трусостью: подошел сзади, бросил в него ком земли, и тот свалился как сноп.

---

* Е в г е н и й Богарне (1781 - 1824) - выдающийся французский полководец, пасынок Наполеона.

Так сам Трубецкой свалился Четырнадцатого.

Только что проснулся утром - вспомнил вчерашние слова Пущина: "А все-таки будете на площади?" - и опять, как вчера, ослабел, изнемог, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким.

Боялся, что за ним придут; вышел из дому, взял извозчика и поехал в канцелярию Главного штаба, чтобы там спросить, когда и где будут присягать: хотел присягнуть новому императору тотчас, надеясь, что, если что будет, поспешность присяги ему во что-нибудь вменится. Узнал, что присяга - завтра утром, в одиннадцать. Из штаба пошел пешком к сестре, на Большую Миллионную. Оттуда - к приятелю, флигель-адъютанту полковнику Бибикову, на угол Фонтанки и Невского; не застал его дома, посидел с его женою и братом, позавтракал и, увидев, что уже первый час, ободрился, подумал, что полки присягнули и все прошло тихо. Отправился домой переодеться, чтобы ехать во дворец на молебен.

Выезжая с Невского на Адмиралтейскую площадь, увидел толпу, услышал крики: "Ура, Константин!" - остановился, спросил, что такое, узнал, что бунт, и едва не лишился чувств тут же, на улице.

Что было потом, едва помнил. Для чего-то опять зашел во двор штаба. Стоял в раздумье, не зная, куда идти; наконец, поднялся по лестнице в канцелярию. Здесь бегали какие-то люди с испуганными лицами.

Кто-то сказал:

- Господа, вы в мундирах: ступайте на площадь, там государь император.

Все вышли, и он со всеми. Но потихоньку отстал и прошел двором штаба на Миллионную. В тоске, не зная, куда деваться, метался, как затравленный заяц.

У ворот штаба увидел знакомого чиновника. Тот зазвал его с собой опять в канцелярию.

- Ах, беда, беда! - все повторял чиновник.

- Милорадовича убили! - крикнул кто-то над самым ухом Трубецкого.

Ноги у него подкосились.

- Вам дурно, князь?

Кто-то дал ему понюхать соли. И вдруг опять он очутился на улице с какими-то незнакомыми людьми. Понял, что его ведут на Сенатскую площадь.

- Я нездоров, господа, я очень нездоров! - едва не плакал.

И опять - канцелярия. "О, Господи, в который раз!" - подумал с отчаянием. Прошел в самую дальнюю комнату, курьерскую. Здесь никого не было, все разбежались. Долго сидел один, радуясь, что наконец оставили его в покое.

Когда стемнело, послышались пушечные выстрелы, такие громкие, что стекла в окнах задребезжали. Вскочил, хотел бежать, но свалился на стул и слушал в оцепенении выстрел за выстрелом.

Рядом с курьерскою был темный чулан; там зашивали и печатали казенные пакеты; пахло сургучом, рогожей и холстиною; тускло горела на стене висячая масляная лампочка; клубки бечевок лежали на столе, а на потолке торчал большой крюк, тоже для лампы. Он поглядывал на этот крюк, как будто ни о чем не думая, и только потом вспомнил, что думал: "Хорошо бы повеситься".

Выстрелы затихли. В комнату начали входить курьеры, сторожа, экзекуторы; низко кланялись и смотрели на него с удивлением. Он встал и вышел.

Все еще не знал, куда деваться. Наконец, решил переночевать у своего шурина, австрийского посла Лебцельтерна. Знал, что и там схватят, но как перетрусивший шалун, зная, что не миновать розги, все-таки под стол прячется, - так и он.

У Лебцельтернов была Каташа. Увидев ее, понял, как тосковал о ней все время, сам того не сознавая; больше всего мучился тем, что она еще ничего не знает. Хотел ей сказать тотчас, но отложил и много раз потом откладывал. Так и не сказал, хотя знал, что это - величайшая из всех его подлостей.

Устал, лег рано. Заснул крепко. Снилось что-то необыкновенно приятное: какие-то горы не горы, волны не волны, темно-лиловые, прозрачные, как аметисты, и он будто летает над ними, туда и сюда, как на качелях качается, и вдруг - такая радость, что проснулся.

Долго лежал в темноте с открытыми глазами, улыбался и чувствовал, что сердце все еще бьется от радости. Хотел вспомнить и не мог - слишком ни на что не похоже; только знал наверное, что это больше, чем сон. Вдруг вспомнил свой давешний страх и сразу почувствовал, что его уже нет и никогда не будет; даже не было стыдно, а только удивительно: казалось, что тогда был не он, а другой. Вспомнил также свой любимый псалом; читал его всегда по-латински, как выучил в детстве, в иезуитском пансионе, у старого польского ксендза Алоизия:

"Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе; из этого я узнаю, что Бог за меня. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?"

Опять закрыл глаза, успел только подумать: "А ведь так спят осужденные... Ну что ж, пусть!" - и заснул еще крепче, слаще, но уже без всяких снов.

Проснулся внезапно, как часто бывает во сне, не от стука, а оттого, что заранее знал, что будет стук. И действительно, через минуту раздался стук в дверь.

- Ваше сиятельство, а ваше сиятельство! - послышался испуганный голос камердинера.

- Что такое?

- Из дворца приехали.

Он понял, что его арестуют.

Четверо конвойных с саблями наголо ввели арестанта в государеву приемную. За ним вошли генерал-адьютанты Левашев, Толь, Бенкендорф, дворцовый комендант Башуцкий и обер-полицеймейстер Шульгин.

Николай встал, подошел к Трубецкому, остановился и посмотрел на него молча, долго: рябоват, рыжеват; растрепанные жидкие бачки, оттопыренные уши, большой загнутый нос, толстые губы, по углам две морщинки болезненные.

"Так вот он каков, ихний диктатор! Трясется, ожидовел от страха", - подумал государь, опять с неутолимою жаждою презренья.

Подошел ближе и поднял указательный палец правой руки против лба его.

- Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник князь Трубецкой, как вам не стыдно быть с этой сволочью?

Казался себе самому в эту минуту Аполлоном Бельведерским, разящим Пифона. Но одна маска упала, другая наделась; вместо грозной -

чувствительная, та самая, которую примеривал давеча перед Толем.

- Какая милая жена! Есть у вас дети?

- Нет, государь.

- Счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная, ужасная!

Несмотря на видимый гнев, был спокоен: все было заранее обдумано.

- Отчего вы дрожите?

- Озяб, ваше величество. В одном мундире ехал.

- Почему в мундире?

- Шубу украли.

- Кто?

- Не знаю. Должно быть, в суматохе, когда арестовали; много было народу, - ответил Трубецкой с улыбкой и поднял глаза: никакого страха не было в этих больших серых глазах, простых, печальных и добрых. Стоял неуклюже сгорбившись, закинув руки за спину.

- Извольте стоять как следует! Руки по швам!

- Sire...

- Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь отвечать на другом языке!

- Виноват, ваше величество, руки связаны...

- Развязать!

Шульгин подошел и начал развязывать. Государь отвернулся и, увидев бумагу в руках Толя, сказал:

- Читай.

Толь прочел показание одного из арестованных, - чье, не назвал, - что бывшее Четырнадцатого происшествие есть дело Тайного общества, которое кроме членов в Петербурге имеет большую отрасль в 4-м корпусе, и что князь Трубецкой, дежурный штаб-офицер корпуса, может дать полные сведения.

Трубецкой слушал и радовался: понял, что показатель навел на ложный след, чтобы скрыть Южное общество.

- Это Пущина? - спросил Николай.

- Пущина, ваше величество, - ответил Толь.

Трубецкой заметил, что перемигнулись.

- Ну, что вы скажете? - опять обернулся к нему государь.

- Пущин ошибается, ваше величество, - ответил Трубецкой, напрягая все силы ума, чтобы понять, что значит перемигивание.

- А-а, вы думаете, Пущина? - накинулся на него Толь.

Но Трубецкой не потерялся - уже понял, в чем дело: через него ловили Пущина.

- Ваше превосходительство сами изволили сказать, что Пущина.

- А где Пущин живет?

- Не знаю.

- Не у отца?

- Не знаю.

- Я всегда говорил, что четвертый корпус - гнездо заговорщиков, - сказал Толь.

- Ваше превосходительство имеет очень неверные сведения. В четвертом корпусе нет Тайного общества, я за это отвечаю, - посмотрел на него Трубецкой с торжеством почти нескрываемым.

Толь замолчал с чувством охотника, у которого убежала дичь из-под носу. И государь нахмурился, тоже понял, что дело испорчено.

- Да сами-то вы, сами что? О себе говорите, принадлежали к Тайному обществу?

- Принадлежал, ваше величество, - ответил Трубецкой спокойно: знал, что теперь уже не собьется.

- Диктатором были?

- Так точно.

- Хорош! Взводом небось командовать не умеет, а судьбами народов управлять хотел! Отчего же не были на площади?

- Видя, что им нужно одно мое имя, я отошел от них. Надеялся, впрочем, до последней минуты, что, оставаясь с ними в сношении, как бы в виде начальника, успею отвратить их от сего нелепого замысла.

- Какого? Цареубийства? - опять обрадовался, накинулся на него Толь.

"О цареубийстве никто не помышлял", - хотел ответить Трубецкой, но подумал, что это неправда, и сказал:

- В политических намерениях Общества цареубийства не было. Я хотел отвратить их от возмущения войск, от кровопролития ненужного.

- О возмущении знали? - спросил государь.

- Знал.

- И не донесли?

- Я и мысли не мог допустить, ваше величество, дать кому-либо право назвать меня подлецом.

- А теперь как вас назовут?

Трубецкой ничего не ответил, но посмотрел на государя так, что ему стало неловко.

- Да что вы, сударь, финтите? Говорите все, что знаете! - крикнул

Николай грозно, начиная сердиться.

- Я больше ничего не знаю.

- Не знаете? А это что?

Быстро подошел к столу, взял четвертушку бумаги, проект конституции, - на письме лежала пуля, нарочно положил ее давеча, чтобы найти сразу.

- Этого тоже не знаете? Кто писал? Чья рука?

- Моя.

- А знаете, что я могу вас за это расстрелять тут на месте?

- Расстреляйте, государь, вы имеете право, - сказал Трубецкой и опять поднял глаза. Вспомнил: "На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?"

"Не надо сердиться! Не надо сердиться!" - подумал государь, но было уже поздно: знакомый восторг бешенства разлился по жилам огнем.

- А-а, вы думаете, вас расстреляют и вы интересны будете? - прошептал задыхающимся шепотом, приближая лицо к лицу его и наступая на него так, что он попятился. - Так нет же, не расстреляю, а в крепости сгною! В кандалы! В кандалы! На аршин под землею! Участь ваша будет ужасная, ужасная, ужасная!

Чем больше повторял это слово, тем больше чувствовал свое бессилие: вот он стоит перед ним и ничего не боится. Заточить, заковать, запытать, убить его может а все-таки ничего с ним не сделает.

- Мерзавец! - закричал Николай, бросился на Трубецкого и схватил его за ворот. - Мундир замарал! Погоны долой! Погоны долой! Вот так! Вот так! Вот так!

Рвал, толкал, давил, тряс и, наконец, повалил его на пол.

- Ваше величество, - тихо сказал Трубецкой, стоя перед ним на коленях и глядя ему прямо в глаза. Государь понял: "Как вам не стыдно?" Опомнился. Оставил его, отошел, упал в кресло и закрыл лицо руками.

Все молча ждали, чем это кончится. Трубецкой встал и посмотрел на Николая с давешней тихой улыбкой. Если бы теперь тот увидел ее, то понял бы, что в этой улыбке - жалость.

Дверь из кабинета-спальни приотворилась. Великий князь Михаил Павлович осторожно высунул голову, заглянул и так же осторожно отдернул ее, закрыл дверь.

Молчанье длилось долго. Наконец, государь отнял руки от лица. Оно было неподвижно и непроницаемо.

Встал и указал Трубецкому на кресло у стола.

- Садитесь. Пишите жене, - сказал, не глядя на него.

Трубецкой сел, взял перо и посмотрел на государя.

- Что прикажете писать, ваше величество?

- Что хотите.

Николай смотрел через плечо его на то, что он пишет.

"Друг мой, будь покойна и молись Богу..."

- Что тут много писать, напишите только: "Я буду жив и здоров", - сказал государь.

Трубецкой написал:

"Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров".

- "Б у д у жив и здоров". Припишите сверху: "Буду".

Он приписал. Государь взял письмо и отдал Шульгину.

- Извольте доставить княгине Трубецкой.

Шульгин вышел. Трубецкой встал. Опять наступило молчание. Государь стоял перед ним, все не глядя на него, опустив глаза, как будто не смел их поднять.

Сел за стол и написал коменданту Сукину:

"Трубецкого в Алексеевский равелин, в номер 7".

Отдал записку Толю.

- Ну, ступайте, - проговорил и поднял глаза на Трубецкого. - Прошу не прогневаться, князь. Мое положение тоже незавидно, как сами изволите видеть, - усмехнулся криво и опять покраснел, почувствовал, что ничего не выходит, надулся, нахмурился. - Ступайте, ступайте все! - махнул рукою.

Когда вышли, сел на диван, на прежнее место. Замер, не двигаясь, но уже не дремал, а широко открытыми глазами глядел прямо перед собой, в зеркало. На стене, над диваном, висел большой, во весь рост портрет императора Павла Первого. Пламя свечей, догоравших в углу на яшмовом столике, колебалось, мигало, и в этом мигающем свете портрет в зеркале ожил, как будто зашевелился, - вот-вот из рамы выступит: в облачении гроссмейстера Мальтийского ордена, в пурпурной мантии, подобии архиерейского саккоса, - маленький человек с курносым лицом, глазами сумасшедшего и улыбкой мертвого черепа.

Сын смотрел на отца, отец - на сына, как будто хотели друг другу что-то сказать.

11 марта - 14 декабря. Тогда началось - теперь продолжается. "Меня задушат, как задушили отца", - вспомнил Николай слова братнины. Мог бы сказать себе самому, как Трубецкому давеча: "Участь твоя будет ужасная,

ужасная!"

Встал, подошел к зеркалу. Внизу, у ног отца, отразилось лицо сына. Бледное, с воспаленными красными веками, с губами надутыми, как у мальчика, поставленного в угол, с волосами взъерошенными, как будто вставшими дыбом. Казалось, что это не он, а кто-то другой - двойник его, "самозванец", "император-выскочка".

Приблизил лицо свое к зеркалу. Губы искривились в усмешку, зашептали беззвучным шепотом:

- Штабс-капитан Романов, а ведь ты...

Отшатнулся в ужасе: казалось, что это не он, а тот, другой, в зеркале, смеется и шепчет:

- Штабс-капитан Романов, а ведь ты...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- Маринька! - сказал Голицын, открывая глаза.

В первый раз очнулся после беспамятства. Еще давеча, в бреду, не видя ее, чувствовал, что она тут, рядом, и мучился, что не может ее позвать.

- Что, Валерьян Михайлович, миленький? - наклонилась она и заглянула в глаза его испуганно-радостно. - Ну, что? Что? - старалась понять, чего он хочет.

Он хотел спросить, что с ним и где он, но был так слаб, что не мог говорить; боялся опять провалиться в ту черную дыру беспамятства, из которой только что вылез. Сам хотел вспомнить; вспоминал и тотчас опять забывал. Мысли обрывались, как истлевшие нитки. Развлекали мелочи: множество стклянок с рецептами на ночном столике, пламя восковой свечи под шелковым зеленым зонтиком, однообразно-тихое тиканье карманных часиков, должно быть, его же собственных, лежащих на столике.

- Который час? - проговорил, наконец, с осторожным усилием.

- Половина седьмого, - ответила Маринька.

"Утра или вечера?" - хотел спросить и забыл - подумал о другом: сколько времени болен? Помолчал, отдохнул и спросил:

- Какой день?

- Четверг.

"А число?" - опять забыл спросить.

Вдруг, в тишине, послышался глухой гул, подобный гулу далекого выстрела.

"Неужели все еще стреляют?" - удивился и вспомнил, что такие же гулы слышались ему сквозь бред, и каждый раз хотелось бежать туда, где стреляют, - двигал ногами, бежал - и стоял. "Стоя-стоя-стоячая!" - однообразно-тихо тикали часики. И он понимал, что это значит: "революция стоячая".

- Вспотел, - сказала Маринька, положив ему руку на лоб.

- Ну, слава Богу! - ответил радостно Фома Фомич. Голицын узнал его по голосу. - Лекарь намедни сказывал: только бы вспотел - и будет здоров.

Она вытирала платком пот с лица его. Он смотрел на нее, как будто вспоминал, как сквозь вещий сон, незапамятно-давний, много раз виденный: милая, милая девушка; окружена благоуханием любви, как цветущая сирень - свежестью росною. На ней был старенький домашний капот, гроденаплевый, дымчатый, и ночной блондовый чепчик; из-под него висели, качаясь, как легкие гроздья, вдоль щек длинные, черные локоны. Лицо немного похудело, побледнело, и большие, темные глаза казались еще больше, темнее.

- Родная, родная, милая! - прошептал он и потянулся к ней.

Глаза их встретились; она улыбнулась. Поняла, чего он хочет. Приложила к его губам ладонь, теплую и свежую, как чашечку цветка, солнцем нагретого.

- Надо бы лекарства, Марья Павловна, - сказал Фома Фомич.

Маринька налила в ложку лекарства и подала Голицыну. Оно было вкусное, с миндально-анисовым запахом.

- Еще, - попросил он с детской жадностью.

- Больше нельзя. Пить хотите?

- Нет, спать.

- Погодите, голова низко.

Одной рукой обняла его за плечи и приподняла голову с неожиданной силой и ловкостью, другой - начала поправлять подушки. Пока приподнимала, он чувствовал прижатой щекой сквозь платье упругую нежность девичьей груди.

- Так хорошо? - спросила, положив голову.

- Хорошо, Маринька... маменька...

Сам не знал, нарочно или нечаянно сказал: "Маменька". Опять глаза их встретились; она улыбнулась ему, и он повторил умиленно-восторженно:

- Маменька... Маринька...

Хотел еще что-то сказать, но темные, мягкие волны нахлынули; только слышал, что она целует его в лоб, крестит и шепчет:

- Спи, родной, спи с Богом!

Закрыл глаза с улыбкой; казалось, что она берет его на руки и качает, баюкает.

Проспал до одиннадцати утра. Кошка Маркиза, белошерстая, голубоглазая, настоящая "маркиза" по жеманно-медлительной важности, всю ночь проспала, свернувшись клубочком, на крышке клавесин. К утру выспалась, встала на все четыре лапки, выгнула спину, замурлыкала и спрыгнула на клавиши - они зазвенели и разбудили Голицына.

- Брысь, негодная! Ну вот и разбудила! - затопала на нее Маринька.

- Потап Потапыч Потапов! - послышался вдали крик попугая, и Голицын сразу понял, что он в старом бабушкином доме. Но комната была не его, а желтая чайная, рядом с голубой диванной. Потом объяснили ему, что из маленькой спальни на антресолях, где было душно и тесно, перевели его в эту комнату.

Пахло дымом берестовых растолок. Гудя и потрескивая и похлопывая заслонкой, топилась печка и освещала одну половину комнаты уютным светом, золотисто-розовым, а другую половину - голубовато-белое зимнее утро. Окна выходили в сад с опушенными инеем старыми липами. По стенам, обитым штофом, желто-лимонным, выцветшим вверху под потолком, шел лепной белый фриз - хоровод амуров пляшущих. Голые тела их от света печки порозовели - ожили.

"Какая веселая комната!" - подумал Голицын, и ему самому вдруг стало весело.

Кошка не очень боялась Мариньки: шмыгнув мимо ног ее, вскочила на постель и начала тереться мордой об ноги Голицына с громким мурлыканьем.

- Да брысь же, брысь, несносная!

- Ничего, Маринька, я уже выспался.

- Доброго утра, ваше сиятельство. Как почивать изволили? - спросил Фома Фомич, выходя из-за ширм. Паричок у него сбился на сторону, пудреная косичка растрепалась, длиннополый кафтан был измят; должно быть, всю ночь не ложился, а только прикорнул на канапе или в кресле за ширмами.

- Отменно спал. Да что вы так беспокоитесь? Мне гораздо лучше, - сказал Голицын.

Маринька вгляделась в него и удивилась, обрадовалась: такая перемена в лице и в голосе.

- Ну и слава Тебе, слава Тебе, Господи! - перекрестился Фома Фомич, и детские глазки его, детская улыбка засветились такой добротой, что Голицыну стало еще веселее.

- А закусить не угодно ли? Кофейку, яичек, бульонцу?

- Всего, всего, Фома Фомич. Ужасно есть хочется!

Вдруг насторожился, прислушался: глухой гул, подобный гулу далекого пушечного выстрела, донесся до него, так же как давеча ночью, в бреду. Но теперь он уже знал, что это не бред.

- Что это? Слышите?

- Нет, не слышу, - ответил Фома Фомич: был туг на ухо.

- Ну, вот, опять! Стреляют! Стреляют! Неужто не слышите? - вскрикнул Голицын, и глаза его загорелись надеждой. Приподнялся на постели, как будто готов был вскочить и бежать.

- Валерьян Михайлович, голубчик, ради Бога, лежите смирно. Фома Фомич, сбегайте, узнайте, что такое, - сказала Маринька.

Старичок выбежал в соседнюю комнату. Окна ее выходили на двор. Здесь гул раздавался так явственно, что и он услышал. Подошел к окну, подставил стул, взлез на подоконник, открыл форточку, высунул голову и сразу понял. Вернулся к Голицыну.

- Ахти! Ахти! Вот так пальба артиллерийская! - замотал головой, засмеялся, младенчески всхлипывая. - Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, пальба неопасная: калитка в воротах дубовая, на чугунном блоке отпирается, а ворота со сводами, гулкие; дворник Ефим дрова носит на кухню: как хлопнет, так и загудит, точно из пушки выпалит.

Помолчал и прибавил с философическим вздохом, принюхивая медленно щепотку табаку из золотой табакерки с портретом императора Павла I и с надписью: "По Боге он один, я им и существую":

- Так-то, государь мой милостивый! Из примера сего видеть можно, сколь несовершенны и обольщению подвержены человеческие чувствования, сии наружные двери нашего истукана механического. Уж ежели хлопанье калитки от пушечной пальбы отличить не умеем, то многого ли стоят все наши гаданья высокоумные о природе вещей и о законах естества сокровеннейших?

Вдруг заметив, что Маринька делает ему знаки, остановился и взглянул на Голицына. Тот побледнел, опустил голову на подушку и закрыл глаза.

- А ведь о фрыштыке-то мы и забыли, - спохватился Фома Фомич. - Сию минуту на кухню сбегаю. Кофейку, яичек, бульонцу, а может, и кашки рисовой?

Маринька только махнула рукою, и старичок выбежал.

Голицын долго лежал с закрытыми глазами.

Маринька, присев на край постели, молча гладила рукой руку его.

- Какое число? - наконец, спросил он.

- Восемнадцатое.

- Значит, три дня. Заболел утром, во вторник?

- Да, во вторник. Камердинер с чаем вошел и увидел, что вы лежите в постели, нераздетый, в жару и в беспамятстве.

- Бредил?

- Да.

- О чем?

- Да вот все об этих выстрелах. И еще о звере. Что какого-то зверя надо убить.

- А помните, Маринька, я вам говорил, что мы с вами увидимся? Ну, вот и увиделись...

Посмотрел на нее долго, пристально. Хотел спросить, знает ли она о том, что было Четырнадцатого, но почему-то не спросил, побоялся.

- Я все знаю, - сама догадалась она. - Бабушкин дворецкий, Ананий Васильевич, был на Сенатской площади. Прибежал к нам вечером и рассказал. Он и вас видел...

Вдруг замолчала, наклонилась, обняла его, прижалась щекой к щеке его, спрятала лицо в подушку и заплакала.

- Ну, полно, Маринька милая, девочка моя хорошая! Ведь вот я с вами, и мы уже никогда...

Хотел сказать: "Никогда не расстанемся", но почувствовал, что не обманет: она все уже знает не только о прошлом, но и будущем; оттого и плачет над ним, как живая над мертвым, - навеки прощается.

Где, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой - гроб, жених - мертвец, -

вспомнилось, как читал Софье Нарышкиной.

- А вот и фрыштык, - сказал Фома Фомич, входя в комнату с подносом в руках.

Маринька вскочила и побежала. Старичок посмотрел ей вслед, покачал головой, вздохнул, взглянул на Голицына, но ничего не сказал: должно быть, тоже почувствовал, что нельзя его обмануть и утешить ничем.

Во время завтрака, чтобы развлечь больного, говорил о делах посторонних - о выкупе Черемушек, об искусстве доктора, который лечил Голицына, о болезни бабушки: узнав о бунте, старушка перепугалась так, что слегла в постель, едва удар не сделался; никого из дворовых пускать к себе не велела - боялась, что зарежут: помнила бунт Пугачева. "Шутка сказать, в одном Петербурге - сорок тысяч холопов; только и смотрят, как бы за ножи взяться. А все мартышки наделали..."

- Какие мартышки? - удивился Голицын.

- А у Державина помните:

Мартышки в воздухе летают.

Так вот, они самые, - объяснил Фома Фомич. - Мартинисты, масоны и прочие вольнодумцы безбожные. "Прыгали, говорит, мартышки, прыгали - ну вот и допрыгались. Будет и у нас то же, что во Франции!"

Голицын улыбнулся, а старичку только того и надо было. Вынул из кармана газетный листок, прибавление к "Санкт-Петербургским ведомостям", с правительственным извещением о бунте Четырнадцатого. Голицын хотел прочесть, но Фома Фомич не позволил; опять полез в карман, достал кожаный футляр, вынул из него очки с большими, круглыми стеклами, тщательно протер их платком, неторопливо надел, откашлялся и стал читать.

- "Вчерашний день будет, без сомнения, эпохою в истории России, - читал своим тихим, слабым, как бы далеким, голосом. - В оный день жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что государь император Николай Павлович воспринимает венец своих предков. Но Провидению было угодно сей столь вожделенный день ознаменовать для нас и печальным происшествием..."

Далее описывали бунт как маленькое замешательство войск на параде.

- "Две возмутившиеся роты построились в батальон-каре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках".

- А ведь это я! - усмехнулся Голицын, и Фома Фомич ответил ему из-под очков такой же усмешкой.

- "Небольшие толпы окружали их и кричали: ура! Войска просили дозволения одним ударом уничтожить бунт. Но государь император щадил безумцев и лишь при наступлении ночи, наконец, решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Таковы были происшествия вчерашнего дня. Они, без сомнения, горестны. Но всяк, кто размыслит, что мятежники, пробыв четыре часа на площади, не нашли себе других пособников, кроме немногих

пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных; и что из всех гвардейских полков лишь две роты могли быть обольщены пагубным примером буйства, - конечно, с благодарностью к Промыслу признает, что в сем случае много и утешительного; что оный есть не иное что, как минутное испытание непоколебимой верности войска и общей преданности русских к августейшему их законному монарху. Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками беспорядков. Помощью Неба, твердостью правительства они прекращены совершенно: ничто не нарушает спокойствия столицы..."

- Правда, Фома Фомич, все тихо в городе? - спросил Голицын.

- Тихо-то тихо, да от этой тихости не поздоровится, - покачал старичок головою сомнительно. - Весь город точно вымер; только повозки с арестантами под конвоем жандармов скачут; все новых да новых везут, и, кажется, конца этому не будет: одной половине рода человеческого придется сторожить другую... А что, князь, пожалуй, сон-то в руку? - прошептал, наклонившись к уху его, с таинственным видом.

- Какой сон?

- А вот что опять из пушек палят. Южная армия, говорят, не присягнула, идет на Москву и Петербург, дабы провозгласить конституцию; и генерал Ермолов тоже; а сила у него большая, все войска Кавказского корпуса, который предан ему неограниченно. Я ведь его превосходительство Алексея Петровича знаю: орел! Из наших, суворовских. Чем черт не шутит, будет, говорят, династия Ермоловых вместо Романовых. Так вот, князь, какие дела: того и гляди, все начнется сызнова...

Голицын слушал, и опять загоралась в глазах его надежда. Но он потушил ее.

- Если и начнется, то не скоро, - проговорил, как будто про себя, тихо.

Но Фома Фомич услышал.

- Не скоро? Ну, а все-таки как?

- Да вам-то что? Ведь вы за царя?

- Мне, батюшка, ваше сиятельство, осьмой десяток идет. По старине живу, по старинке и думаю: коренной россиянин всех благ жизни и всей славы отчизны ожидает единственно от престола монаршего.

- Ну вот, вы за царя, а я за республику. Так вам со мной и знаться нечего!

- И-и, полно, князенька! Не так-то много на свете хороших людей, чтоб ими брезговать. Да и что мне с вами делать прикажете? Донести в полицию, что ли?.. Тьфу, неладный какой! Я-то за ним живу, нянчусь, а он шпынять изволит! - хотел старичок рассердиться и не мог: детская улыбка, детские глазки тихою добротою продолжали светиться.

- Фома Фомич, пожалуйте к бабушке, - сказала Маринька, входя в комнату.

- А что? Что такое?

- Ничего, соскучилась по вас, сердится, что вы ее забыли, ревнует к князю.

- Сию минуту! Сию минуту! - весь всполошился Фома Фомич, вскочил и выбежал, семеня проворно старыми ножками.

"А ведь он все еще любит ее, как сорок лет назад", - подумал Голицын.

Сквозь старые деревья, опушенные инеем, заголубело, зазеленело, как бирюза поблекшая или как детские глазки старичка влюбленного, зимнее небо; зимнее солнце заглянуло в окна. Прозрачные цветы мороза, как драгоценные камни, заискрились, и янтарный свет наполнил комнату. На желто-лимонном выцветшем штофе заиграли зайчики, и на белом фризе позлатились голые тела амуров.

"Какая веселая комната! - опять подумал Голицын. - Это от солнца... нет, от нее", - решил он, взглянув на Мариньку.

Переоделась: была уже не в утреннем капоте и чепчике, а в своем всегдашнем простеньком платьице, креповом, белом, с розовыми цветочками; умылась, причесалась, заплела косу корзиночкой; черные, длинные локоны висели, качаясь, как легкие гроздья, вдоль щек. И, несмотря на бессонную ночь, лицо было свежее - "свежее розы утренней", как Фома Фомич говаривал, - и спокойное, веселое: от давешних слез ни следа.

Прибирала комнату, сметала крылышком пыль, расставляла в порядке стклянки с лекарствами; столовую посуду вынесла, чайную - вымыла; помешала кочергою в печке, чтобы головешек не было.

Голицын следил за нею молча: все ее движения, молодые, сильные, легкие, были стройны, как музыка, и казалось, все, к чему ни прикасалась, даже самое будничное, вдруг становилось праздничным, таким же веселым, как она сама.

Должно быть, почувствовала взгляд его - обернулась, улыбнулась, подошла к нему, присела на край постели и наклонилась.

- Ну, что?

Солнечный луч разделял их, как полотнище ткани туго натянутой, и в голубовато-дымной мгле его светлые пылинки кружились, как будто плясали в пляске нескончаемой. Когда она склонилась, голова ее вошла в этот луч, и

Голицын увидел, что черные волосы пронизанного солнцем локона отливают рыжевато-огненным, почти красным отливом, как сквозь агат - рубин.

- Ну да, рыжая! - засмеялась, глядя на локон и как будто сама удивляясь.

Он приподнялся, потянулся к ней, - луч разделяющий соединил их. Она еще ниже склонилась, и, поймав рукой локон, он прижал его к губам. Запах волос, девственно-страстный, опьяняющий, как крепкое вино, кинулся ему в голову.

- Не надо. Что вы? Разве можно - волосы? - вдруг застыдилась, покраснела, потупилась и, отняв локон, откинула голову.

Голицын опустился на подушку, побледнел и полузакрыл глаза в изнеможении. Голова его кружилась, и ему казалось, что сам он кружится, как те пылинки в луче солнца, - пляшет в пляске нескончаемой.

- Как хорошо, Маринька, солнышко мое! - шептал, глядя на нее сквозь солнце, с блаженной улыбкой.

- Что хорошо? - спросила она с такой же улыбкой.

- Все хорошо... жить хорошо...

"Да, жить, жить, только бы жить!" - подумал он с такою жаждою жизни, какой еще никогда не испытывал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Верховный следственный комитет по делу Четырнадцатого открыл заседания сначала в Зимнем дворце, а потом в Петропавловской крепости. Все дело вел сам государь, работая без отдыха, часов по пятнадцати в сутки, так что приближенные опасались за его здоровье.

- Point de relache!* Что бы ни случилось, я дойду с Божьей помощью до самого дна этого омута! - говорил Николай Бенкендорфу.

____

* Никаких передышек! (фр.)

- Потихоньку, потихоньку, ваше величество! Силой ничего не возьмешь, надо лаской да хитростью...

- Не учи, сам знаю, - отвечал государь и хмурился, краснел, вспоминая о Трубецком, но утешался тем, что эта неудача произошла от немощи телесной, усталости, бессонницы; было раз и больше не будет. Отдохнул, успокоился и опять, как тогда, после расстрела на площади, почувствовал, что "все как следует".

Рылеева допрашивали в Комитете, 21 декабря, а на следующий день привезли во дворец на допрос к государю.

"Только бы сразу конец!" - думал Рылеев, но скоро понял, что конец будет не сразу: запытают пыткой медленной, заставят испить по капле чашу смертную.

На другой день после ареста государь велел справиться, не нуждается ли жена Рылеева в деньгах. Наталья Михайловна ответила, что у нее осталась тысяча рублей от мужа. Государь послал ей в подарок от себя две тысячи, а 22 декабря, в день ангела Настеньки, дочки Рылеева - еще тысячу от императрицы Александры Федоровны. И обещал простить его, если он во всем признается. "Милосердие государя потрясло мою душу", - писала она мужу в крепость.

Больше всего удивило Рылеева, что подарок послан ко дню Настенькина ангела: значит, об имени справились. "Какие нежности! Знает, чем взять, подлец! Ну, а что, если..." - начал думать Рылеев и не кончил: стало страшно.

Однажды поблагодарил коменданта Сукина за свидание с женою. Тот удивился, потому что не разрешал свидания; подумал, не вошла ли без пропуска. Допросил сторожей; но все подтвердили в один голос, что не входила.

- Должно быть, вам приснилось, - сказал он Рылееву.

- Нет, видел ее, вот как вас вижу. Сказала мне, что я и знать не мог, - о подарке государевом.

- Да ведь вы об этом в Комитете узнали.

- В Комитете потом, а сначала от нее.

- Может быть, забыли?

- Нет, помню. Я еще с ума не сходил.

- Ну, так это была с т е н ь.

- Какая стень?

- А когда наяву мерещится. Вы больны. Лечиться надо.

"Да, болен", - подумал Рылеев с отвращением.

Вечером 22-го привезли его на дворцовую гауптвахту, обыскали, но рук не связывали; отвели под конвоем во флигель-адъютантскую комнату, посадили в углу, за ширмами, и велели ждать.

Он старался думать о том, что скажет сейчас государю, но думал о другом. Вспоминал, как в ту последнюю ночь, когда пришли его арестовать,

Наташа бросилась к нему, обвила его руками, закричала криком раздирающим, похожим на тот, которым кричала в родах:

- Не пущу! Не пущу!

И обнимала, сжимала все крепче. О, крепче всех цепей эти слабые нежные руки - цепи любви! Со страшным усилием он освободился. Поднял ее, почти бездыханную, понес, положил на постель и, выбегая из комнаты, еще раз оглянулся. Она открыла глаза и посмотрела на него: то был ее последний взгляд.

"Я-то хоть знаю, за что распнут; а она будет стоять у креста, и ей самой оружие пройдет душу*, а за что - никогда не узнает".

---

* "И Тебе Самой душу пройдет оружие" - предсказание праведного Симеона Богоматери (Евангелие от Луки. II, 35).

Так думал он, сидя в углу за ширмами во флигель-адъютантской комнате.

А иногда уже не думал ни о чем, только чувствовал, что лихорадка начинается. Свет свечей резал глаза; туман заволакивал комнату, и казалось - он сидит у себя в каземате, смотрит на дверь и, как тогда, перед "стеной", ждет, что дверь откроется, войдет Наташа.

Дверь открылась, вошел Бенкендорф.

- Пожалуйте, - указал ему на дверь и пропустил вперед.

Рылеев вошел.

Государь стоял на другом конце комнаты. Рылеев поклонился ему и хотел подойти.

- Стой! - сказал государь, сам подошел и положил ему руки на плечи. - Назад! Назад! Назад! - отодвигал его к столу, пока свечи не пришлись прямо против глаз его. - Прямо в глаза смотри! Вот так! - повернул его лицом к свету. - Ступай, никого не принимать, - сказал Бенкендорфу.

Тот вышел.

Государь молча, долго смотрел в глаза Рылееву.

- Честные, честные! Такие не лгут! - проговорил, как будто про себя, опять помолчал и спросил: - Как звать?

- Рылеев.

- По имени?

- Кондратий.

- По батюшке?

- Федоров.

- Ну, Кондратий Федорович, веришь, что могу тебя простить?

Рылеев молчал. Государь приблизил лицо к лицу его, заглянул в глаза еще пристальнее и вдруг улыбнулся. "Что это? Что это?" - все больше удивлялся Рылеев: что-то молящее, жалкое почудилось ему в улыбке государя.

- Бедные мы оба! - тяжело вздохнул государь. - Ненавидим, боимся друг друга. Палач и жертва. А где палач, где жертва - не разберешь. И кто виноват? Все, а я больше всех. Ну, прости. Не хочешь, чтобы я - тебя, так ты меня прости! - потянулся к нему губами.

Рылеев побледнел, зашатался.

- Сядь, - поддержал его государь и усадил в кресло. - На, выпей, - налил воды и подал стакан. - Ну что, легче? Можешь говорить?

- Могу.

Рылеев хотел встать. Но государь удержал его за руку.

- Нет, сиди, - придвинул кресло и сел против него. - Слушай, Кондратий Федорович. Суди меня, как знаешь, верь или не верь, а я тебе всю правду скажу. Тяжкое бремя возложено на меня Провидением. Одному не вынести. А я один, без совета, без помощи. Бригадный командир - и больше ничего. Ну что я смыслю в делах? Клянусь Богом, никогда не желал я царствовать и не думал о том, - и вот! Если бы ты только знал, Рылеев, - да нет, никогда не узнаешь, никто никогда не узнает, - что я чувствую и чувствовать буду всю жизнь, вспоминая об этом ужасном дне - Четырнадцатом! Кровь, кровь, весь в крови - не смыть, не искупить ничем! Ведь я же не зверь, не изверг - я человек, Рылеев, я тоже отец. У тебя Настенька, у меня - Сашка. Царь - отец, народ - дитя. В дитя свое нож - в Сашку! В Сашку! В Сашку!

Закрыл лицо руками. Долго не отнимал их; наконец, отнял и опять положил их на плечи его, заглянул в глаза с улыбкою, как будто молящею.

- Видишь, я с тобой как друг, как брат. Будь же и ты мне братом. Пожалей, помоги!

"Лжет - не лжет? Лжет - не лжет? Искушаешь, дьявол? Ну, погоди ж, и я тебя искушу!" - вдруг разозлился Рылеев.

- Правду хотите знать, ваше величество? Так знайте же: свобода обольстительна, и я, распаленный ею, увлек и других. И не раскаиваюсь. Неужели тем виноват я пред человеками, что пламенно желал им блага? Но не о себе хочу говорить, а об отечестве, которое, пока не остановится биение сердца моего, будет мне дороже всех благ мира и самого неба!

Говорил, как всегда, книжно, не просто, а теперь особенно, потому что заранее обдумал всю эту речь. Вдруг вскочил, поднял руки; бледные щеки

зарделись, глаза засверкали, лицо преобразилось. Сделался похож на прежнего Рылеева, бунтовщика неукротимого - весь легкий, летящий, стремительный, подобный развеваемому ветром пламени.

- Знайте, государь: пока будут люди, будет и желание свободы. Чтобы истребить в России корень свободомыслия, надо истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в прошлое царствование. Смело говорю: из тысячи не найдется и ста, не пылающих страстью к свободе. И не только в России, нет, все народы Европы одушевляет чувство единое, и сколь ни утеснено оно, убить его невозможно. Где, - укажите страну, откройте историю, - где и когда были счастливы народы под властью самодержавной, без закона, без права, без чести, без совести? Злодеи вам - не мы, а те, кто унижает в ваших глазах человечество. Спросите себя самого: что бы вы на нашем месте сделали, когда бы подобный вам человек мог играть вами, как вещью бездушною?

Государь сидел молча, не двигаясь, облокотившись на ручку кресла, опустив голову на руку, и слушал спокойно-внимательно. А Рылеев кричал, как будто грозил, руками размахивал; то садился, то вскакивал.

- В манифесте сказано, что царствование ваше будет продолжением Александрова. Да неужели же, неужели вы не знаете, что царствование сие было для России убийственно? Он-то и есть главный виновник Четырнадцатого. Не им ли исполински двинуты умы к священным правам человечества и потом остановлены, обращены вспять? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы и потом так жестоко свобода удавлена? Обманул Россию, обманул Европу. Сняты золотые цепи, увитые лаврами, и голые, ржавые - гнетут человечество. Вступил на престол "Благословенный" - сошел в могилу проклятый!

- Ты все о нем, ну, а обо мне что скажешь? - спросил государь все так же спокойно.

- Что о вас? А вот что! Когда вы еще великим князем были, вас уже никто не любил, да и любить было не за что: единственные занятия - фрунт и солдаты; ничего знать не хотели, кроме устава военного, и мы это видели и страшились иметь на престоле российском прусского полковника или, хуже того, второго Аракчеева, злейшего. И не ошиблись: вы плохо начали, ваше величество! Как сами изволили давеча выразиться, взошли на престол через кровь своих подданных; в народ, в дитя свое вонзили нож... И вот плачете, каетесь, прощения молите. Если правду говорите, дайте России свободу, и мы все - ваши слуги вернейшие. А если лжете, берегитесь: мы начали - другие кончат. Кровь за кровь - на вашу голову или вашего сына, внука, правнука! И тогда-то увидят народы, что ни один из них так не способен к восстанию, как наш. Не мечта сие, но взор мой проницает завесу времен! Я зрю сквозь целое столетие! Будет революция в России, будет! Ну, а теперь казните, убейте...

Упал на кресло в изнеможении.

- Выпей, выпей, - опять налил государь воды в стакан. - Хочешь капель?

Сбегал за каплями, отсчитал в рюмку. Совал ему английской соли и спирта под нос. Рылеев хотел вытереть пот с лица; поискал платка, не нашел. Государь дал ему свой. Хлопотал, суетился, ухаживал. В движениях тонкого, длинного, гибкого тела была змеиная ласковость. "Стень, стень! Оборотень!" - думал Рылеев с ужасом.

- Ах, Боже мой! Ну разве можно так? Ну полно же, полно! Приляг, отдохни. Хочешь вина, чаю? Закусить, поужинать?

- Ничего не надо! - простонал Рылеев и подумал с тоской: "Когда же это кончится, Господи!"

- Можешь выслушать? - спросил государь, опять придвинул кресло, уселся и начал: - Ну, спасибо за правду, мой друг. - Взял обе руки его и пожал крепко. - Ведь нам, государям, все лгут, в кои-то веки правду услышишь. Да, все правда, кроме одного: немцем на престоле российском не буду. Бабка моя, императрица Екатерина, тоже немка была, а взошла на престол и сделалась русской. Так вот и я. Personne n'est plus russe de coeur que je ne le suis*, - сказал по-французски, но тотчас поправился. - Мы оба с тобой русские - и я, государь, и ты, бунтовщик. Ну, скажи на милость, разве могли бы говорить так, как мы с тобой, не русские?

---

* Я русский сердцем, как никто (фр.).

Что-то подобное бледной улыбке промелькнуло в лице Рылеева.

- Ну, что? - заметил ее государь и тоже улыбнулся. - Говори, не бойся, сам видишь, правды со мной бояться нечего.

- Вы очень умны, государь.

- А-а, дураком считал! Ну вот, видишь, значит, хоть в этом ошибся. Нет, не дурак. Понимаю, что плохо в России. Я сам есмь первый гражданин отечества. Никогда не имел другого желания, как видеть Россию свободною, счастливою. Да знаешь ли ты, что я, еще великим князем, либералом был не хуже вашего? Только молчал, таил про себя. С волками жить - по-волчьи

выть. Вот и выл с Аракчеевым. Чем хуже, тем лучше. Вам помогал. Ну, говори же, только правду, всю правду, чего вы хотели - конституции? Республики?

"Ну, конечно, лжет! Стень, стень, оборотень!" - опять подумал Рылеев с ужасом. Но сильнее ужаса было любопытство жадное: "А ну-ка, попробовать, - не поверить, а только сделать вид, что верю?"

- Что ж ты молчишь? Не веришь? Боишься?

- Нет, не боюсь. Я хотел республики, - ответил Рылеев.

- Ну, слава Богу, значит, умен! - опять крепко пожал ему обе руки государь. - Я понимаю самодержавие, понимаю республику, но конституцию не понимаю. Это образ правления лживый, лукавый, развратный. И предпочел бы отступить до стен Китая, нежели принять оный. Видишь, как я с тобой откровенен, - плати и ты мне тем же!

Помолчал, посмотрел на него и вдруг схватился за голову.

- Что ж это было? Что ж это было? Господи! Зачем? Своего не узнали? Всех обманул - и вас. На друга своего восстали, на сообщника. Пришли бы прямо, сказали бы: вот чего мы хотим. А теперь... Послушай, Рылеев, может, и теперь еще не поздно? Вместе согрешили, вместе и покаемся. Бабушка моя говаривала: "Я не люблю самодержавия, я в душе республиканка, но не родился тот портной, который скроил бы кафтан для России". Будем же вместе кроить. Вы - лучшие люди в России: я без вас ничего не могу. Заключим союз, вступим в новый заговор. Самодержавная власть - сила великая. Возьмите же ее у меня. Зачем вам революция? Я сам - революция!

Как скользящий в пропасть еще цепляется, но уже знает, что сорвется и полетит, так Рылеев еще ужасался, но уже радовался.

И глаза государя блеснули радостью.

- Погоди, не решай, подумай сначала. Так говорить, как я, можно только раз в жизни. Помни же: не моя, не твоя судьба решается, а судьба России. Как скажешь, так и будет. Ну, говори, хочешь вместе? Хочешь? Да или нет?

Протянул руку. Рылеев взял ее, хотел что-то сказать и не мог: горло сжала судорога. Слезы поднимались, поднимались и вдруг хлынули. Сорвался - полетел, поверил.

- Как я... Что я сделал! Что я сделал! Как мы все... нет, я, я один... Всех погубил! Пусть же на мне все и кончится! Сейчас же, сейчас же, тут же на месте, казните, убейте меня! А тех, невинных, помилуйте...

- Всех, всех, и тебя и всех! Да и миловать нечего: ведь я ж тебе говорю - вместе! - сказал государь, обнял его и заплакал, или так показалось Рылееву.

- Плачете? Над кем? Над убийцею? - воскликнул Рылеев и упал на колени; слезы текли все неутолимее, все сладостней; говорил, как в бреду; похож был на пьяного или безумного. - Именины Настенькины вспомнили! Знали, чем растерзать! Вот вы какой! Чувствую биение ангельского сердца вашего! Ваш, ваш, навсегда! Но что я - пятьдесят миллионов ждут вашей благости. Можно ли думать, чтобы государь, оказывающий милости убийцам своим, не захотел любви народной и блага отечеству? Отец! Отец! Мы все, как дети, на руках твоих! Я в Бога не веровал, а вот оно, чудо Божье - Помазанник Божий! Родимый царь-батюшка, красное солнышко...

- А нас всех зарезать хотел? - вдруг спросил государь шепотом.

- Хотел, - ответил Рылеев тоже шепотом, и опять давешний ужас сверкнул, как молния, - сверкнул и потух.

- А кто еще?

- Больше никого. Я один.

- А Каховского не подговаривал?

- Нет, нет, не я, - он сам...

- А-а, сам. Ну, а Пестель, Муравьев, Бестужев? Во Второй армии тоже заговор? Знаешь о нем?

- Знаю.

- Ну, говори, говори все, не бойся - всех называй. Надо всех спасти, чтобы не погибли новые жертвы напрасные. Скажешь?

- Скажу. Зачем сыну скрывать от отца? Я мог быть вашим врагом, но подлецом быть не могу. Верю! Верю! Сейчас еще не верил, а теперь... видит Бог, верю! Все скажу! Спрашивайте!

Он стоял на коленях. Государь наклонился к нему, и они зашептались, как духовник с кающимся, как любовник с любовницей.

Рылеев все выдавал, всех называл - имя за именем, тайну за тайного.

Иногда казалось ему, что рядом, на двери, шевелится занавес. Вздрагивал, оглядывался. Раз, когда оглянулся, государь подошел к двери, как будто сам испугался, не подслушал бы кто.

- Нет, никого. Видишь? - раздвинул занавес так, что Рылеев почти увидел - почти, но не совсем.

- Ну что, устал? - заглянул в лицо его и понял, что пора кончать. - Будет. Ступай, отдохни. Если что забыл, вспомни к завтраму. Да хорошо ли тебе в каземате, не темно ли, не сыро ли? Не надо ли чего?

- Ничего не надо, ваше величество. Если бы только с женой...

- Увидитесь. Вот ужо кончим допрос, и увидитесь. О жене и о Настеньке

не беспокойся. Они - мои. Все для них сделаю.

Вдруг посмотрел на него и покачал головой с грустною улыбкою.

- И как вы могли?.. Что я вам сделал? - отвернулся, всхлипнул уже почти непритворно, над самим собой сжалился: "Pauvre diable", "бедный малый", "бедный Никс".

- Простите, простите, ваше величество! - припал к его ногам Рылеев и застонал, как насмерть раненный. - Нет, не прощайте! Казните! Убейте! Не могу я этого вынести!

- Бог простит. Ну, полно же, полно, - обнимал, целовал его государь, гладил рукой по голове, вытирал слезы то ему, то себе общим платком. - Ну, с Богом, до завтра. Спи спокойно. Помолись за меня, а я - за тебя. Дай, перекрещу. Вот так. Христос с тобой!

Помог ему встать и, подойдя к двери во флигель-адъютантскую, крикнул:

- Левашев, проводи!

- Платок, ваше величество, - подал ему Рылеев.

- Оставь себе на память, - сказал государь и поднял глаза к небу. - Видит Бог, я хотел бы утереть сим платком слезы не только тебе, но и всем угнетенным, скорбящим и плачущим!

Уходя, Рылеев не заметил, как из-за тяжелых складок той занавеси, которая шевелилась давеча, появился Бенкендорф.

- Записал? - спросил государь.

- Кое-чего не расслышал. Ну, да теперь кончено: все имена, все нити заговора. Поздравляю, ваше величество!

- Не с чем, мой друг. Вот до чего довели, сыщиком сделался!

- Не сыщиком, а исповедником. В сердцах читать изволите. Как у Апостола о слове Божьем сказано: "Острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов..."*

____

* Послание к Евреям св. апостола Павла. IV, 12.

"Присылаемого Рылеева содержать на мой счет, - писал государь крепостному коменданту Сукину. - Давать кофий, чай и прочее, а также для письма бумагу; и что напишет, ко мне приносить ежедневно. Дозволить ему писать, лгать и врать по воле его".

- А платочек-то, платочек на память! - всхлипнул Бенкендорф и поцеловал государя в плечо. Тот взглянул на него молча и не выдержал - рассмеялся тихим смехом торжествующим. Чувствовал, что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого.

Все еще боялся и ненавидел, не утолил жажды презрения, но уже надеялся, что утолит.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Голицын выздоравливал так быстро, что все удивлялись и приписывали это чудесному искусству доктора. Но сам больной знал, что не доктор лечит его, а Маринька. Глядя на нее, как будто пил живую воду, и, казалось, если б умирал, воскрес бы из мертвых.

Дней через пять после того утра, когда в первый раз очнулся, начал уже вставать и бродить по комнате.

Однажды бабушкин дворецкий, Ананий Васильич, доложил Фоме Фомичу, что какой-то "малый" хотел видеть князя, а фамилии не сказывает.

- С виду какой? - спросил Фома Фомич.

- Бог его знает, мужик не мужик, барин не барин, а будто ряженый.

"Шпион", - подумал Фома Фомич и решил:

- Гони его в шею!

- Гнал - не идет. "Непременно, говорит, нужно по делу, для самого его сиятельства важнейшему".

Фома Фомич сошел в сени и увидел молодого человека, высокого, худого, бледного, с черной бородою, в нагольном тулупе, в засаленном картузе и теплых валенках, не то лавочного сидельца, не то мелкого подрядчика.

- Князь болен, мой милый, принять тебя не может, - сказал старичок неуверенно: тоже не мог догадаться, с кем говорит, с мужиком или барином. - Да ты... вы кто такой будете?

- Очень нужно, очень, - повторял молодой человек, но фамилии своей не называл.

- Ну, ступай, брат, ступай с Богом! - рассердился, наконец, Фома Фомич и начал его выпроваживать. Но тот упирался, не шел.

- Вот, передайте князю, я подожду, - сунул ему записку. - Да вы, сударь, не извольте беспокоиться: я не то, что вы думаете, а даже совсем напротив, - улыбнулся так, что Фома Фомич вдруг поверил, взял записку и отнес к Голицыну.

На клочке бумаги нацарапано было карандашом, по-французски, неразборчиво:

"Очень нужно вас видеть, Голицын. Извольте принять. Не уйду.

Уничтожьте записку".

Подписи не было, и почерк был незнакомый. Голицын велел принять.

Когда молодой человек вошел в комнату, он сначала не узнал его; но, вглядевшись в бледно-голубые, навыкате, глаза, грустные и нежные, бросился к нему на шею:

- Кюхля!

- А что, не узнали, Голицын?

- Да скиньте бороду! Скиньте бороду! Настоящий жид!

- Нельзя, приклеена.

Когда Фома Фомич, успокоенный, вышел, Голицын усадил гостя и запер дверь.

- Ну, рассказывайте.

И Кюхельбекер начал рассказывать. Почти все заговорщики схвачены, а кого не успели схватить, те сами являются. Назначена Верховная следственная комиссия, но государь сам ведет все дело. Пощады не будет: одних казнят, других сошлют или в тюрьмах сгноят.

- Все живы? - спросил Голицын.

- Все. Никто даже не ранен.

- Чудеса. А под каким огнем стояли!

"Может быть, это недаром? - подумал он. - Может быть, судьба хранит нас для подвига большего, чем смерть?"

- Ну, а как насчет Южной армии и Кавказского корпуса?

- Все вздор. Нет, Голицын, нам больше надеяться не на что, кончено... Ну, а теперь главное: хотите со мной бежать?

- С вами, Кюхля? Ну, еще бы! С кем и бежать, как не с вами? Вы человек ловкий, никогда никаких приключений... Полно, мой друг: вас первый же будочник сцапает.

- Не смейтесь, Голицын. Дело серьезное. Все уже готово: пачпорт, деньги и люди верные. Знаете актера Пустошкина, в Александрийском театре, в водевилях играет? Бороду достанет вам, не хуже моей, и парик, и мужицкое платье. Только бы через заставу пробраться, а там, с хлебным обозом, в Архангельск. До открытия навигации будем скрываться на островах, у лоцманов, а потом на аглицком аль на французском судне - за море. А то можно и в Варшаву: жидки-контрабандисты через границу переправляют за две беленьких. Сначала - в Париж, а оттуда хороша бы и в Венецию...

- В Венецию! - рассмеялся Голицын. - А знаете, что одна московская барыня говорила о Венеции: "Конечно, говорит, климат здесь хорош, но жаль, что не с кем сразиться в преферансик". Так и вы соскучитесь. Нет, Кюхля, без России не проживете!

- Проживу. Мы и в России чужие. Не отечество мы оплакиваем, а по отечеству плачем; носим траур не по умершему, а по нерожденному. Не знаю, как для вас, Голицын, а для меня вся Россия сейчас опоганена, окровавлена. Черные дни наступили, и уж это надолго - на пятьдесят, а может, и на сто лет. Успеем умереть в глухой пустыне, вдали от Святой земли, от Сиона, где можно жить и петь песни высокие.

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

Ну, так как же, мой друг, не хотите?

- Нет, Кюхля, что-то не хочется. Да и куда больному зимой по морозу тащиться!

- Ну, как знаете. А все-таки подумайте, может быть, и решите? Я еще зайду.

- Заходите, подумаю, - сказал Голицын, чтобы только отделаться, и злая мысль мелькнула у него: "Немец, - оттого и бежит". Но он тотчас устыдился, и они простились так же нежно, как встретились.

Когда гость ушел, Голицын задумался - не о бегстве, а о том, что будет, когда его схватят. Еще ни разу не думал об этом как следует. Не заглядывал в будущее, жил со дня на день, как в колыбели убаюканный, в своей веселой, желтой комнате, и казалось, весь мир для него кончается деревьями старого сада, опушенными инеем. Иногда ловил себя на глупой надежде: может быть, и не схватят; старый дом - убежище верное, как на дне морском, не сыщут. Притаится, переждет, а потом уедет с Маринькой в Черемушки или еще дальше куда-нибудь, на край света; женится на ней, пошлет к черту политику и будет просто счастлив.

Но вот, когда Кюхля ушел, понял вдруг, что схватят наверное; и тогда что будет с Маринькой?

Вспомнился вчерашний разговор с Ниною Львовною.

Сорокалетняя институтка, воспитанная на чувствительных романах Сюза и Жанлис, в делах житейских госпожа Толычева была как дитя малое. Узнав от Фрындина о выкупе Черемушек и видя, что Голицын ухаживает за Маринькой, несказанно обрадовалась. Но не понимала, почему он не говорит о своих чувствах к дочери с нею, с матерью; считала это неприличным. А когда узнала об его участии в бунте, испугалась. Долго таилась, молчала и ждала,

не заговорит ли он сам; наконец, не выдержала.

Начала издалека о своем беспомощном вдовстве и сиротстве Мариньки, о доверии к Голицыну и к чистоте его намерений, а в заключение спросила неожиданно - прямо, в упор:

- Как вы думаете, князь, благополучно ли кончится для вас это дело?

- Какое дело? - сразу понял он, но притворился непонимающим: было стыдно и страшно: "Как будто соблазнил дочь, и мать это знает".

- Да вот это ужасное происшествие Четырнадцатого. Простите, что я так прямо. Но ведь я - мать. А вы - человек благородный, чувствительный: вы должны понять сердце матери. Говорите же, говорите, Валерьян Михайлович, решайте нашу судьбу!

- Извольте, Нина Львовна. Вы прямо спросили, и я прямо отвечу. Нет, дело это для меня благополучно не кончится: разыщут, схватят, будут судить и присудят если не к плахе, то к тюрьме или каторге.

Она побледнела так, что он испугался, как бы ей не сделалось дурно.

- А как же Маринька? - всплеснула руками и заплакала. - Что же делать? Что же делать? Помогите, князь, посоветуйте...

В лице ее промелькнуло сходство с плачущей Маринькой. Голицын взял ее руки и поцеловал их с почтительной нежностью.

- Я очень виноват перед вами, Нина Львовна. Но даю вам слово: я сделаю все, что могу, чтобы Марья Павловна забыла обо мне, а вы поскорее уезжайте с ней в Черемушки.

На этом разговор их кончился. И вот теперь вспомнив о нем, понял он, что взял на себя непосильную тяжесть. "Сделаю, чтобы забыла обо мне", - легко сказать. Чем больше думал, тем больше чувствовал себя виноватым какой-то виною неискупимою. Ничего не знающую девочку, почти ребенка, влечет за собою на муку, которой, может быть, и сам не вынесет. Ухватился за нее, как утопающий, и тащит ко дну. Или как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, бросился в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Сидел у окна в желтой комнате. Был двенадцатый час, но еще не рассвело как следует. Вьюга залепила окна снегом. Старые деревья сада качались, шумели. Ветер выл в трубе заунывно-жалобно. И вспомнилось ему, как тогда, после расстрела на площади, он пошел на Галерную и, стоя под огнем картечи, в узкой, темной улице, звал смерть: "Да ну же, ну, скорее!" - и тоска напала на него пуще смерти. "Убить себя!" - подумал, вынул пистолет из кармана, приложил дуло к виску и взвел курок, но вспомнил о Мариньке и отнял руку. Зачем отнял?

- О чем задумались? - услышал голос Мариньки и вздрогнул. Она вошла так тихо, что он не слышал.

Улыбнулся ей, как всегда улыбался, когда она входила в комнату, но ничего не ответил.

У стены, на вешалке, висела шинель, та самая, в которой он был на площади. Маринька сняла шинель, присела к рабочему столику и принялась штопать маленькие, круглые дырочки, пробитые пулями.

- Должно быть, гость расстроил? Кто такой? - спросила, не подымая глаз.

- Старый приятель, Вильгельм Карлович Кюхельбекер.

- Тоже был с вами на площади?

- Да.

- О чем же говорили, не секрет?

- Предлагал бежать.

- Ну, а вы?

- Я не хочу.

- Почему?

- Я без России не могу... и без вас.

- Почему без меня? Я с вами.

- А Нина Львовна?

- И маменька с нами. А если не захочет, все равно, без нее. Куда вы, туда и я. Видите, иголка и нитка? Куда иголка, туда и нитка.

Он молча следил, как быстро мелькает иголка в тонких пальцах. Спокойно и весело штопала круглые дырочки.

- Я все думаю, Маринька, что с вами будет, когда меня схватят.

- Может, еще и не схватят?

- Нет, схватят наверное.

- Ну, что ж, и со мной будет, что с вами, - ответила она спокойно, как будто все уже давно решила.

Опять помолчали.

- Маринька, сделайте, о чем я вас попрошу.

- Что?

- Обещайте.

- Зачем? Вы и так знаете, что сделаю.

- Все?

- Ну, конечно, - улыбнулась она своей милой улыбкой, которую он так любил.

Подождал, собрался с духом.

- Уезжайте поскорее в Черемушки, - сказал, наконец, решительно.

Она остановила руку с иголкою, подняла глаза и посмотрела на него долго, внимательно, но все так же спокойно, как будто не понимала и старалась понять.

- А как же вы без меня?

- Мне легче так.

- Одному легче?

Он молча кивнул головою.

- Неправда. Зачем вы говорите неправду?

- Нет, правда.

Посмотрела на него еще внимательнее, спокойнее и вдруг поняла.

- Ну, хорошо. Только и вы сделайте, о чем попрошу Скажите, что не любите меня... н е т а к любите.

- Как - не так?

- А вот как: если сжать руку - больно, а если задеть за рану - нестерпимо. Я так люблю, а вы не так? Только скажите: "не так" - и уеду.

Спокойная решимость была в ее лице и голосе. Он понял, что она говорит правду: если скажет сейчас эти два слова: "не так" - она уедет, и все будет кончено.

Помолчала, подождала; потом вдруг встала, подошла к нему, наклонилась, обняла голову его и поцеловала в лоб.

- Глупенький! Господи, какой вы у меня глупенький! - улыбнулась, как тогда, во время болезни; и опять показалось ему, что он, в самом деле, глупенький, маленький, а она - большая: вот возьмет его на руки и понесет, как мать носит ребенка.

Вернулась к рабочему столику и снова принялась штопать.

- Ну, а теперь извольте рассказывать, что вы такое наделали. Я хочу знать все.

- Да что же рассказывать, Маринька? Ведь это политика, прескучная материя...

- Не моего ума дело? Ну, ничего, может, и пойму.

"Говорить о политике с восемнадцатилетнею барышней, вот наказание!" - подумал он и начал нехотя, чтобы только поскорее отделаться; был уверен, что она ничего не поймет. И, пока был в этом уверен, она, в самом деле, не понимала; задавала вопросы такие детские, что он становился в тупик, не знал, что ответить.

- Вот видите, дура какая! - смеялась. - Раз кавалер на балу спросил уездную барышню, что она читает. "Я, говорит, читаю розовенькую книжку, а сестра моя - голубенькую". Вот и я такая же!

Но когда он начал рассказывать о Софье Нарышкиной, она вся насторожилась, и глаза ее блеснули так, что он подумал: "Ревнует".

- А ведь вы ее и сейчас как живую любите?

- Как живую.

- Ее и меня вместе?

- Вместе.

Немного подумала и спросила:

- Портрет есть?

- Есть.

- Покажите.

Он снял с шеи медальон с портретом Софьи. Она взяла его и долго смотрела на него молча; потом вдруг поцеловала и заплакала.

- Какая я злая девчонка, скверная! - улыбнулась сквозь слезы. - Ну, конечно, вместе... вместе любить вас будем!

- А знаете, Маринька, розовенькую-то книжку, кажется, не вы читали, а я... Все умные люди - дураки ужасные! - улыбнулся он тоже сквозь слезы. Теперь уже знал, что она все понимает, видит все изнутри, как будто входит сердцем в сердце.

О том, что замышлял убить отца Софьи, императора Александра Павловича, все-таки страшно было сказать. Хотел утаить, но не мог - сказал и об этом. Сначала не поверила; допытывалась, как будто не понимала:

- Ее отца убить хотели? И она это знала?

- Знала.

- Быть не может! - всплеснула руками горестно. - Ох, не надо об этом! Не говорите. Я сейчас не пойму - лучше потом...

Иногда входили в комнату и мешали им; но только что они оставались одни, она торопила его:

- Ну, рассказывайте, рассказывайте. Что же дальше?

Когда стемнело и зажгли свечи, перешли в голубую диванную, ту самую, где виделись в последний раз перед Четырнадцатым. Здесь уже никто не мешал.

Маринька села на то же место, как тогда, у окна, где стояли пяльцы с начатой вышивкой, белым попугаем на зеленом поле - Потапом Потапычем; желтый хохолок его так и остался неоконченным. В углу тускло горела карселевая лампа в матовом шаре, а от окон падали на пол косые

четырехугольники лунного света. К вечеру вьюга затихла. Разорванные тучи, то темные, то светлые, с отливом перламутровым, неслись по небу, как привидения; и прозрачные цветы мороза на окнах искрились голубыми сапфирами.

Голицын рассказывал о Южном тайном обществе, о Сергее Муравьеве и его "Катехизисе". И по тому, как Маринька слушала, чувствовал, что она понимает, что это для него главное.

- "Цари прокляты суть от Бога, яко притеснители народа, - читал наизусть слова "Катехизиса". - Для освобождения родины должно ополчиться всем вместе против тиранства и восстановить веру и свободу в России. Раскаемся в долгом раболепствии нашем и поклянемся: да будет един царь на небеси и на земли - Иисус Христос".

- Да ведь Христос на небе? - простодушно удивилась она.

- И на земле, Маринька.

- Где же на земле? Что-то не видно, - удивилась еще простодушнее.

- Оттого и не видно, что вместо царя Христа - царь Зверь. Надо Зверя убить.

- Для Христа убивать разве можно?

Давеча боялся, что она не поймет; и вот теперь было страшно, что слишком хорошо понимает. Восемнадцатилетняя девочка, почти ребенок, обличала последнюю тайну, последнюю муку его.

Вдруг встала, наклонилась, положила ему руки на плечи и за глянула в глаза.

- Валерьян Михайлович, во Христа-то вы веруете?

- Что вы, Маринька...

- Веруете? Да?

- Верую во единого Господа Иисуса Христа, сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век*, - произнес Голицын торжественно.

____

* Слова из "Символа веры" - краткого изложения христианского вероучения.

- Ну, слава Богу! - вздохнула она с облегчением и перекрестилась. - А то все говорят: бунтовщики - безбожники. Вот я и подумала... Уж вы на меня не сердитесь, сама знаю, что дура! Папенька, бывало, сказывал: "Не всему верь, что люди говорят; своим умом живи". Да своего ума-то нет, вот горе!

Замолчала, задумалась, как будто стараясь что-то вспомнить.

- Ах, вот на кого похоже! - вдруг вспомнила радостно. - Погодите-ка, что я вам покажу...

Выбежала и вернулась с маленькой книжкой в черной коже, тисненной золотом - одним из тех альбомов, в которых уездные барышни записывали стишки на память. На первой странице - Амур в виде пастушка, сидящий над речкой, а внизу стихи:

Теперь уж все изменой дышит,
Теперь нет верности нигде:
Амур, смеяся, клятвы пишет
      Стрелою на воде.

И тут же комплимент: "Ваши черные глаза, Marie, носят траур по тем, кого белого света лишили".

Отыскала страницу и указала. Он прочел поблекшие строки, написанные крупным и круглым старинным почерком:

"Дочери моей возлюбленной Мариньке. Да пошлет тебе Господь спутника жизни, не богатого и не знатного, но доблестью сердца украшенного, по сему изречению российского автора преизящнейшего, Александра Николаевича Радищева:

"Если бы закон, или государь, или какая-либо на земле власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою - и поживешь на памяти благородных душ до скончания веков".

Павел Толычев".

- Господин Радищев папенькин друг был, - похвастала она и перевернула страницу.

- А вот еще.

Он прочел:

Помни, Мария,
Слова преблагия:

С е м я Ж е н ы с о т р е т г л а в у З м и я*.

Александр Лабзин.

---

* Неточная цитата из Библии (Бытие. III, 15). Речь идет о победе Христа над сатаной.

- Тоже приятель папенькин, - опять похвастала.

- Так вот вы чья крестница - Лабзина и Радищева! - улыбнулся ей Голицын радостно. Ему казалось, что они породнились новым родством таинственным.

- А вы думали что! - засмеялась она и зарделась. - Ну, рассказывайте, рассказывайте! Что же дальше?

Когда он рассказал о том, как Четырнадцатого на площади Николай расстрелял толпу безоружную, она прошептала, бледнея:

- Да, убить Зверя!

"А разве можно убивать для Христа?" - теперь уже не спросила. И он почувствовал, что не только поняла, но и приняла все до конца, - и в этой последней тайне, последней муке уже никогда не покинет его ни перед судом человеческим, ни перед Божьим судом.

Когда он кончил, Маринька подсела к нему на ручку кресла и как тогда, во время болезни, прижалась щекой к щеке. Оба молчали, глядя, как разорванные тучи несутся по небу, луна то выходит, то прячется и цветы мороза на окнах то потухают, то искрятся голубыми сапфирами.

- А помните, Маринька, вы говорили, что любить землю - грех, надо любить небесное?

- Нет, что-то не помню. Постойте-ка... Ах, да, ночью, в возке, когда из Москвы ехали. Как это вы вспомнили? Ну, так что же?

- Да ведь отечество - тоже земля. А разве любовь к отечеству - грех?

- Ну, что вы! Должно быть, глупость сказала?

- Нет, не глупость, а только не все. Ну, да всего-то, пожалуй, никто об этом не знает...

Он говорил спокойно. Но Маринька почувствовала опять, как давеча, что это для него главное. Подняла голову и заглянула в глаза его.

- Никто не знает о чем? - спросила шепотом.

- О земле и о небе. Как землю и небо вместе любить, - ответил он тоже шепотом.

- Вместе? - повторила и помолчала, подумала. - Да ведь вы же меня и Софью вместе любите?

Опять помолчала, еще глубже задумалась. Потом заговорила с таким выражением лица, какого он никогда не видел у нее.

- Раз, давно-давно, как во сне помню, - я совсем была маленькой, - мы с папенькой в лодке катались. Мельница у нас, в Черемушках, под самой усадьбой; речка плотиной запружена; вода тихая, гладкая, как зеркало. Долго катались, до вечера; уж и солнце зашло и ночь скоро. А вода еще тише, будто и нет ее вовсе, один только воздух, - по воздуху плаваем. Облака на небе большие, круглые, белые, и сквозь них - звезды. И внизу, под нами, тоже облака и звезды. Будто два неба - одно вверху, другое внизу, а мы - посередине. Страшно и хорошо. Так хорошо, - вот как сейчас с вами... Ведь это - т о с а м о е? Ну, скажи, скажи, что не то!

- То, Маринька, то!

И оба замолчали: слов больше не было - кончились, как узкая тропинка над пропастью. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча. Улыбки сближались, сближались - и, наконец, слились в поцелуй.

Когда он опомнился, она уже стояла у окна и что-то говорила ему; он долго не мог понять что. Наконец, понял.

- Помнишь, накануне Четырнадцатого, ты говорил, что и за меня идешь на смерть? Почему и за меня? Я тебя тогда спросила, а ты не сказал.

- Потому что за Россию. А ведь и ты тоже... Маринька, знаешь, кто ты?

- Ну, кто?

Он ничего не ответил и взглянул на нее: вся белая, в белом свете луны, на голубизне сапфировой лунно-морозных цветов, она - не она, близкая и далекая, земная и небесная.

- Ну, кто же я? - взглянула на него украдкою и тотчас снова потупилась: жутко стало, как будто он смотрел не на нее, а сквозь нее на другую.

Что-то пронзило сердце его, как молния. Он опустился на колени.

- Родная! Родная! Родная! - повторял, как будто в одном этом слове было все, что он чувствовал, и целовал ее ноги.

Как в последнем пределе земля и небо - одно, так Софья с Маринькой; обе вместе - земная и небесная; и в обеих - одна, Единственная.

Он уже ничего не боялся - ни цепи, ни пытки, ни плахи. Знал, что Она оградит от всего - Стена Нерушимая, Заступница Вечная, Радость Нечаянная*. И если пошлют в ад, Она сойдет к нему и туда, во тьму кромешную, - и тьма будет светом. И Семя Жены сотрет главу Змия.

---

* Богоматерь.

Седьмого января, в первый день, когда можно было венчаться после Рождественского поста, Голицын повенчался на Мариньке, а в следующую ночь был арестован.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

"Хорошо, все хорошо!" - думал Голицын, глядя на зеленую, закоптелую и запачканную стену. Длинная, узкая, темная, без окон, вроде чулана, с нависшими сводами караульня гауптвахты, в нижнем этаже Зимнего дворца, освещалась через стеклянную дверь из коридора. У двери стоял часовой и заглядывал; все проходившие - тоже. Чтобы избавиться от этих взглядов, Голицын сел спиной к двери и уставился глазами в стену.

Вторую ночь проводил на жестком, шатком соломенном стуле, кутаясь в шинель от холода. Ноги затекали, спина болела. Хотел лечь на старый кожаный диван, но клопы одолели. Пробовал лечь на пол, подостлав шинель; но из-под двери и от поленницы неоттаявших дров, сваленных тут же в углу, у нетопленной печки, несло таким холодом, что боялся простуды: все еще был не очень здоров. Опять пересел на стул, покорился: "Хорошо и так, все хорошо!"

Вспомнил, как давеча, когда вели на гауптвахту и он замедлил шаг на темной лестнице, один из конвойных ударил его по плечу ружейным прикладом; он оглянулся; солдат, молодой парень с курносым, безусым и безбровым лицом, тоже посмотрел на него подслеповатыми глазками, исподлобья, угрюмо, но незлобиво: "Ну, ну, чего зеваешь, сукин сын, пошевеливайся!" "И это хорошо", - вспомнив, подумал Голицын.

А когда ввели в караульню, дежурный фельдфебель, пропахший насквозь тютюном и водкой, начал обыскивать. Жирные пальцы, с рыжими волосами и веснушками, ползали по телу, шарили, щупали. Отнял медальон с портретом Софьи. Руки связал веревкой за спину так туго, что веревка врезалась в тело. Поутру кто-то из караульных офицеров сжалился, велел развязать. Но руки и теперь еще болели. Голицын поднял их и посмотрел на следы от веревок - запястья красные. "И это хорошо!" - подумал.

"А ведь Маринька уже не Маринька, а княгиня Марья Павловна Голицына", - вдруг вспомнил и удивился радостно. Все еще не понимал, как это сделалось. "Завтра венчаемся", - объявила ему накануне. Он возражал, удивлялся, зачем так скоро, просил подождать. Но ничего и слышать не хотела; решила: завтра - и кончено. Все уже давно обдумала, устроила вместе с Фомой Фомичом, тайком от маменьки и от самого жениха. Никто ничего в доме не знал, даже из слуг, кроме старого дворецкого, Анания Васильича. Бабушка лежала больная, а Нина Львовна уехала с утра на целый день в гости к старой подруге по Смольному на другой конец города. Старенький священник Инвалидного дома, что у Семеновских казарм, полковой однокашник Фомы Фомича, отец Стахий, "мастер крутить свадьбы на фельдъегерских", повенчал их в домовой церкви, тут же, в бабушкином доме.

Голицын покорялся, но ничего не понимал. Во время венчания "столбом стоял", как пошутил Фома Фомич. В крошечной церковке, вроде часовни, было душно от свечей и ладана; голова кружилась; боялся, как бы не сделалось дурно.

Устал, лег рано. Ночью, когда уже спал, Маринька потихоньку, на цыпочках, вошла к нему в комнату, присела на край постели, наклонилась, обняла и разбудила поцелуем; никогда еще не целовала так; он чувствовал, что в этом поцелуе отдала ему душу. "Теперь хорошо, все хорошо! Не понимаешь?" - шепнула на ухо и, прежде чем он успел опомниться, освободилась из его объятий, убежала в спальню к маменьке. А он опять заснул крепко, сладко и глупо; засыпая, так и подумал, что спать в такую ночь - глупо.

А на следующую ночь его арестовали. Когда обер-полицеймейстер Шульгин с фельдъегерем и четырьмя конвойными вывели арестанта в сени, Маринька выбежала к нему, полуодетая; едва успела обнять его, перекрестить, шепнуть на ухо: "За меня не бойся, думай только о себе. Храни тебя Матерь Пречистая!" А когда он уже сходил по лестнице, нагнулась через перила, посмотрела на него в последний раз: ни страха, ни скорби в глазах ее не было, а только сила любви бесконечная. На кого похожи были эти глаза, он все хотел вспомнить и не мог.

Надоело глядеть на стену, облокотился на стол, закрыл глаза и начал дремать. Как тогда, во время болезни, шептал умиленно-восторженно: "Маринька... маменька!" - и казалось, что она берет его на руки, качает, баюкает.

Проснулся от стука ружей и звяканья шпор. Думал, что много проспал, а всего минут десять. Был девятый час вечера.

- Арестанта к государю императору! - сказал чей-то голос.

Окружили конвойные и повели по бесконечным коридорам и лестницам. Вошли в ряд зал, увешанных картинами. Он узнал Эрмитаж. В большой зале горело такое множество свечей, что он подумал: "Бал тут, что ли?" Потом сообразил, что свет нужен для того, чтобы следить за малейшими изменениями лиц во время допроса арестованных. Внизу светло, а вверху - зияющее сквозь стеклянный потолок ночное небо бездонно черное.

В углу, у стены, под "Святым семейством" Доминикино, за раскрытым ломберным столиком с бумагами, чернильницей и перьями, сидел молодой человек в мундире лейб-гвардии гусарского полка, узком, красном, с густыми золотыми нашивками, генерал-адъютант Левашев.

Конвойные подвели Голицына к столику; двое стали у дверей, с саблями наголо.

- Прошу садиться, князь, - сказал Левашев, привстал, поклонился с любезностью - руки, однако, не подал - и указал на кресло. - Кажется, у князя Александра Николаевича, дядюшки вашего, встречались, - заговорил по-французски, с таким видом, как будто они были не арестант и сыщик, а два гостя, которые в чужом доме встретились и болтали в ожидании хозяина.

- Служить изволили?

- Служил.

- В каком полку?

- В Преображенском.

- Давно в отставку вышли?

- Года два.

Голицын вглядывался в Левашева: лицо не злое, не доброе, а только равнодушное; глаза не глупые, не умные, а только чуть-чуть плутоватые. Светский, ловкий молодой человек, лихой гусар, должно быть, отличный танцор и наездник - "добрый малый", из тех, которые сами живут и другим жить не мешают.

Голицын поднял руки и показал ему следы от веревок. Левашев поморщился:

- Опять перестарались. Сколько раз им сказывал!

- У вас тут всем руки связывают?

- Почти всем. Такой уж порядок. Что прикажете - караульный дом.

- Съезжая?

- Вроде того.

- Вольно же вам из дворца делать съезжую!

Левашев ничего не ответил.

- Ну-с, приступим, - начал и любезное выражение лица переменил на деловое, не строгое, а только скучающее и немного брезгливое, как будто понимал, что работа не совсем чистая. Взял лист бумаги, очинил перо и обмакнул в чернильницу.

- Государю императору Николаю Павловичу присягать изволили?

- Нет, не присягал.

- Почему же-с?

- Потому что присяга происходит с такими обрядами и с такою клятвою, что я считал ее для себя неприличною.

- И никому присягать не будете?

- Никому.

- Как же без присяги-с? Ведь в Бога веруете?

- Верую.

- А присяга от Бога?

- Нет, не от Бога.

- Ну, спорить не будем. Так и записать прикажете?

- Так и запишите.

Лицо Левашева сделалось еще равнодушнее.

- Вы очень себе вредите, князь, очень-с. Подумайте.

- Я всю жизнь, ваше превосходительство, только и думал об этом.

- И вот что придумали?

- Да, вот что.

Левашев усмехнулся, пожал плечами, привычно ловким движением закрутил свой тонкий ус, записал и продолжал с видом еще более скучающим:

- Принадлежали с Тайному обществу?

- Принадлежал.

- Какие же вам известны действия оного?

- Никаких.

Левашев помолчал, посмотрел на кончик пера, снял соринку и поднял глаза на Голицына.

- Не думайте, князь, чтобы правительству ничего не было известно. Мы имеем точные сведения, что происшествие Четырнадцатого - только преждевременная вспышка и что вы должны были еще в прошлом году нанести удар покойному государю императору. Если угодно, я вам сообщу подробности намереваемого вами цареубийства. В начале мая месяца прошлого года, на квартире здешнего сочинителя, господина Рылеева, происходило собрание, на коем председатель Тульчинской управы Южного тайного общества подполковник

Пестель предлагал истребление всех членов царствующего дома. Об этом знать изволите?

- Нет, не знаю.

- И кто ответил Пестелю: "Согласен с вами до корня", тоже не знаете?

- Тоже не знаю.

- А может быть, припомните?

- Нет, не припомню.

- Плохая же память у вашего сиятельства, - опять усмехнулся Левашев и закрутил свой ус. - Ну, так я вам напомню: это ваши слова. А теперь не угодно ли назвать тех из ваших товарищей, кои были на этом собрании.

- Извините, ваше превосходительство, этого я никак не могу сделать.

- Отчего же-с?

- Оттого, что, вступая в Общество, я дал клятву никого не называть.

Левашев отложил перо и откинулся на спинку кресла.

- Послушайте, Голицын. Чем долее вы будете запираться, тем хуже для вас. Вы хотите спасти ваших товарищей, но никого не спасете, а себя погубите. Говорю вам: правительству все уже известно, и признание ваше нужно для вас же самих: чистосердечное раскаяние - единственный путь к милосердию государя, - повторял он, видимо, слова заученные. - Ну, что ж вы молчите? Ничего говорить не хотите?

- Не хочу.

- Так вас заставят говорить, милостивый государь, - чуть-чуть возвысил голос Левашев, упирая на каждое слово раздельно-медленно. - Я приступаю к обязанности судии и скажу вам, что в России есть пытка.

- Очень благодарен вашему превосходительству за сию доверенность, но должен сказать, что теперь еще более чувствую своею обязанностью никого не называть, - сказал Голицын, посмотрел ему прямо в глаза и подумал: "Добрый малый, а если начальство прикажет, будет пятки поджаривать".

- Pour cette fois je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre egal*, - начал Левашев с прежнею любезностью. - Не понимаю, князь, какая охота быть мучеником за людей, которые вас предали.

---

* На этот раз я говорю с вами не как судья, а как равный вам дворянин (фр.).

- Не понимаете, ваше превосходительство, какая охота не быть подлецом?

Левашева слегка передернуло, но "добрый малый" не обиделся: рассудил, что арестанту не до любезностей.

- Будьте добры, князь, прочесть и подписать, - сказал и подал ему записку.

Голицын взглянул, увидел, что генерал пишет по-русски, как сапожник, и подписал, не читая. Левашев встал, расправил члены, - узкий мундир еще уже обтянул, облил тело, - не корпеть бы, казалось, такому молодцу над бумагами, а танцевать мазурку с прекрасными дамами или скакать на коне в бранном пламени; дернул за шнурок звонка; когда вбежал фельдъегерь, указал Голицыну на стоявшие рядом со столиком зеленые шелковые ширмы:

- Потрудитесь обождать.

И вышел с фельдъегерем. Голицын сел за ширмы.

На другом конце залы открылась дверь, и кто-то вошел; из-за ширм не видно было кто, но, судя по голосам, двое. На ходу разговаривая, подошли к столу и остановились. Им тоже не видно было Голицына. Он прислушался.

- Я делал открытия, не соображаясь с рассудком, по движению сердца благодарного к его величеству и, может быть, то сказал, чего другие не открыли бы...

Далее Голицын не расслышал, а потом опять:

- Легко погибнуть самому, ваше превосходительство, но быть причиной гибели других - мука нестерпимая...

Голицын узнавал и не узнавал, чей это голос. Привстал, подошел на цыпочках к ширмам и выглянул. Те двое стояли к нему спиной, и он не видел лиц. Но одного узнал: Бенкендорф. А другого все еще узнавал и не узнавал - глазам своим не верил.

- Будьте покойны, мой друг: всех помилует, - заговорил Бенкендорф и, взяв собеседника под руку, повел его мимо ширм. Голицын увидел лицом к лицу того неузнанного-неузнаваемого: это был Рылеев. Они посмотрели друг другу в глаза.

Голицын упал в кресло. Свет потух в глазах его, как будто сквозь стеклянный потолок зияющее, бездонно черное небо на него обрушилось.

- Пожалуйте, - сказал Левашев, заглянув за ширмы.

Голицын очнулся, встал и вышел. С другого конца залы подходил государь. Неподвижное, бледное, как из мрамора высеченное лицо приближалось к нему, и вдруг вспомнил он, как тогда, Четырнадцатого, под картечью, на Сенатской площади бежал с пистолетом в руках, чтобы убить Зверя.

Подойдя к столу, государь остановился в двух шагах от арестанта,

смерил его глазами с головы до ног и указал пальцем на записку Левашева, которую держал в руке.

- Это что? Чего вы тут нагородили, а? Вас о деле спрашивают, а вы вздор отвечаете: "Присяга не от Бога"? Знаете ли вы, сударь, наши законы? Знаете ли, что за это?.. - провел рукою по шее.

Голицын усмехнулся: что мог ему сделать этот человек после давешнего ужаса?

- Что вы смеетесь? - спросил государь и нахмурился.

- Удивляюсь, ваше величество: уж если грозить, то надобно сначала смертью, а потом - пыткой: ведь пытка страшнее, чем смерть.

- Кто вам грозил пыткою?

- Его превосходительство.

Николай взглянул на Левашева, Левашев - на Николая, а Голицын - на обоих.

- Вот какой храбрый! - начал опять государь. - Здесь ничего не боитесь, а там? Что вас ожидает на том свете? Проклятие вечное... И над этим смеетесь? Да вы не христианин, что ли?

- Христианин, ваше величество, оттого и восстал на самодержавие.

- Самодержавие от Бога. Царь - Помазанник Божий. На Бога восстали?

- Нет, на Зверя.

- Какой зверь? Что вы бредите?

- Зверь - человек, который себя Богом делает, - произнес Голицын тихо и торжественно, как слова заклинания, и побледнел; дух у него захватило от радости: казалось, что убивает Зверя.

- Ах, несчастный! - покачал государь головой с сокрушением. - Ум за разум зашел! Вот до чего доводят сии адские мысли, плоды самолюбия и гордости. Мне вас жаль. Зачем вы себя губите? Разве не видите, что я вам добра желаю? - заговорил, немного помолчав, уже другим, ласковым, голосом. - Что же вы мне ничего не отвечаете? - взял его за руку, и продолжал еще ласковей: - Вы знаете, я все могу - могу вас простить...

Голицын вспомнил Рылеева и вздрогнул.

- В том-то и беда, ваше величество, что вы все можете, - Бог на небе, а вы на земле. Это и значит: человека Богом сделали...

Государь давно уже понял, что ничего не добьется от Голицына. Допрашивал нехотя, только для очистки совести. Не сердился: за месяц сыска довел себя до того, что во время допросов ни на кого и ни за что не сердился. Но надоело. Пора было кончать.

- Ну, ладно, будет вздор молоть, - оборвал с внезапною грубостью. - Извольте отвечать на вопросы как следует.

- Я уже сказал его превосходительству, что дал слово...

- Что вы мне с его превосходительством и вашим мерзким словом!

"Тот, как сапожник, пишет, а этот, как сапожник, ругается", - подумал Голицын.

- Так не хотите говорить? Не хотите? В последний раз спрашиваю, не хотите?

Голицын молчал. Лицо государя изменилось мгновенно: одна маска упала, другая наделась - грозная, гневная, бледная, как из мрамора высеченная: Аполлон Бельведерский, Пифона сражающий. Отступил на шаг, протянул руку и закричал:

- Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог!

В эту минуту вошел Бенкендорф. Государь обернулся к нему, и опять одна маска упала, другая наделась: "Бедный малый, бедный Никс, votre каторжный du Palais d'Hiver".

Бенкендорф подошел к Николаю и что-то сказал ему на ухо. Не глядя на Голицына, как будто сразу забыв о нем, государь вышел.

- Потрудитесь обождать, - опять указал Левашев Голицыну на кресло за ширмами и тоже вышел с Бенкендорфом.

Голицын сел на прежнее место. Утих, успокоился. "Ну, вот и хорошо, опять все хорошо, - подумал, как давеча. - Охота быть мучеником за тех, кто вас предал? Ну, конечно, охота!"

Эти два слова: "ну, конечно" прошептал с тою же детской улыбкой, как Маринька.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ширмы стояли у двери. За дверью слышались шаги и голоса. Другая дверь, та, в которую вышел государь, отворилась, кто-то из нее выбежал, и голос Левашева закричал:

- Да позовите фельдшера, кровь пустить!

"В России есть пытка", - вспомнилось Голицыну, и он прислушался к тому, что происходило за дверью. Звуки заглушала тяжелая занавесь. Он высунул голову из-за ширм. В зале никого не было, кроме двух часовых, стоявших у двери, на другом конце залы, как два истукана.

Раздвинув занавесь, Голицын увидел, что дверь за нею чуть-чуть

приотворена. Заглянул в щель - темно: дверь двойная. Открыл ее и вошел в темное пространство между дверями. Наткнулся на стул: должно быть, во время допросов тут кто-нибудь сидел и подслушивал; вторая дверь тоже чуть-чуть приотворена и с той стороны занавешена. Приотворил побольше, тихонько раздвинул вторую занавесь и выглянул.

Маленькая зала, увешанная картинами, большей частью копиями старинной итальянской живописи, школы Перуджино и Рафаэля, освещалась таким же множеством свечей, как большая. Прямо против него кто-то лежал на диване. В креслах, спиною к Голицыну, сидел Бенкендорф, заслоняя лежавшего; видны были только ноги, покрытые шалью, да угол белой подушки. Тут же сидело и стояло еще несколько человек: Левашев, дворцовый комендант Башуцкий, обер-полицеймейстер Шульгин и какой-то штатский в черном фраке, в парике и в очках, похожий лицом на еврея, - должно быть, лекарь. Потом вошел еще один штатский, толстенький, рыженький, в засаленном коричневом фраке, с медным цирюльничьим тазом, какие употреблялись для кровопусканий.

- Как вы себя чувствуете, мой друг? - спросил Бенкендорф.

- Хорошо, хорошо, удивительно, - ответил лежавший на диване, - я никогда себя так хорошо не чувствовал!

- Голова не болит?

- Нет, прошла. Все прошло. Дух бодр, ум свеж, душа спокойна. Сердце, как прежде, невинно и молодо. О, никогда, никогда я не был так счастлив! Еще там, в каземате, бывали такие минуты блаженства, что я с ума сходил, - все говорил, говорил, говорил, - глухим стенам рассказывал чувства мои: не люди, так камни услышат, камни возопиют! Кричал, пел, плясал, скакал, как зверь в клетке, как пьяный, как бешеный! Комендант Сукин - прекрасный человек, но какая фамилия, - если у него сын, то и назвать неприлично, - так вот этот Сукин, бедняжка, перепугался, думал, что я и впрямь взбесился, послал за лекарем, хотел связать. Ничего не понимал. Никто ничего не понимает. А ведь вот вы же понимаете, ваше превосходительство? Мне ужасно глаза ваши нравятся! Умные, добрые. Только один - добренький, а другой - чуть-чуть хитренький...

- Хэ-хэ, вот вы какой наблюдательный! - рассмеялся Бенкендорф.

- Не сердитесь? Ради Бога, не сердитесь... Я все не то... Но сначала не то, а потом то. Ужасно говорить хочется. Позвольте говорить, ваше превосходительство!

- Говорите, только не волнуйтесь, а то опять нехорошо будет.

- Нет, хорошо, теперь все хорошо! Я все скажу. Я прежде думал: надо беречь лица. А теперь думаю: от кого беречь? От ангела? Ведь государь - ангел, а не человек, сам теперь вижу. И вы тоже, - перед такими людьми что беречь лица? Кроме добра, ожидать нечего. Все узнаете. Все скажу. Наведу на корень. Дело закипит. Я теперь - с убеждением... Это мне приятно. Я уж постараюсь, ваше превосходительство! Вот увидите. Донесу систематически. Разберу по полкам. Ни одного не утаю. Даже таких назову, о которых никогда не узнали бы. Ну, а где же он? Отчего его нет? Я хочу ему самому...

- Сначала нам, а потом ему, - сказал Бенкендорф.

- Нет, ему, ему первому, ангелу! Я хочу к нему... Зачем вы меня не пускаете? Вы должны пустить. Я требую.

Он вдруг привстал на диване, как будто хотел вскочить и бежать. Голицын, увидев лицо его, как давеча лицо Рылеева, неузнанное, неузнаваемое, - это был князь Александр Иванович Одоевский, - отшатнулся, упал на стул, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Но ненадолго: снова любопытство потянуло жадное. Встал, опять раздвинул занавесь и выглянул.

Одоевский полулежал на диване, так что теперь лицо его было видно Голицыну. Оно казалось почти здоровым, может быть, потому что лихорадочный румянец рдел на щеках. Все тот же "милый Саша", "тихий мальчик"; все та же прелесть полудетская, полудевичья:

Как ландыш под серпом убийственным жнеца...

- До Четырнадцатого я был совершенно непорочен, - говорил он доверчиво, спокойно и весело, как будто с лучшими друзьями беседовал. - Воспитывался дома. Maman m'a donne une education exemplaire*. По самую кончину свою не спускала с меня глаз. Я ведь маменьку... Ну, да что говорить, - когда умерла, едва выжил. Поступил в полк. В двадцать лет - совсем еще дитя. Я от природы беспечен, ветрен и ленив. Никогда никакого не имел неудовольствия в жизни. Слишком счастлив. Жизнь моя цвела. Писал стихи, мечтал о златом веке Астреином*. Как все молодые люди, кричал о вольности на ветер, без всякого намерения. Рылеев - тоже. Вот и сошлись.

---

* Матушка дала мне образцовое воспитание (фр.).

* А с т р е я, дочь Зевса и Фемиды, - богиня справедливости. Время ее пребывания на земле - "золотой век".

- Рылеев принял вас в Тайное общество? - спросил Бенкендорф.

- Нет, не он. Не помню кто. Да и принятия никакого не было. Все только шалость, глупость, ребячество, испарение разгоряченного мозга Рылеева. Ибо что могут сделать тридцать - сорок человек ребят, мечтателей, романтиков, "лунатиков", как говорит Голицын?

- Какой Голицын? Князь Валерьян Михайлович? - спросил Левашев.

- Ну, да. А что?

- Не он ли ответил на предложение Пестеля истребить всех членов царствующего дома: "Согласен с вами до корня"?

- Может быть. Не помню.

- Постарайтесь вспомнить.

- А вам на что?

- Очень важно.

- Совсем неважно. Вздор! Ваше превосходительство, зачем он так спрашивает? Не велите ему. Мы ведь тут не шпионы, не сыщики.

Бенкендорф мигнул Левашеву.

- Не сердитесь, мой друг, он больше не будет. Вы хотели рассказать нам, как провели день Четырнадцатого.

- Да, хотел. Только все как во сне - сна не расскажешь. Ночь простоял во дворце, на карауле; глаз не смыкал, устал, как собака. Кровь бросилась в голову - это у меня часто бывает от бессонницы. Утром поехал в кофейню Лореда, купил конфет, лимонных, кисленьких. Очень люблю. Потом домой, спать. А потом вдруг - на площади. Затащили в каре. Двадцать раз уходил; обнимали, целовали - остался, сам не знаю зачем...

- Вы держали пистолет в руке? - спросил Бенкендорф.

- Пистолет? Может быть. Кто-нибудь сунул...

Левашев начал что-то записывать карандашом на бумажке.

- Ваше превосходительство, зачем он записывает? Пистолет - вздор. Да и не помню. Может быть, не было.

- А как стреляли в графа Милорадовича, видели?

- Видел.

- Кто стрелял?

- Этого не видел.

- Жаль. Могли бы спасти невинного.

- Эх, господа, вы все не то... Непременно нужно?

- Непременно.

- Ну, дайте на ушко...

Бенкендорф наклонился, и Одоевский шепнул ему на ухо.

- А потом, когда расстреляли, - заговорил опять громко, все так же спокойно и весело, - пошел через Неву на Васильевский, а оттуда на Мойку, к сочинителю Жандру. Старуха Жандриха - очень любит меня - увидела, завыла: "Бегите!" Кинула денег. Я пуще потерял голову. Пошел куда глаза глядят. Хотел скрыться под землю, под лед. Люди заглядывали в глаза, как вороны - в глаза умирающего. Ночевал на канаве под мостом. В прорубь попал, тонул, замерзал. Смерть уже чувствовал. Вылез умалишенный. Утром опять пошел. Два дня ходил Бог знает где. В Катерингофе был, в Красном. Тулуп купил, шапку; мужиком оделся. Вернулся в Петербург. К дяде Васе Ланскому, министру. Обещал спрятать, а сам поехал донести в полицию. Ну, думаю, плохо. Вот к вам и явился...

- Вы не сами явились, вас привезли, - поправил Башуцкий.

- Привезли? Не помню. Сам хотел. В России не уйдешь. Я на себе испытал. Русский человек храбр, как шпага, тверд, как кремень, пока в душе Бог и царь, а без них - тряпка, подлец. Вот как я сейчас. Ведь я подлец, ваше превосходительство, а? - вдруг обернулся к Бенкендорфу и посмотрел ему прямо в лицо.

- Почему же? Напротив, благородный человек: заблуждались и раскаялись.

- Неправда! По глазам вижу, что неправда. Говорите: "Благородный", а думаете: "Подлец". Ну, да ведь и вы, господа, - медленно обвел всех глазами, и лицо его побледнело, исказилось, - подлеца слушаете! Хороши тоже! Я с ума схожу, а вы слушаете, пользуетесь! Господи! Господи! Что вы со мной делаете! Палачи! Палачи! Мучители! Будьте вы прокляты!

Голицын опять отшатнулся, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Но ненадолго: снова любопытство потянуло жадное: раздвинул занавесь и выглянул, прислушался.

Одоевский лежал молча, не двигаясь, с закрытыми глазами, как в беспамятстве. Потом открыл их и опять заговорил быстро-быстро и невнятно, как в бреду:

- Ну, что ж, пусть! Все подлецы и все благородные. Невинные, несчастные. Звери и ангелы вместе. Падшие ангелы, восстающие. Надо только понять. "Премудрая благость над миром царствует. Es herrscht eine allweise Gute uber die Welt"*. Это по-немецки, у Шеллинга, а по-русски: "Пречистой Матери Покров..." А вот и Она, видите?..

---

* Над миром царит всемудрое добро (нем.).

Прямо против него, на стене, висела копия Сикстинской мадонны Рафаэля. Голицын взглянул на нее и вдруг вспомнил, на кого похожи были глаза Мариньки, когда, арестованный, сходил он по лестнице и, нагнувшись через перила, она посмотрела на него в последний раз.

- Какие глаза! - продолжал Одоевский, глядя на мадонну с умилением восторженным. - Как это в русских песнях поется: "Мать сыра-земля"? Россия - Мать. Всех Скорбящих Матерь. Но об этом нельзя... Ваше превосходительство, уж вы на меня не сердитесь. Я все скажу. Все узнаете. Вот только отдохну - и опять. Каховский стрелял; Оболенский штыком лошадь колол. А Кюхельбекер в великого князя целился, да пистолет не выстрелил. Ну, ничего, ничего, запишите, а то забудете. Ну, что еще?.. А, впрочем, вздор! Опять не то... А вот когда замерзал на канаве, под мостом, - то самое было, то самое: чашечки золотые, зеленые; детьми молоко из них пили в деревне, летом, у маменьки на антресолях с полукруглыми окнами прямо в рощу березовую; золотые, зеленые - как солнце сквозь лист весенний, березовый. И так хорошо! Вот и сейчас... Только не сердитесь, милые, милые, хорошие! Не надо сердиться, и все хорошо будет. Простим друг друга, возлюбим друг друга! Возьмемтесь за руки и будем петь, плясать, как дети, как ангелы Божьи в раю, в златом веке Астреином...

Говорил все тише, тише и, наконец, совсем затих, закрыл глаза, как будто заснул или впал в забытье. Улыбался во сне, и слезы по лицу струились, тихие. Бенкендорф поцеловал его в голову, может быть, с непритворною нежностью.

А на другом конце залы, такая же тяжелая, штофная занавесь, как та, за которой Голицын подслушивал, вдруг заколебалась, раздвинулась - и вошел государь.

Все окружили его, заговорили вполголоса, чтобы не разбудить больного. Только отдельные слова долетали до Голицына:

- Как бы горячка не сделалась...

- Кровь пустить, лед на голову...

- Показанья важные...

- Да ведь бред, слова умалишенного, - не оговорил бы кого понапрасну...

- Ничего, разберем...

Голицын не помнил, как вернулся на прежнее место в большой зале, за ширмами. Долго сидел в оцепенении бесчувственном.

Вдруг увидел Левашева. Сидя за ломберным столиком, он разбирал бумаги. Голицын вскочил и бросился к нему так внезапно, что Левашев вздрогнул, обернулся и тоже вскочил.

- Что такое? Что с вами, Голицын?

- Ведите меня к государю!

- Государь занят. Если что сказать имеете, можете мне.

- Нет, к государю! Сейчас же, сейчас же, немедленно.

- Да что вы, сударь, кричите? С ума вы сошли?

- С ума сошел! С ума сошел! Одного уже свели с ума, а вот и другой! В России есть пытка! Одного запытали - ну, так и другого! Вместе обоих! Жилы выматывайте, пятки поджаривайте! О, подлецы, подлецы, палачи, истязатели! - закричал Голицын в бешенстве, затопал ногами и поднял кулаки.

Левашев схватил его за руки, но он вырвался, оттолкнул его и побежал, сам не зная куда и зачем. Мелькала мысль: убить Зверя, а если не убить, то обругать, избить, плюнуть в лицо.

- Держи! - крикнул Левашев двум часовым, все еще стоявшим у двери на другом конце залы как два истукана. Те встрепенулись, ожили, поняли, бросились ловить Голицына.

- Микулин, Микулин! - кричал Левашев с таким испуганным видом, как будто трех человек было мало, чтобы справиться с одним.

- Здесь, ваше превосходительство! - вырос как из-под земли дежурный по караулу полковник Микулин, с пятью молодцами ражими, кавалергардами в медных касках и панцирях: на одного безоружного - целое воинство. Где-то вдали промелькнуло лицо государя, но тотчас же спряталось.

Окружили, стеснили, поймали. Кто-то, обняв Голицына сзади, сдавил его так, что он почти задохся; кто-то схватил за горло; кто-то бил по лицу. Но он все еще не сдавался, боролся отчаянно, с той удесятеренною силою, которую дает бешенство.

Вдруг откуда-то издали послышался крик. Голицын узнал голос Одоевского. Ни тогда, ни потом не мог понять, что это было: очнулся ли больной от беспамятства и, услышав шум свалки, перепугался; или делали ему кровопускание, а он вообразил, что пытают, режут, - но крик был ужасный. И Голицын ответил на него таким же криком. Если бы кто-нибудь со стороны услышал, то подумал бы, что здесь и вправду застенок или дом сумасшедших.

- Веревок! Веревок! Вяжите! Да чего он орет, каналья! Заткните ему глотку!

Голицын почувствовал, что ему затыкают рот платком, вяжут руки, ноги, подымают, несут.

Покорился, затих, закрыл глаза. "Ну, теперь ладно. Хорошо, все хорошо", - сказал чей-то голос.

Медленно проплыло белое, в красном тумане, лицо Зверя, - и он лишился чувств.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

"Пытать будут. Помоги, Господи, вынести!" - было первой мыслью Голицына, когда он очнулся на свежем воздухе: обер-полицеймейстер Шульгин, чтобы привести его в чувство, поднял окно кареты во время переезда из дворца в крепость.

"Какие пытки выносили христианские мученики... Да ведь то мученики, а я... Ну, ничего, может, и я..." - ободрял себя Голицын, но бодрости не было, а был животный ужас.

Карета остановилась у комендантского дома в Петропавловской крепости. Шульгин высадил арестанта и сдал фельдъегерю. Вошли в небольшую комнату с голыми стенами, почти без мебели, только с двумя стульями и столиком, на котором горела сальная свечка. Фельдъегерь усадил Голицына на один на стульев и сам сел на другой. Так безмятежно зевнул, крестясь и закрывая рот ладонью, что Голицын вдруг начал надеяться, что пытки не будет.

"Нет, будет. Вот они! Идут! Помоги, Господи!" - подумал, прислушиваясь с тем отвратительным сосаньем под ложечкой, от которого переворачиваются внутренности, к зловещему лязгу железа и многоногому топоту в соседней комнате.

Вошел седой, подстриженный по-солдатски в скобу, старик на деревянной ноге, генерал Сукин, комендант Петропавловской крепости; за ним - человек низенький, толстенький, с провалившимся носом, плац-майор Подушкин; и еще несколько плац-адъютантов, ефрейторов и нижних чинов. Сукин держал в руке железные прутья с кольцами. "Орудия пытки", - подумал Голицын и зажмурил глаза, чтобы не видеть. "Помоги, Господи!" - твердил почти в беспамятстве.

Проворно постукивая деревяшкой по полу, старик подошел к столу, поднес к свече лист почтовой бумаги и объявил:

- Его величество, государь император повелевает заковать тебя в железа. - "Тебя" произнес с ударением неестественным.

Голицын слушал, не понимая. Несколько человек бросилось на него и стало надевать кандалы на руки, на ноги и замыкать ключами.

Он все еще не понимал. Но вдруг понял, закусил губы, затаил дыхание, чтобы не расплакаться от радости, такой же бессмысленной, животной, как давешний ужас. Смотрел в лицо коменданта и думал: "Какой превосходный человек!" И лицо безносого плац-майора казалось ему прелестным; и серые лица солдат такими добрыми, что он готов был расцеловать каждого. Заметил невиданный, оранжевый, воротник на плац-адъютантском мундире. "Должно быть, переменили, по случаю нового царствования", - подумал все с той же упоительно-бессмысленной радостью. Немного стыдно было, что так перетрусил, но и стыд тонул в радости.

- Егор Михайлович, отведите в Алексеевский, - сказал комендант Подушкину. Тот связал концы носового платка и надел на голову Голицыну.

Он встал, покачнулся и едва не упал: не умел ходить в кандалах. Подхватили под руки. Выйдя из дому, усадили в сани. Подушкин сел рядом и обнял его за талию. Сани делали частые повороты, должно быть, а узеньких проулках, между крепостными бастионами. Выглянув одним глазом из-под съехавшей повязки, Голицын увидел подъемный мост через ров и в толстой каменной стене ворота.

- Куда вы меня везете? В Алексеевский равелин, что ли? - спросил Подушкина.

- Не извольте беспокоиться, квартирка будет отличная, - утешил тот и поправил на глазах его платок.

Голицын вспомнил то, что слышал о равелине: в него сажали только "забытых" и никто никогда из него не выходил. Но по сравнению с пыткою вечное заточение казалось ему блаженством.

Сани остановились. Арестанта опять подхватили под руки, помогли вылезть и взвели на ступени крыльца. Заскрипели на ржавых петлях двери и захлопнулись с тяжелым гулом. "Оставьте всякую надежду вы, которые входите"*, - вспомнилось Голицыну.

---

* Надпись над вратами ада в "Божественной комедии" Данте.

С глаз его сняли платок и повели по длинному коридору с рядом дверей, тускло освещенному сальными плошками. Впереди шел плац-майор и, останавливаясь у каждой двери, спрашивал: "Занят?" Отвечали: "Занят". Наконец, ответили: "Пуст".

- Пожалуйте-с, - любезно пригласил Подушкин, и Голицын вошел в

каменную щель, узкую, длинную, напоминавшую гроб. Сторож засветил на ставце ночник - шкалик зеленого стекла с поплавком в масле. Голицын увидел нависший свод, окно с толстой железной решеткой в стенной глубокой впадине; два стула, столик, лазаретную койку, круглую железную печь в одном углу, а в другом зловонную кадку - "парашку".

Сняли кандалы, раздели, обыскали, ощупали даже под мышками; надели арестантскую куртку, штаны, засаленный халат и рваные туфли, не впору, большие.

Старик высокого роста, в длиннополом, зеленом, с красным воротом и красными обшлагами, мундире времен павловских, необыкновенно худой, высокий и бледный, похожий на мертвеца, вошел в камеру. Это был комендант Алексеевского равелина, швед Лилиен-Анкерн. Часовые считали его немного помешанным, называли "Кащеем Бессмертным" и уверяли, что ему лет под сто и что он провел в казематах лет пятьдесят, вечный узник среди узников.

Плавным шагом, сгорбившись, заложив руки за спину, с открытым ртом, где торчали два желтых зуба, со взором невидящим, он шел прямо на Голицына.

- Как ваше здоровье? - спросил еще издали; не дожидаясь ответа, опустился на колени и привычно-ловким движением начал надевать снятые кандалы на ноги его. Надев, показал, как надо ходить, поддерживая за веревочку звенья, соединявшие ножные обручи. Голицын попробовал и опять едва не упал.

- Ничего, научитесь, - утешил плац-майор.

Обернув наручники замшевой тряпкой, комендант спросил:

- Так можете писать?

- Могу.

- Ну, вот и кончен туалет, - ухмыльнулся Подушкин с любезностью. А Лилиен-Анкерн, все еще стоя на коленях, поднял на арестанта свои столетние, мутной пленкой, как у спящих птиц, подернутые глаза и произнес благоговейно, как слова молитвы:

- Божья милость всех нас спасет!

"Так, должно быть, на том свете старые покойники приветствуют нового", - подумал Голицын.

Старик молча встал и тем же плавным шагом, сгорбившись, закинув руки за спину, вышел из камеры.

Сторожа помогли арестанту перейти со стула на койку.

- Почивайте с Богом, не горюйте: все пройдет. Номерок отменный, сухонький, тепленький, - сказал Подушкин.

Все вышли и заперли дверь. Ключ повернулся в замке; загремели задвижки, запоры, засовы; последний огромный болт проскрежетал, и наступила тишина.

Голицын чувствовал себя погребенным заживо, а все-таки радовался: миновала пытка.

Увидел на столике ломоть ржаного хлеба и кружку кваса. Давеча, во время обыска, попросил есть; плац-майор извинился, что поздно, на кухне все уже спят, и велел принести хлеба с квасом. Голицын съел и выпил все; давно уже так вкусно не ужинал.

Начал укладываться. Снял халат и с трудом поднял на койку отягченные цепями ноги; хотел уже растянуться на плоском, как блин, тюфяке, но взглянул на пестрядевую подушку без наволочки: на ней были жирные пятна. Понюхал, поморщился. Носовой платочек Маринькин, еще не развернутый, с вышитой красной меткой М.Т., лежал на столике. Должно быть, прощаясь, успела-таки сунуть ему в карман, а при обыске забыли или нарочно оставили, сжалившись.

Разложил его так, чтобы не касаться щекой подушки. От платочка пахло Маринькой. Улыбнулся - почему-то вспомнил, как в ту первую и последнюю брачную ночь, когда она разбудила его поцелуем, - не сумел ее удержать, - "глупо" заснул.

Где-то близко, как будто над самым ухом его, заиграли, запели заунывную песню куранты, как медноголосые ангелы. "Божья милость всех нас спасет", - послышалось ему приветствие мертвых мертвому. И, продолжая улыбаться, он блаженно заснул, с последней мыслью: "В пасти Зверя - как у Христа за пазухой".

Вчерашние звуки, только в обратном порядке - сначала скрежещущий болт, потом засовы, запоры, задвижки и, наконец, щелкающий ключ в замке - разбудили его поутру. Вошел Лилиен-Анкерн, спросил: "Как ваше здоровье?" - и, не дожидаясь ответа, исчез.

Фейерверкер Шибаев, с молодым, веселым лицом, принес жидкого чаю в огромном оловянном чайнике и два куска сахару. Сахар держал из учтивости не на голой ладони, а в складке мундирной полы; поставив и выложив все на столик, поклонился вежливо.

- Который час? - спросил Голицын.

Шибаев улыбнулся молча и с вежливым поклоном вышел.

Инвалидный солдатик-замухрышка вынес парашку и начал подметать веником пол.

- Который час? - опять спросил Голицын.

Солдатик молчал.

- Какая на дворе погода?

- Не могу знать.

От холода Голицын кутался в одеяло и грелся чаем. Оглядывал "сухенький" номер: на облупленной штукатурке стен голубая черта свежей краски обозначала уровень воды во время последнего наводнения и темнели пятна; со свода и с печной трубы едва не капало, воздух пропитан был душною, точно подземною, сыростью. А когда затопили печь из коридора, железная труба, почти над самой головой арестанта, накалилась, потрескивая. Голове стало жарко, а ногам по-прежнему - холодно.

Стены, продолжая низкий свод, округлялись до самого пола, так что можно было стоять во весь рост только посередине камеры, а по бокам надо было сгибаться. В затканном паутиною своде кишели пауки, тараканы, стоножки и еще какие-то невиданные гады, которые высовывались из щелок только наполовину. "Лучше не разглядывать", - подумал Голицын и, опустив глаза, увидел, как что-то покатилось по полу: это была исполинская рыжая водяная крыса.

Окно было густо замазано мелом, так что в камере даже в солнечные дни были вечные сумерки. В дверях прорублено оконце - "глазок", с железной решеткой изнутри и темно-зеленой занавеской снаружи. Часовой, шагавший неслышно, в валенках, по коридору, устланному войлочными матами, иногда приподнимал занавеску и заглядывал в камеру. Арестанту нельзя было пошевелиться, кашлянуть, чтобы не появился наблюдающий глаз.

- Кто здесь? - спросил знакомый голос, и Голицын увидел в оконце лихо закрученный ус Левашева.

- Михайлов, - ответил голос Подушкина.

"Почему Михайлов? Ах, да, Валериан, сын Михайлов", - сообразил Голицын.

- Celui-ci a les fers aux bras et aux pieds*, - сообщил кому-то Левашев, как будто показывал редкого зверя. И Голицыну почудилось, что в "глазке" промелькнуло лицо великого князя Михаила Павловича.

____

* У этого кандалы на руках и ногах (фр.).

На стенах камеры были рисунки и надписи, большею частью полустертые, - должно быть, тюремщикам велено было соскабливать, - замогильная летопись прежних узников. Уцелели немногие.

Под женской головкой стихи:

Ты на земле была мой Бог,
Но ты уж в вечность перешла.
Молись же там...

Дальше стерто; остались только два слова: "тебя увидеть".

Под мужским портретом: "Брат, я решился на самоубийство". Под женским: "Прощай, maman, навеки". И рядом - слова Господни: "В темнице бых, и посетисте Мя"*.

____

* Евангелие от Матфея. XXV, 36.

Открылась дверь, вошел священник в пышно шуршащей шелковой рясе, с наперсным крестом и орденом.

- Князя Валериана Михайловича Голицына честь имею видеть? - стоя на пороге, церемонно раскланялся. - Не обеспокою?

- Сделайте одолжение, батюшка.

"Ну, слава Богу, коли поп, значит, не пытка, а казнь", - подумал Голицын и вспомнил Великого Инквизитора в "Дон Карлосе" Шиллера. Хотел подняться навстречу гостю, но грузно опустился, гремя кандалами. Тот подскочил, поддержал.

- Не ушиблись? Полпуда весу в ожерельице, шутка сказать...

- Нет, ничего. Что ж вы стоите, садитесь, - пригласил Голицын.

Гость поклонился опять так же церемонно и сел на стул.

- Позвольте представиться, отец Петр Мысловский, Казанского собора протоиерей, здешних заключенных духовный отец и, смею сказать, - друг, чем и хвалюсь, ибо достойнейших людей дружбой и похвалиться не грех.

"Шпион, зубы заговаривает!" - подумал Голицын и вгляделся в него: рост огромный, сложенье богатырское; сановит, благообразен; великолепная рыжая борода с проседью: такие мужики бывают пятидесятилетние; и лицо мужицкое, грубоватое, но доброе и умное; маленькие, закрытые с боков нависшими веками, треугольные щелки глаз, с тем выражением двойственным, которое часто бывает у русских людей: простота и хитрость.

- Ну, а когда же казнь? - спросил Голицын, глядя на него в упор.

- Какая казнь? Чья?

- Моя. А какая, вам лучше знать: расстреляют, повесят или отрубят

голову?

- Что вы, князь, Бог с вами! - замахал на него руками Мысловский. - Вот вам крест, - хоть и не подобает, крестом иерея клянусь, - ни о каких казнях никто и не думает. Да будто вы не знаете, что смертная казнь отменена по законам Российской империи?

Голицын еще не верил, но так же как вчера, когда миновала пытка, сердце у него захолонуло от радости.

- Казни нет, а пытка есть? - продолжал глядеть на него в упор.

- В девятнадцатом веке, в христианском государстве, после златых дней Александровых, пытка! - покачал головой отец Петр. - Ах, господа, господа, какие у вас нехорошие мысли; извините-с, прямо скажу, недостойные, неблагородные! Вам же добра желают, а вы себя и других мучаете. Не хотите понять, с кем дело имеете. Да если бы только вы знали милость государя неизреченную...

- Вот что я вам скажу, батюшка, - перебил Голицын. - Помните раз навсегда: в государевых милостях я не нуждаюсь, лучше петля и плаха! Не трудитесь же, ничего вы от меня не добьетесь. Поняли?

- Понял-с. Как не понять! "Поп, ступай вон! Ты для меня хуже собаки!" Ведь и собаку так бы не выгнали...

Голос его задрожал, глазки замигали, губы задергались, и он закрыл лицо руками. "Здоровый мужик, а какой чувствительный!" - удивился Голицын.

- Вы меня не так поняли, отец Петр. Я не хотел вас обидеть...

- Эх, ваше сиятельство, где уж тут обиды считать! - отнял отец Петр руки от лица и вздохнул. - Иной человек сорвет сердце на ком ни попало, и легче станет, ну и на здоровье! Не дурак же я, понимаю: пришел поп к арестанту - от кого? От начальства - значит, негодяй, шпион. А ведь вы меня, сударь, в первый раз видеть изволите. Пятнадцать лет в казематах служу, в сем аде кромешном; бьюсь, как рыба об лед. А из-за чего, как полагаете? Из-за такой дряни, что ли? - указал на орден. - Да осыпь меня чинами, звездами - дня не остался бы на этой поганой должности, когда б не чаял добра, хоть малого: помочь, кому уже никто не поможет. Да если бы не я, поп недостойный, так тут за вас всех и заступиться бы некому... А по делу Четырнадцатого интерес имею особенный.

- Почему же особенный?

- А потому что сам из таковских, - прищурился отец Петр и зашептал ему на ухо: - Хоть и простой мужик, а, благодарение Богу, ум здравый имею и сердце неповрежденное. Так вот, на порядки-то здешние глядючи, мятежом распаляюсь неутолимым, терзаюсь, мучаюсь, - уйти бы от греха, а вот не могу. Кажется, давно бы привыкнуть пора, а как арестанта увижу, да еще вот в этих железных рукавчиках - так во мне все и закипит, разбушуется: создание Божие, наипаче к свободе рожденное, человека видеть в цепях - несносно сие, возмутительно!

"Не инквизитор из Шиллера, а сам Шиллер!" - все больше удивлялся Голицын.

- Отец Петр, я очень виноват перед вами, простите меня, - сказал и протянул ему руку.

Тот крепко сжал ее и вдруг покраснел, замигал, всхлипнул и бросился к нему на шею.

- Валерьян Михайлович, родной, дорогой, голубчик, только не гоните: авось на что-нибудь и я сгожусь, вот ужо сами увидите! - обнимал, целовал его с нежностью.

- А что, друг мой, у исповеди и святого причастия давно не бывали? - прибавил как будто некстати, но Голицыну показалось, что это и есть главное, зачем он пришел.

Освободившись из его объятий, он опять, как давеча, посмотрел на него в упор: те же маленькие, под нависшими веками, треугольные щелки глаз с выражением двойственным: простота и хитрость. Сколько ни вглядывался, не мог решить - очень хитер или очень прост.

- Давно, - ответил нехотя.

- А сейчас не желаете?

- Нет, не желаю.

"По русским законам духовник обязан доносить о злоумышлениях против высочайших особ, открываемых на исповеди", - вспомнилось Голицыну.

Отец Петр как будто хотел еще о чем-то спросить, но вдруг замолчал, потупился. Потом встал, заторопился.

- К вашему соседу, князю Оболенскому, тут сейчас, рядом, вот за этой стенкой. Кажется, приятели?

- Приятели.

- Поклон передать?

- Передайте.

Голицыну не понравилось, что отец Петр с такой легкостью сообщает ему то, что нельзя арестанту знать, как будто они уже вступили в заговор.

- Ах, чуть не забыл! - спохватился Мысловский, полез в карман и вынул старый кожаный футляр.

- Очки! - вскрикнул Голицын радостно. - Откуда у вас?

- От господина Фрындина.

- Да ведь отнимут. Одну пару уж отняли.

- Не отнимут: получил для вас разрешение.

Не понравилось и это Голицыну: чересчур с услугами торопится; слишком уверен, что он примет их, не имея чем заплатить.

- Господин Фрындин велел передать, что княгиня Марья Павловна здравствуют, на милость Божью уповают крепко и вас просят о том же... Писать сейчас нельзя - большие строгости; а потом через меня можно будет, - оглянувшись на дверь, зашептал ему на ухо: - Все устроится, ваше сиятельство: и в казематах люди живут. Только не унывайте, духом не падайте. Ну, храни вас Бог! - поднял руку, хотел благословить, но раздумал, еще раз обнял и вышел.

Голицын уже верил или почти верил, что пытки и казни не будет; радовался, но радость вчерашняя, безоблачно ясная, - "в пасти Зверя, как у Христа за пазухой", - помутилась, как будто осквернилась. Понял, что может быть что-то страшнее, чем пытка и смерть. Пусть отец Петр препростой и предобрый поп, а для него, Голицына, - опаснее всех шпионов и сыщиков.

Фейерверкер Шибаев принес обед: щи с кашей. Постное масло в каше так дурно пахло, что Голицын взял в рот и не мог проглотить, выплюнул. Ни ножей, ни вилок - только деревянная ложка. "Ничего острого, чтоб не зарезался", - догадался он.

После обеда плац-адъютант Трусов, молодой человек с красивым и наглым лицом, принес ему картуз табаку с щегольской, бисерной трубкой.

- Покурить не угодно ли?

- Благодарю вас. Я не курю.

- А разве это не ваше?

- Нет, не мое.

- Извините-с, - усмехнулся Трусов; от этой усмешки лицо его сделалось еще наглее; учтиво поклонился и вышел.

"Искушение трубкой, после искушения Телом и Кровью Господней", - подумал Голицын с отвращением.

Когда стемнело и зажгли ночник, тараканы по стенам закишели, зашуршали в тишине чуть слышным шорохом.

Верхнее звено в окне оставалось незабеленным; сквозь него чернела узкая полоска неба и мигала звездочка.

Голицын вспомнил Мариньку. Чтобы не расчувствоваться, начал думать о другом - как бы дать знак Оболенскому.

Присел на койку, постучал пальцем в стену, приложил ухо: не отвечает. Долго стучал без ответа. Стена была толстая: стук пальца не слышен. Изловчился и постучал тихонько железным болтом наручников и, услыхав ответный стук, обрадовался так, что, забыв часового, застучал, загремел.

Вошел ефрейтор Ничипоренко с красною, пьяною рожею.

- Ты что это, сукин сын? Аль мешка захотел?

- Какого мешка? - полюбопытствовал Голицын, не оскорбленный, а только удивленный руганью.

- А вот как посадят, увидишь, - проворчал тот и, уходя, прибавил так убедительно, что Голицын понял, что это не шутка: - А то и выпорют!

Он лег на койку, обернулся лицом к стене, делая вид, что спит, подождал и, когда все затихло, опять начал стучать пальцем в стену. Оболенский ответил.

Сперва стучали без счету, жадно, неутолимо, только бы слышать ответ. Душа к душе рвалась сквозь камень; сердце с сердцем вместе бились: "Ты?" - "Я". - "Ты?" - "Я". Иногда от радости кровь в ушах стучала так, что он уже не слышал ответа и боялся - не будет. Нет, был.

Потом начали считать удары, то ускорят, то замедлят: изобретали азбуку. Сбивались, путались, приходили в отчаяние, умолкали и опять начинали.

Стуча, Голицын уснул, и всю ночь снилось ему, что стучит.

Дни были так схожи, что он терял счет времени. Скатывал хлебные шарики и прилеплял к стене в ряд: сколько дней, столько шариков.

Скуки почти не испытывал: было множество маленьких дел. Учился ходить в кандалах. Кружился в тесноте, как зверь в клетке, держась за спинку стула, чтобы не упасть.

Единственный Маринькин платок все еще служил ему наволочкой. Жалел его. Учился сморкаться в пальцы; сначала было противно, а потом привык. Заметил, что поутру, когда плевал и сморкался, в носу и во рту - черно от копоти. Лампада коптила, потому что светильня была слишком толстая. Вынул ее и разделил на волокна; копоть прекратилась, воздух очистился.

Спал не раздеваясь: еще не умел в кандалах снимать платье. Белье загрязнилось, блохи заели. Можно было попросить свежего - из дому через Мысловского, но не хотел одолжаться. Долго терпел; наконец, возмутился, потребовал белья у Подушкина. Принесли плохо простиранную, непросохшую пару солдатских портков и рубаху из жесткой дерюги. Надел с наслаждением.

Однажды надымила печь. Открыли дверь в коридор. Странное чувство охватило Голицына: дверь открыта, а выйти нельзя: пустота непроницаема.

Сначала было странно, а потом - тяжко, невыносимо. Обрадовался, когда опять заперли дверь.

С Оболенским продолжали перестукиваться, но все еще не понимали друг друга, не могли найти азбуки. Стучали уже почти безнадежно. Пальцы распухли, ногти за болели. Погребенные заживо, бились головами о стены гроба. Наконец, поняли, что ничего не добьются, пока не обменяются писаной азбукой.

В оконной раме у Голицына был жестяной вентилятор. Он отломил от него перышко и отточил на кирпиче, выступавшем из-под стенной штукатурки. Этим подобием ножа отщепил от ножки кровати тонкую спицу. Снял копоти с лампадной светильни, развел водой в ямке на подоконнике, обмакнул спицу и написал на стене азбуку: буквы в клетках; у каждой - число ударов; краткие - обозначались точками; длинные - чертами. А на бумажке, которой заткнуто было дырявое дно футляра из-под очков, написал ту же азбуку, чтобы передать Оболенскому.

Каждое утро инвалидный солдатик-замухрышка приносил ему для умывания муравленую чашку и оловянную кружку с водою. Голицын сам умываться не мог: мешали наручники. Солдатик мылил ему руки, одну за другой, и лил на них воду.

Однажды принес ему осколок: зеркала. Он взглянул в него и не узнал себя, испугался: так похудел, осунулся, оброс бородою: не князь Голицын, а "Михайлов-каторжник".

С солдатиком не заговаривал, и тот упорно молчал, казался глухонемым. Но однажды вдруг сам заговорил:

- Ваше благородие, извольте перейти поближе к печке, там потеплее, - сказал шепотом, перенес табурет с чашкою в дальний угол у печки, куда глаз часового не достигал, и посмотрел на Голицына долго, жалостно.

- Тошно небось в каземате? Да что поделаешь, так, видно, Богу угодно. Терпеть надобно, ваше благородие. Господь любит терпение, а там, может, и помилует.

Голицын взглянул на него: лицо скуластое, скучное, серое, как сукно казенной шинели, а в маленьких, подслеповатых глазках - такая доброта, что он удивился, как раньше ее не заметил.

Достал из кармана бумажку с азбукой.

- Можешь передать Оболенскому?

- Пожалуй, можно.

Голицын едва успел ему сунуть бумажку, как вошел плац-майор Подушкин с ефрейтором Ничипоренкой. Осмотрели печь, - труба опять дымила, - и вышли: ничего не заметили.

- Едва не попались, - шепнул Голицын, бледный от страха.

- Помиловал Бог, - ответил солдатик просто.

- А досталось бы тебе?

- Да, за это нашего брата гоняют сквозь строй.

- Подведу я тебя, уж лучше не надо, отдай.

- Небось, ваше благородье, будьте покойны, доставлю в точности.

Голицын почувствовал, что нельзя благодарить.

- Как твое имя?

Солдатик опять посмотрел на него долго, жалостно.

- Я, ваше благородье, человек мертвый, - улыбнулся тихой, как будто в самом деле мертвой улыбкой.

Голицыну хотелось плакать. В первый раз в жизни, казалось, понял притчу о Самарянине Милостивом* - ответ на вопрос: кто мой ближний?

____

* В Евангелии от Луки (X. 30 - 37) Христос рассказывает притчу о том, как некий самарянин, пренебрегая национальной враждой, оказывает всяческую помощь иудею, израненному и ограбленному разбойниками. Таким образом, ближним иудею был он, а не иудейские священники, прошедшие мимо пострадавшего.

В ту же ночь он вел разговор с Оболенским.

- Здравствуй, - простучал Голицын.

- Здравствуй, - ответил Оболенский. - Здоров ли ты?

- Здоров, но в железах.

- Я плачу.

- Не плачь, все хорошо, - ответил Голицын и заплакал от счастья.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды, часу в одиннадцатом ночи, вошли в камеру Голицына комендант Сукин с плац-майором Подушкиным и плац-адъютантом Трусовым; сняли с него кандалы, а когда он переоделся из арестантского платья в свое, - опять надели.

- В жмурки поиграем, ваше сиятельство, - ухмыльнулся плац-майор, завязал ему глаза платком и надел черный миткалевый колпак на голову.

Подхватили под руки, вывели во двор, усадили в сани и повезли.

Проехав немного, остановились. Подушкин высадил арестанта и взвел на крыльцо.

- Не споткнитесь, ножку не зашибите, - хлопотал заботливо.

Провел через несколько комнат; в одной слышался скрип перьев: должно быть, это была канцелярия; усадил на стул, снял повязку.

- Обождите, - сказал и вышел.

Сквозь дырочку в зеленых шелковых ширмах Голицын видел, как шмыгали лакеи с блюдами, - должно быть, где-то ужинали, - и флигель-адъютанты с бумагами. Конвойные провели арестанта, закованного так, что он едва двигался; лицо закрыто было таким же черным колпаком, как у Голицына.

Он долго ждал. Наконец, опять появился Подушкин, завязал ему глаза и повел за руку.

- Стойте на месте, - сказал и отпустил руку.

- Откройтесь, - произнес чей-то голос.

Голицын снял платок и увидел большую комнату с белыми стенами; длинный стол, покрытый зеленым сукном, с бумагами, чернильницами, перьями и множеством горящих восковых свечей в канделябрах. За столом - человек десять, в генеральских мундирах, лентах и звездах. На председательском месте, верхнем конце стола - военный министр Татищев; справа от него - великий князь Михаил Павлович, начальник штаба - генерал Дибич, новый С.-Петербургский военный генерал-губернатор - Голенищев-Кутузов, генерал-адъютант Бенкендорф; слева - бывший обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын - единственный штатский; генерал-адъютанты: Чернышев, Потапов, Левашев и, с краю, флигель-адъютант полковник Адлерберг. За отдельным столиком - чиновник пятого класса, старенький, лысенький, - должно быть, делопроизводитель.

Голицын понял, что это - Следственная комиссия, или Комитет по делу Четырнадцатого.

С минуту длилось молчание.

- Приблизьтесь, - проговорил, наконец, Чернышев торжественно и поманил его пальцем.

Голицын подошел к столу, нарушая звоном цепей тишину в комнате.

- Милостивый государь, - проговорил Чернышев после обычных вопросов об имени, возрасте, чине, вероисповедании, - в начальном показании вашем генералу Левашеву вы на все предложенные вопросы сделали решительное отрицание, отзываясь совершенным неведением о таких обстоятельствах, кои...

Голицын, не слушая, вглядывался в Чернышева: лет за сорок, а хочет казаться двадцатилетним юношей; пышный черный парик в мелких завитках, как шерсть на барашке; набелен, нарумянен; бровки вытянуты в ниточки; усики вздернуты, точно приклеены; желтые, узкие с косым, кошачьим разрезом, глаза, хитрые, хищные. "Претонкая, должно быть, бестия, - подумал Голицын. - Недаром говорят, самого Наполеона обманывал".

- Извольте же объявить всю истину и назвать имена ваших сообщников. Нам уже и так известно все, но мы желаем дать вам способ заслужить облегчение вашей участи чистосердечным раскаянием.

- Я имел честь доложить генералу Левашеву все, что о себе знаю, а называть имена почитаю бесчестным, - ответил Голицын.

- Бесчестным? - возвысил голос Чернышев с притворным негодованием. - Кто изменяет присяге и восстает против законной власти, не может говорить о чести!

Голицын посмотрел на него так, что он понял: "Над арестантом закованным можешь ругаться, подлец!" Чернышев чуть-чуть побледнел сквозь румяна, но смолчал, только переложил ногу на ногу и потрогал пальцами усики.

- Вы упорствуете, хотите нас уверить, что ничего не знаете, но я представлю вам двадцать свидетелей, которые уличат вас, и тогда уже не надейтесь на милость: вам не будет пощады!

Голицын молчал и думал со скукой: "Дурацкая комедия!"

- Послушайте, князь, - в первый раз поднял на него глаза Чернышев, и узкие, желтые зрачки сверкнули злостью, уже непритворною, - если вы будете запираться - о, ведь мы имеем средства з а с т а в и т ь вас говорить!

- "В России есть пытка", об этом мне уже намедни генерал Левашев сообщил. Но ваше превосходительство напрасно грозить изволите: я знаю, на что иду, - ответил Голицын и опять посмотрел ему прямо в глаза. Чернышев немного прищурился и вдруг улыбнулся.

- Ну, если не хотите имена, не соблаговолите ли сказать о целях Общества? - заговорил уже другим голосом.

Обдумывая заранее, как отвечать на допросе, Голицын решил не скрывать целей Общества. "Как знать, - думал, - не дойдет ли до потомства прозвучавший и в застенке глас вольности?"

- Наша цель была даровать отечеству правление законно свободное, - заговорил, обращаясь ко всем. - Восстание Четырнадцатого - не бунт, как вы, господа, полагать изволите, а первый в России опыт революции

политической. И чем была ничтожнее горсть людей, предпринявших оный, тем славнее для них, ибо хотя, по несоразмерности сил и по недостатку лиц, вольности глас раздавался не долее нескольких часов, но благо и то, что он раздался и уже никогда не умолкнет. Стезя поколениям грядущим указана. Мы исполнили наш долг и можем радоваться нашей гибели: что мы посеяли, то и взойдет...

- А позвольте спросить, князь, - прервал его Александр Николаевич Голицын, дядюшка, с таким видом, как будто не узнал племянника, - если бы ваша революция удалась, что бы вы с нами со всеми сделали, - ну, хоть, например, со мной?

- Если бы ваше сиятельство не пожелали признать новых порядков, мы попросили бы вас удалиться в чужие края, - усмехнулся Голицын-племянник, вспомнив, как некогда дядюшка бранил его за очки. "И свой карьер испортил, и меня, старика, подвел!"

- Эмигрировать?

- Вот именно.

- Благодарю за милость, - встал и низко раскланялся дядюшка.

Все рассмеялись. И начался разговор почти светский. Рады были поболтать, отдохнуть от скуки.

- Ah, mon prince, vous avez fait bien du mal a la Russie, vous l'avez reculee de cinquante ans*, - вздохнул Бенкендорф и прибавил с тонкой усмешкой: - Наш народ не создан для революций: он умен, оттого что тих, а тих оттого что не свободен.

____

* Ах, князь, вы причинили столько зла России, вы удалились на пятьдесят лет назад (фр.).

- Слово "свобода" изображает лестное, но неестественное для человека состояние, ибо вся жизнь наша есть от законов натуральных беспрестанная зависимость, - проговорил Кутузов.

- Я математически уверен, что христианин и возмутитель против власти, от Бога установленной, - противоречие совершенное, - объявил дядюшка.

А великий князь повторил в сотый раз анекдот о жене Константина - Конституции. И государев казачок "Федорыч", Адлерберг, захихикал так подобострастно, беззвучно, что поперхнулся, закашлялся.

Председатель Татищев, "русский Фальстаф", толстобрюхий, краснорожий, с губами отвисшими, дремавший после сытного ужина, вдруг приоткрыл один глаз и, уставив его на Голицына, проворчал себе под нос:

- Шельма! Шельма!

Голицын смотрел на них и думал: "Шалуны! Ну да и я хорош: нашел с кем и о чем говорить. Не суд и даже не застенок, а лакейская!"

- Не будете ли добры, князь, сообщить слова, сказанные Рылеевым в ночь накануне Четырнадцатого, когда он передал кинжал Каховскому, - вдруг среди болтовни возобновил допрос Чернышев.

- Ничего не могу сообщить, - ответил Голицын: решил молчать, о чем бы ни спрашивали.

- А ведь вы при этом присутствовали. Может быть, забыли? Так я вам напомню. Рылеев сказал Каховскому: "Убей царя. Рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей". Помните? Что ж вы молчите? Говорить не хотите?

- Не хочу.

- Воля ваша, князь, но вы этим вредите не только себе. Отвергнув или подтвердив слова Рылеева, вы уменьшили бы вину его или Каховского и, может быть, спасли бы одного из двух, а запирательством губите обоих.

"А ведь он прав", - подумал Голицын.

- Ну, так как же? - продолжал Чернышев. - Не хотите сказать? В последний раз спрашиваю: не хотите?

- Не хочу.

- Шельма! Шельма! - проворчал себе под нос Татищев.

Узкие, желтые зрачки Чернышева опять, как давеча, сверкнули злостью.

- А княгиня знала о вашем участии в заговоре? - спросил он, помолчав.

- Какая княгиня?

- Ваша супруга, - улыбнулся Чернышев ласково.

Голицын почувствовал, что кандалы тяжелеют на нем неимоверною тяжестью, ноги подкашиваются, - вот-вот упадет. Сделал шаг и схватился рукою за спинку стула.

- Присядьте, князь. Вы очень бледны. Нехорошо себя чувствуете? - сказал Чернышев, встал и подал ему стул.

- Жена моя ничего не знает, - проговорил Голицын с усилием и опустился на стул.

- Не знает? - улыбнулся Чернышев еще ласковее. - Как же так? Венчались накануне ареста, значит, по любви чрезвычайной. И ничего не сказали ей, не поверили тайны, от коей зависит участь ваша и вашей супруги? Извините, князь, не натурально, не натурально! Да вы не беспокойтесь: без крайней нужды мы не потревожим княгини.

"Броситься на него и разбить подлецу голову железами!" - подумал Голицын.

- Ecoutez, Чернышев, c'est tres probable, que le prince n'a voulu rien confier a sa femme et qu'elle n'a rien su*, - проговорил великий князь.

---

* Послушайте, Чернышев, очень вероятно, что князь не хотел ни во что посвящать свою жену и что она ничего не знала (фр.).

Он давно уже хмурился, закрываясь листом бумаги и проводя бородкой пера по губам. "Le bourru bienfaisant, благодетельный бука" был с виду суров, а сердцем добр.

- Слушаю-с, ваше высочество, - поклонился Чернышев.

- Завтра получите, сударь, вопросные пункты; извольте отвечать письменно, - сказал Голицыну, подошел к звонку и дернул за шнурок.

Плац-майор Подушкин с конвойными появились в дверях.

- Господа, вы меня обо всем спрашивали, позвольте же и мне спросить, - поднялся Голицын, обвел всех глазами с бледной улыбкой на помертвевшем лице.

- Что? Что такое? - опять проснулся Татищев и открыл оба глаза.

- Il a raison, messieurs. Il faut etre juste, laissons le dire son dernier mot*, - улыбнулся великий князь, предвкушая один из тех "каламбурчиков-карамбольчиков", коих был большим любителем.

---

* Он прав, господа. Нужно быть справедливым, дадим ему сказать последнее слово (фр.).

- Да вы, господа, не бойтесь, я ничего, - продолжал Голицын все с тою же бледной улыбкой, - я только хотел спросить, за что нас судят?

- Дурака, сударь, валяете, - вдруг разозлился Дибич. - Бунтовали, на цареубийство злоумышляли, а за что судят, не знаете?

- Злоумышляли, - обернулся к нему Голицын, - хотели убить, да ведь вот не убили же. Ну, а тех, кто убил, не судят? Не мысленных, а настоящих убийц?

- Каких настоящих? Говорите толком, говорите толком, черт вас побери! - окончательно взбесился Дибич и кулаком ударил по столу.

- Не надо! Не надо! Уведите его поскорее! - вдруг чего-то испугался Татищев.

- Ваши превосходительства, - поднял Голицын обе руки в кандалах и указал пальцем сперва на Татищева, потом на Кутузова, - ваши превосходительства, знаете, о чем я говорю?

Все окаменели. Сделалось так тихо, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают.

- Не знаете? Ну, так я вам скажу: о цареубийстве одиннадцатого марта тысяча восемьсот первого года.

Татищев побагровел, Кутузов позеленел; оба как будто привидение увидели. Что участвовали в убийстве императора Павла Первого, об этом знали все.

- Вон! Вон! Вон! - закричали, повскакали, замахали руками.

Плац-майор Подушкин подбежал к арестанту и накинул ему колпак на голову. Подхватили, потащили конвойные. Но и под колпаком Голицын смеялся смехом торжествующим.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующее утро комендант Сукин принес Голицыну запечатанный конверт с вопросными пунктами, перо, бумагу и чернильницу.

- Не спешите, обдумайте, - сказал, отдавая пакет.

В этот день посадили его на хлеб и воду. Он понял, что наказывали за вчерашнее.

Поздно вечером вошел плац-адъютант Трусов и поставил на стол тарелку с белой сдобной булкой, аппетитно подрумяненной, похожей на те, что немецкие булочники называют "розанчиками".

- Кушайте на здоровье.

- Благодарю вас, я не голоден.

- Ничего, пусть полежит, ужо проголодаетесь.

- Унесите, - сказал Голицын решительно, вспомнив искушение трубкою.

- Не обижайте, князь. Право же, от чистого сердца. Чувствительнейше прошу, скушайте. А то могут быть неприятности...

- Какие неприятности? - удивился Голицын.

Но Трусов ничего не ответил, только ухмыльнулся; слащаво-наглое, хорошенькое личико его показалось Голицыну в эту минуту особенно гадким. Поклонился и вышел, оставив булку на столе.

До поздней ночи Голицын перестукивался с Оболенским. У обоих пальцы

заболели от стучанья. Голицыну заменяла их обожженная палочка из веника, которым подметали пол, а Оболенскому - карандашный огрызок.

- Я решил молчать, о чем бы ни спрашивали, - простучал Голицын, рассказав о допросе.

- Молчать нельзя: повредишь не только себе, но и другим, - ответил Оболенский.

- Чернышев говорит то же, - возразил Голицын.

- Он прав. Отвечать надо, лгать, хитрить.

- Не могу. Ты можешь?

- Учусь.

- Рылеев, подлец, всех выдает.

- Нет, не подлец. Ты не знаешь. Была у вас очная ставка?

- Нет.

- Будет. Увидишь: он лучше нас всех.

- Не понимаю.

- Поймешь. Если о Каховском спросят, не выдавай, что убил Милорадовича. Ведь и я ранил штыком; может быть, не он, а я убил.

- Зачем лжешь? Сам знаешь, что он.

- Все равно, не выдавай. Спаси его.

- Его спасти, а тебя погубить?

- Не погубишь: все за меня против него.

- Я лгать не хочу.

- Ты все о себе думаешь - думай о других. Идут. Прощай.

После разговора с Оболенским Голицын задумался и забылся так, что не заметил, как, проголодавшись, начал есть булку. Опомнился, когда уже съел половину. Оставлять не стоило, съел всю.

Ночью проснулся от боли в животе. Стонал и охал. Всю ночь промучился. К утру сделалась рвота, такая жестокая, что думал, - умрет. Но полегчало. Уснул.

- Как почивать изволили? - разбудил его Сукин.

- Прескверно. Тошнило.

- Что-нибудь съели?

- Трусов угостил булкой.

- Водой не запили?

- Нет.

- Ну, вот от этого. Надобно хлеб водой заливать. Ничего, пройдет. Сейчас будет лекарь.

- Не надо лекаря.

- Нет, надо. Сохрани Бог, что-нибудь сделается. У нас тут строго: за жизнь арестантов головой отвечаем.

"Безымянный", - так называл Голицын того замухрышку-солдатика, который оказался для него Самарянином Милостивым, - узнав о ночном происшествии, объявил, что Голицын отравлен.

- Может, ваше благородие, чем не потрафили - так вот они вас и мучают.

Пришел лекарь, тот самый, который был в Зимнем дворце, на допросе Одоевского, Соломон Моисеевич Элькан, должно быть, из выкрестов, черномазый, толстогубый, с бегающими глазками, хитрыми и наглыми. "Прескверная рожа. Этакий, пожалуй, и отравить может!" - подумал Голицын.

Арестанта перевели на больничный паек - чай и жидкий суп. Но он ничего не ел, кроме хлеба, который приносил ему потихоньку Безымянный.

Два дня не ел, а на третий зашел к нему Подушкин. Присел рядом на койку, вздохнул, зевнул, перекрестил рот и начал:

- Что вы не кушаете?

- Не хочется.

- Полноте, кушайте - ведь заставят!

- Как заставят?

- А так: всунут машинку в рот и нальют бульону, - насильно проглотите. А то в "мешок" посадят.

- Какой мешок?

- А такие карцеры есть под землей; сверху плита каменная с дыркой для воздуху. Ну, там не то, что здесь, - темно, сыро, нехорошо.

Помолчал, опять зевнул и прибавил:

- Не горюйте, все пройдет. Вот и генерал Ермолов сидел в царствование императора Павла Первого, а как выпустили, со мной и не кланяется. Вот и с вами так же будет. Все пройдет, все к лучшему.

- Вы "Кандида" читали, Егор Михайлович?

- Это насчет носа? Да-с, имею с Кандидом сие преимущество: нельзя оставить с носом!

Памятуя машинку и мешок, Голицын стал есть.

Иногда заходил к нему Сукин. Седой, в скобку подстриженный, с грубым солдатским лицом, напоминавшим старую моську, стоя на своей деревянной ноге, начинал издалека:

- Я, сударь мой, так рассуждаю: ежели можно жить где-нибудь счастливо, так это, конечно, в России: только не тронь никого, исполняй

свои обязанности, - и свободы такой нигде не найдешь, как у нас, и проживешь, как в царствии Божием.

Умолкал и, не дождавшись ответа, опять начинал:

- Вы, господа, пустое затеяли: Россия столь обширный край, что не может управляться иначе, как властью самодержавною. Если бы и удалось Четырнадцатое, такая бы пошла кутерьма, что вы и сами были бы не рады.

Опять умолкал, долго смотрел на Голицына; потом вынимал платок, сморкался и вытирал глаза:

- Ах, молодой человек, молодой человек! Глядючи на вас, сердце кровью обливается... Ну, пожалейте вы себя, не упрямьтесь, ответьте на пункты как следует. Государь милостив, - все еще может поправиться...

И так без конца. "Взять бы его за шиворот и вытолкать!" - думал Голицын с тихим бешенством.

После ночного припадка все еще был нездоров. К доктору Элькану не скрывал своего отвращения и выжил его. Вместо доктора заходил к нему фельдшер, Авенир Пантелеевич Затрапезный, тоже знакомый по допросу Одоевского; человек низенький, толстенький, небритый, нечесаный, похожий на свою фамилию, забулдыга и пьяница, но честный, не глупый и, как сам рекомендовался, "якобинец отъявленный". От него узнавал Голицын о том, что происходит в крепости.

У полковника Пестеля, недавно арестованного в Южной армии, найден яд: хотел отравиться, чтобы избегнуть пытки. Подпоручик Заикин пытался убить себя, ударяясь головой об стену; знал, где зарыта "Русская Правда", и тоже опасался пытки.

Подполковник Фаленберг, почти ни в чем не замешанный, поверив, что в случае признания его простят и освободят немедленно, ложно обвинил себя в умысле на цареубийство, а когда его посадили в крепость, помешался в уме.

Девятнадцатилетний мичман Дивов, "младенец", как звали его тюремщики, доносил, что каждую ночь снится ему все один и тот же сон, - будто закалывает государя кинжалом. Слышал голоса, имел видения - доносил и о них; и по этим доносам людей хватали и сажали в крепость.

Поручик Анненков повесился на полотенце, сорвался и поднят без чувств на полу камеры.

Корнет Свистунов проглотил осколки разбитого лампадного шкалика.

Полковник Булатов поверил в милость царскую, как в милость Божью, а когда увидел, что обманут, решил уморить себя голодом. Перед ним ставили самую вкусную пищу, самое свежее питье; но он ни к чему не прикасался, только грыз пальцы и сосал из них кровь, чтобы утолить жажду. Муки его продолжались двенадцать дней: должно быть, кормили насильно. Как ни строг был надзор, сумел обмануть сторожей: разбил себе голову об стену.

"А что-то будет со мной?" - думал Голицын, слушая эти рассказы.

На вопросные пункты все еще не ответил. Сначала решил молчать, запираться во всем. Но чем больше думал, тем больше чувствовал, что нельзя молчать. Неотразимы были доводы Чернышева и Оболенского, врага и друга, что молчаньем губит не только себя, но и других.

Отец Мысловский продолжал заходить почти каждый день, но только на минутку. Зайдет, поговорит, помолчит, как будто ожидая чего-то, и, не дождавшись, уйдет.

- А что, отец Петр, как вы думаете, хорошо ли я делаю, что запираюсь? - спросил однажды Голицын.

- Валерьян Михайлович, родной мой, дорогой, - обрадовался Мысловский; видно было, что этого вопроса только и ждал, - чего же тут хорошего? Нехорошо, нехорошо, нерассудительно и, даже прямо скажу, неблагородно. Вы губите...

- Ну, знаю, знаю! Гублю не только себя, но и других. Все вы точно сговорились... Ах, отец Петр, и вы против меня! Я этого не ожидал от вас...

- Друг мой, поступайте по совести, как Бог вам внушит! - воскликнул отец Петр и бросился его обнимать.

В тот же день Голицын отослал ответ в Комиссию. Подтвердил все, в чем его самого обвиняли, а на остальные вопросы ответил незнанием. Отослал утром, а вечером Безымянный принес ему записку Каховского:

"Голицын, участь моя в ваших руках. Рылеев, подлец, всех выдает. Ежели у вас будет с ним очная ставка и он сошлется на вас, что я убил Милорадовича, не выдавайте. Все подлецы, кроме вас".

После этой записки Голицын всю ночь не спал, мучился, решал, что ему делать, но ничего не решил - понял, что само решится.

Утром написал в Комиссию, просил вернуть вопросные пункты. Вернули. Начал писать новый ответ. Сделал так, как Оболенский советовал: отвечал на каждый вопрос с точностью, стараясь только никому не повредить, никого не запутать, и для этого лгал, хитрил, вилял, изворачивался.

Писал до поздней ночи. Кончив, лег. В темноте, при тусклом свете ночника, листики ответа белели на столике. И каждый раз, как он взглядывал на них, чувствовал такое отвращение, что, казалось, вот-вот схватит и разорвет. Но не разорвал. Отвернулся к стене, чтобы не видеть, и, наконец,

уснул.

На следующий день отправил новый ответ в Комиссию, а дня через два Сукин поздравил его с первою царскою милостью - снятием ножных желез. Вторая милость была посылка из дому: белье, любимый старый халат - тот самый, в котором он ходил в бабушкином доме в желтой комнате, когда выздоравливал, - и распечатанная записка Мариньки:

"Мой друг, я здорова и столь благополучна, сколь возможно сие в моем положении. Береги и ты себя; ради Бога, не предавайся отчаянию. Не думай, что я могу существовать без тебя. Одна смерть разорвет нашу связь. Я буду там, где ты. Помни, что я говорила тебе: моя жизнь от тебя зависит, как нитка от иголки; куда иголка, туда и нитка. Храни тебя Бог и Матерь Пречистая. Твоя навеки, княгиня Марья Голицына".

Еще дня через два повезли его на второй допрос в Комиссию. Ввели в ту же залу, с теми же обрядами.

- Показания Рылеева по некоторым пунктам несходны с вашими. Вам будет дана очная ставка, - сказал Чернышев и позвонил. Конвойные ввели Рылеева.

- Подтверждаете ли вы, Голицын, что в ночь накануне Четырнадцатого Рылеев сказал Каховскому, давая кинжал: "Убей царя"?

- Подтверждаю.

- А вы, Рылеев, что скажете?

- Я уже говорил вашему превосходительству, что согласен заранее со всем, что покажет Голицын. Я хорошенько не помню, что тогда говорил, но если он помнит, - значит, так и было... А вы, Голицын, помните?

- Помню, Рылеев, - сказал Голицын и поднял на него глаза.

Опять, как тогда, в Эрмитаже, - он и не он. Но негодованья, презренья теперь уже не было, а только жалость бесконечная: что с ним сделали? Исхудал, осунулся, как после тяжкой болезни или пытки. Но не это самое страшное, а безоблачная ясность, тихость лица, какая бывает у мертвых. "Ты его не знаешь: он лучше нас всех", - вспомнилось Голицыну.

- Итак, Рылеев, вы подговаривали Каховского?

- Подговаривал? Нет. Он сам решил, и я это знал. Но, может быть, без меня ничего бы не сделал. Я виноват больше, чем он, - ответил Рылеев и, помолчав, прибавил: - Ваше превосходительство, я не скрываю не только дел и слов моих, но и самых тайных помыслов. Мне часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного государя не только не произведет пользы, но, напротив, может быть пагубно для цели Общества, ибо разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии, и все сие неминуемо породит войну междоусобную. С истреблением же всей фамилии поневоле все партии соединятся. Но, сколько могу припомнить, я никому не открывал сего, да и сам, наконец, обратился к прежней мысли, что участь царствующего дома вправе решить только Великий Собор. За сим покорнейше прошу Комиссию не приписывать того упорству моему, что я всего ныне показанного не открыл прежде. Если что и скрывал, то щадя не столько себя, сколько других. Признаюсь чистосердечно: я сам себя почитаю главнейшим и, может быть, единственным виновником Четырнадцатого, ибо если бы с самого начала отказался участвовать, то никто бы не начал. Словом, если для блага России нужна казнь, то я один ее заслуживаю и молю Создателя, чтобы на мне все кончилось.

- Каховский показывает, что графа Милорадовича убил Оболенский, нанеся ему рану штыком, - продолжал Чернышев. - Подтверждаете ли вы, Рылеев, что убил его не Оболенский, а Каховский, и сам об этом сказывал у вас на квартире, вечером, Четырнадцатого?

- Подтверждаю, - ответил Рылеев.

- Подтверждаете ли и вы, Голицын?

Голицын знал, что ответом своим погубит одного из двух - Оболенского или Каховского. Кого же выберет?

- Ну что ж, опять замолчали? - посмотрел на него Чернышев с усмешкой: думал, что поймал, - не отмолчится.

- Умоляю вас, Голицын, ответьте, - сказал Рылеев. - Судьба Оболенского в ваших руках. Спасите невиновного.

- Подтверждаю, - ответил Голицын.

- Собственными глазами видели? - спросил Чернышев.

- Видел, - произнес Голицын с таким чувством, как будто произносил смертный приговор Каховскому.

Чернышев опять позвонил и сказал:

- Введите Каховского.

Каховский вошел. Все тот же: лицо тяжелое-тяжелое, точно каменное, с нижнею губою надменно оттопыренною, с глазами жалобными, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, с невидящим взором лунатика.

Голицына отвели в соседнюю комнату и усадили в угол, за ширмами. В комнате был доктор Элькан с фельдшером Авениром Пантелеевичем. Потом Голицын узнал, что они просиживают тут все время заседания Комиссии: допрашиваемых иногда выносили в бесчувствии и тут же пускали им кровь.

Сначала голоса из-за двери доносились глухо, но потом, когда дверь

приотворили, сделались внятными.

- Вы, стало быть, солгали, Каховский, оклеветали невинного?

- Оклеветал? Я? Я мог быть злодей в исступлении, но подлецом и клеветником никто меня не сделает. Будучи сами виновны, они смеют меня оскорблять, называя убийцею. Целовали, благословляли, а теперь как злодеем гнушаются. Ну, да все равно! Пусть что хотят на меня показывают, я оправдываться не буду. Этот...

Голицын понял, что "этот" - Рылеев. Каховский так ненавидел его, что не хотел называть по имени.

- Этот не может меня оскорбить. Не оскорбляет ли более себя самого? Одно скажу: я не узнаю его или никогда не знал...

- А на главный вопрос вы так и не ответили: кто убил графа Милорадовича?

- Я уже имел честь изъяснить вашему превосходительству: я выстрелил по Милорадовичу, но не я один, - стрелял весь фас каре; а князь Оболенский нанес ему рану штыком. Я ли убил или кто другой, не знаю. Вынудить меня говорить противное никто и ничто не в силах. Прошу меня больше не спрашивать, я отвечать не буду.

- Лучше не запирайтесь, Каховский. На вас показывают все.

- Кто все?

- Рылеев, Бестужев, Одоевский, Пущин, Голицын.

- Голицын? Не может быть...

- Хотите очную ставку?

- Нет, не надо...

Он вдруг замолчал.

- Извините, ваше превосходительство, - начал опять, и слезы задрожали в голосе, - минутная слабость, ребячество... Не плакать, а смеяться должно. "Все к лучшему в этом лучшем из миров", - как говорит наш безносый философ*. Последний удар нанесен, последняя связь порвана. И кончено, кончено, кончено! Один я жил, один умру!

____

* Цитата из повести Вольтера "Кандид".

- Итак, убийство вами графа Милорадовича вы подтверждаете?

- Подтверждаю, подтверждаю, обеими руками подписываю. Я убил графа Милорадовича. И если бы государь подъехал к каре, то и его убил бы. И всех, всех, - намеренье и согласье мое было на истребление всех членов царствующей фамилии... Ну, вот, господа, чего же вам больше? Казните, делайте со мной, что хотите. Прошу одной милости - приговора скорейшего. Смерти я не боюсь и сумею умереть как следует.

- Вместе умрем, Каховский! Ты не один, помни же - вместе! - воскликнул Рылеев, и в голосе его была такая мольба, что сердце у Голицына замерло: поймет ли тот, ответит ли?

- Что он говорит? Что он говорит? Сделайте милость, ваше превосходительство, избавьте меня... Слушать противно...

- Полно, Каховский, не горячитесь, - сказал Чернышев, встал и взял его за руку.

Подушкин выглянул из-за двери. Голицын - тоже.

- Будьте покойны, не трону, рук марать не желаю, - ответил Каховский и вдруг обернулся к Рылееву, как будто только теперь увидел его. - Ну, что, говори!

Рылеев поднял на него глаза с улыбкой:

- Я хотел сказать, Каховский, что я тебя всегда...

- Что? Что? Что? - наступал на него тот, сжав кулаки.

- Эй, ребята! - позвал Чернышев.

Вбежал плац-майор с конвойными.

- Любил и люблю, - кончил Рылеев.

- Любишь? Так вот же тебе за твою любовь, подлец! - закричал Каховский и кинулся на Рылеева, раздался звук пощечины.

Голицын вскрикнул и зашатался, как будто его самого ударили. Кто-то поддержал и усадил его на стул. Он потерял сознание.

Когда очнулся, фельдшер Затрапезный подносил ко рту его стакан с водою. Зубы стучали о стекло; долго не мог поймать губами край стакана; наконец, поймал, выпил и спросил:

- Что он с ним сделал? Убил?

- Ничего не убил, а только съездил подлеца по роже как следует, - ответил Затрапезный.

И опять, как будто его самого ударили, Голицын почувствовал, что на лице его горит пощечина, и, наслаждаясь болью и срамом, подумал:

"Так тебе и надо, подлец?"

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

- Ну, слава Богу, ответили, и дело с концом, - говорил отец Петр

Голицыну, зайдя к нему в камеру на следующий день после допроса. - Теперь уж все гладко пойдет. Будьте покойны, всех помилует. Сам говорит: "Удивлю Россию и Европу!"

Маленькие, под нависшими веками, треугольные щелки глаз светились такою простодушною хитростью, что Голицын, сколько ни вглядывался, - не мог решить, очень он прост или очень хитер.

- Государь сам изволил читать ваш ответ, - помолчав, прибавил Мысловский с таинственным видом. - Его величество сделал из него весьма выгодное заключение о ваших способностях...

- Ну, будет, отец Петр, уходите, - сказал Голицын, бледнея.

Отец Петр не понял и посмотрел на него с удивлением.

- Уходите! - повторил Голицын, еще больше бледнея. - Я ваш совет исполнил. Чего же вам еще нужно?

- Да что, что такое, Валерьян Михайлович, дорогой мой, голубчик? За что же вы на меня?..

- А за то, что вы, служитель Христов, не постыдились принять на себя обязанность презренного шпиона и сыщика!

- Бог вам судья, князь. Вы оскорбляете человека, который ничего, кроме добра...

- Вон! Вон! - закричал Голицын, вскочил и затопал ногами.

Отец Петр ушел и с того дня не появлялся. Голицын знал, что стоит ему сказать слово - и он тотчас прибежит. Но не хотел, старался убедить себя, что не нуждается в нем и что всегда ему был противен этот "чувствительный плут".

Не только отец Петр, но и все его покинули.

"Наконец-то в покое оставили", - сначала радовался он; но, когда почувствовал, что одиночество сомкнулось над ним, как вода над утопающим, стало страшно.

Хуже всего было то, что Оболенского перевели в другую камеру. Перестукивания кончились. С новым соседом надо было все начинать сызнова. Вместо Оболенского посадили Одоевского. Когда Голицын постучал к нему, тот ответил таким неистовым грохотом, что часовые сбежались. И каждый раз, как Голицын пробовал стучать, повторялось то же. Наконец, бросил, отчаялся. А с другой стороны сидел полоумный Фаленберг; тот совсем не отвечал на стук. Тосковал и плакал о жене. Часто среди ночи, когда все утихало, слышались его рыданья, сначала глухие, потом все более громкие и кончавшиеся воплем раздирающим:

- Eudoxie! Eudoxie!

"Маринька! Маринька!" - хотелось ответить Голицыну таким же воплем.

В первые дни заключения, когда он думал, что сейчас конец, было легко. Но теперь, когда убедился, что конец может быть через месяцы, годы, десятки лет, им овладела тоска безысходная.

Дни проходили за днями, такие однообразные, что сливались, как в беспамятстве бреда, в один сплошной, нескончаемый день. Налепленные для счета дней хлебные шарики смахнул со стены: потерял счет времени. Время становилось вечностью, и в зияющую бездну ее он заглядывал с ужасом.

Рассудок разрушался, размалывался, как зерно между двумя жерновами, - между двумя мыслями: надо что-нибудь делать, а делать нечего.

Целыми часами складывал на столе выломанные из вентилятора жестяные перышки в различные фигуры - звезды, кресты, круги, многоугольники.

Или, сидя на койке, выдергивал бесконечную нитку, которой пристегивалась простыня к одеялу, и навязывал узлы, один за другой, так что под конец образовывался целый клубок; тогда развязывал и снова навязывал.

Или следил, как паук ткет паутину, и завидовал: делом занят - не соскучится.

Или, стоя на подоконнике, глядел сквозь дыру вентилятора на соседнюю глухую гранитную стену и крышу бастиона с водосточным желобом, где иногда знакомая ворона садилась и каркала.

Или кружился по камере и выдолбленные на кирпичном полу ногами прежних жильцов ямки еще глубже выдалбливал.

Или сочинял дурацкие стишки и твердил их бессмысленно, до одури:

Кто не знает нашу участь,
Не поверит тот никак,
Чтоб за этакую глупость
Могли мучиться мы так.

В углу, где умывался, на стене была надпись: "God damn your ayes"*.

---

* Порази Господь Бог твои глаза (англ.).

- Кто это писал? - спросил Безымянного.

- Англичанин.

- Что же с ним сделалось?

- Помер.

- От чего?

- От спячки. День и ночь спал, во сне и помер.

"Вот и я умру так же, во сне", - подумал Голицын.

Сделался слезлив, как баба. Когда звонили куранты заунывным, точно похоронным, звоном, хотелось плакать. Когда фейерверкер Шибаев приносил обед или чай с улыбкой особенно ласковой, тоже навертывались слезы. Однажды перечел записку Мариньки и как ребенок расплакался. А когда часовой заглянул в "глазок", стало стыдно; повернулся к нему спиною, хотел удержать слезы и не мог, - лились, неутолимые, отвратительно сладкие. "Вот что наделала крепость в две-три недели, а что будет дальше?" - подумал:

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю;
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю.

А как дошло до дела, испугался, ослабел, не захотел погибать; любил жизнь, потому что любил Мариньку. Любовь - подлость: чтобы умереть как следует, надо разлюбить, убить любовь, - из всех его страшных мыслей это была самая страшная.

С каждым днем тоска усиливалась, терпенье истощалось; сердце выболело, мысли мешались, и ему казалось, что он сходит с ума. Следил за собою и в каждом своем движении, слове, мысли находил признаки помешательства. Сначала был страх безумья, а потом страх этого страха. Сходил с ума на мысли, что сойдет с ума. "Уж скорее бы!" - думал с отчаянием и, стоя в углу, бился головой об стену. Или рассматривал отточенное жестяное перо вентилятора: нельзя ли зарезаться?

Наконец, заболел. Сделался жар, закололо в боку, закашлял кровью. Комендант Сукин перепугался, позвал Элькана. Тот объявил, что если больного не переведут в лучшую камеру, то может быть чахотка.

Голицын обрадовался. Все муки его сразу кончились: смерть - свобода.

Отец Петр, узнав, что он болен, прибежал к нему, а когда он стал извиняться, что оскорбил его в последнее свидание, не дал ему говорить, бросился на шею и заплакал.

Начал опять заходить каждый день. Чтобы развлечь больного, рассказывал городские слухи и новости.

От него узнал Голицын о прибытии похоронного шествия с телом покойного императора. Все о нем забыли так, как будто похоронили уже лет десять назад. А между тем, через всю Россию, из Таганрога в Петербург, медленно-медленно, больше двух месяцев, тянулось похоронное шествие, окруженное войсками, пешими и конными, с авангардами и арьергардами, разъездами и патрулями, как военный поход в стране неприятельской. Опасались бунта. В народе шел слух, что государь не умер и хоронят кого-то другого; в Москве будто хотят выбросить из гроба тело и таскать по улицам, а потом сжечь. "Принял я строжайшие меры к совершенной безопасности бесценного праха, - доносил граф Орлов-Денисов, обер-церемониймейстер похорон. - Смею ручаться, что последняя капля крови моей застынет у подножия гроба августейшего усопшего, и через хладный только труп мой насильство достичь может дерзновенного прикосновения". По прибытии тела в Москву запирали на ночь ворота в Кремле и у каждого входа ставили заряженные пушки. А в Петербурге будто проведены были пороховые подкопы под всеми улицами, от заставы до Казанского собора, по коим должно было следовать шествие; и в подвалах собора спрятаны четыре бочки с порохом; и в каждом флашкоуте Троицкого моста - тоже по бочке, чтобы взорвать шествие.

Еще более странный слух сообщил Голицыну Авенир Пантелеевич: государь будто бы умер от яду; Меттерних, злодей, отравил; лицо в гробу почернело так, что узнать нельзя. А на живом государе тоже лица нет от страху - не лучше покойника.

Но то, что Безымянный рассказывал, было всего удивительней.

Во время проезда государева тела был в Москве из некоторого села дьячок; а когда он вернулся в село, стали его мужики спрашивать, что царя-де видел ли. "Какого, говорит, царя? Это не царя, а черта везут!" Тогда один мужик его ударил в ухо и объявил попу, а поп - начальству; и того дьячка взяли за караул. А еще сказывают, будто не царь в гробу и не черт, а простой русский солдат. Когда государь жил в Таганроге, то хотели его убить изверги. И, сведав про то, государь вышел ночью из дворца к часовому: "Хочешь, говорит, часовой, за меня умереть?" - "Рад стараться, ваше величество!" И тогда государь надел солдатский мундир и стал на часы, а солдат, в мундире царском, пошел во дворец. Вдруг из пистолета по нем выстрелили. Солдат помер, а государь, бросив ружье, бежал с часов неизвестно куда. В скиты, говорят, к старцам, душу спасать, молиться, чтобы Господь Россию помиловал.

- Как знать, может, и правда, - подмигнул отец Петр Голицыну с

таинственным видом, когда тот передал ему рассказ Безымянного.

- Что правда? - удивился Голицын.

- А то, что был мертв и се, жив...

- Бог с вами, отец Петр! Подумайте только, какая нелепость. Ужели все генералы, адъютанты, придворные, все сопровождавшие тело его, весь Таганрог и сама императрица Елизавета Алексеевна, - ужели все они участвовали в заговоре, чтобы обмануть Россию?

- Да, как будто не того, - согласился отец Петр нехотя; но помолчал, подумал и прибавил еще таинственнее: - Темное дело, ваше сиятельство, темное!

И вдруг, наклонившись к уху его, зашептал:

- А солдатик-то действительно был, говорят, в полковом гошпитале, в Таганроге, больной при смерти, необыкновенно лицом на государя похож. Солдатик помер, а государь выздоровел. Ну, и подменили. Лейб-медик Вилье все дело сварганил. Прехитрая бестия!

- Да зачем? Кому это нужно?

- А кому это нужно - тайна великая. Ныне сокровенно сие, а, может, когда и откроется. Некий старец явится, святой угодник Божий, за всю Россию подвижник и мученик, от земли до неба столп огненный, Благословенный воистину. Имя же ему...

- Ну, что ж, говорите.

- А никому не скажете?

- Никому.

- Даете слово?

- Даю.

- Федор Кузьмич, - прошептал отец Петр благоговейным шепотом.

- Федор Кузьмич, - повторил Голицын, и что-то вещее, жуткое послышалось ему в этом имени, как будто на одно мгновение он поверил, что так оно и есть: старец Федор Кузьмич - император Александр Павлович.

Вспомнил разговор в Линцах с Пестелем и Софьин бред: "убить мертвого"; "был мертв - и се жив".

Тринадцатого марта Безымянный объявил Голицыну:

- Царя нынче хоронят.

Сквозь верхнее незабеленное звено окна видно было, что на дворе метелица; снег падал густыми, еще не мокрыми, но уже мягкими, как пух, мартовскими хлопьями.

Голицын закрыл глаза и увидел медленно тянущееся похоронное шествие, с черным катафалком и черным гробом, под белым снежным саваном.

Вдруг загрохотали оглушительные пушечные выстрелы. Стены каземата дрожали, как будто рушились. Вспыхивало пламя, освещая камеру.

Он понял, что в эту минуту в соборе Петропавловской крепости опускают в могилу тело императора Александра Первого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Крепостному начальству велено было стараться, чтобы никто из заключенных не умер до окончания дела. За Голицыным ухаживали: переменили жесткую койку на мягкую; стали лучше кормить, давать книги; после ножных сняли и ручные кандалы и, наконец, перевели в другую камеру, посуше. Но он жалел о прежней, темной и тесной, о ямках от ног на кирпичном полу, о друге-пауке и пятнах сырости на штукатурке стен, для него не пятнах, а лицах и образах.

В начале апреля уже выздоравливал. Когда почувствовал, что не умрет, хотел огорчиться и не мог. Пусть месяцы, годы, десятки лет заключения, пусть новые муки, еще неизвестные, - только бы жить!

В новой камере окно выходило на полдень. Внизу был ров, и стены бастиона отступали так, что было больше неба, чем в прежней камере, и, несмотря на глубокую, почти двухаршинную впадину окна, солнце в начале апреля стало заглядывать, ложась на белую стену острым углом света с черною тенью решеток.

Он садился в этот угол и, зажмурив глаза, смотрел прямо на солнце. Ни о чем не думал, только впитывал свет и тепло, как растение. Солнце и он - больше ничего и никого не нужно. А Маринька? Маринька - то, почему солнце светит земле. Казалось, только здесь, в тюрьме, в первый раз в жизни узнал, что такое свобода и счастие. Сначала стыдился, боялся, что так просто счастлив, но потом понял, что опять - "все хорошо". "Как хорошо, Господи!" - хотел молиться, но молитвы не было, а было только воздыхание к Богу, вопрос и ответ: "Здесь?" - "Здесь". И вся душа затихала тишиною последнею.

С отцом Петром помирился окончательно. Понял, что хотя он и "плут", но плутовство у него, как часто бывает у русских людей, с добротою смешано, и даже так, что чем плутоватее, тем добрее. Может быть, сначала кривил душою, служил и нашим и вашим; но, мало-помалу, изменил тюремщикам и перешел на сторону узников. Не умом, а сердцем угадывал, что эти

"злодеи" - лучшие люди в России. Полюбил их в самом деле, как духовный отец - детей своих.

- А ведь вы наш, отец Петр, - сказал ему однажды Голицын.

- Наконец-то поняли, - весь просиял отец Петр. - Ваш, друзья мои, ваш! С такими людьми жить и умереть!

Двенадцатого апреля, в Вербное воскресенье, вошел Мысловский к Голицыну, в ризе, с чашей в руках, и сказал, что причащает узников.

- А вы, князь, не желаете? - спросил так же, как в первое свидание, три месяца назад, и Голицын так же ответил:

- Нет, не желаю.

- Почему же?

- Потому, что не хочу смешивать Христа со Зверем.

И он объяснил ему свою давнюю мысль о кощунственном соединении Кесарева с Божьим, царства с церковью.

- Ну, а если и так, вам-то за что погибать? Не вкушает ли голодный хлеба и в вертепе разбойничьем?

Голицын умолк, обезоруженный: так умилило и ужаснуло его это смирение, может быть, не только отца Петра, но и всех, кто за ним.

- Вы знаете, отец Петр, за что я к злодеям причастен, и знаете, что я ни в чем не раскаиваюсь. И нераскаянного причастили бы?

- Причастил бы.

- И убийцу?

- Что вы, князь, Бог с вами, кого вы убили?

- Все равно, хотел убить - убить Зверя во имя Христа. Можно во имя Христа убить, отец Петр, как вы думаете?

Отец Петр стоял у окна. Луч солнца падал на золотую чашу в руках его, и она сияла, как солнце. Руки его дрожали так, что казалось - уронит чашу. Губы шевелились беззвучно: хотел что-то сказать и не мог.

- Не знаю, - проговорил, наконец. - Я вас не сужу. Бог рассудит...

Голицын опустился на колени.

- Простите, отец Петр! Если бы вы и могли, я не могу... - прошептал он, поцеловал руку его и пал ниц перед чашею.

Отец Петр благословил его молча и вышел.

Восемнадцатого апреля, в Светлую ночь*, Голицын не спал - все ждал чего-то, прислушивался. Но сквозь глухие стены каземата ни один звук не проникал, тишина была мертвая. Встал на подоконник и выглянул сквозь дыру вентилятора; здесь, в новой камере, тоже выломал из него перышки. Увидел только темноту, как чернила черную. Приложил ухо к дыре и, как смутное жужжание пчелиного улья, услышал глухой гул колоколов - пасхальный благовест.

____

* Ночь перед Воскресением Христовым.

Никогда, казалось, не чувствовал так, как здесь, в каземате, погребенный заживо, что Христос воскрес.

В мае начали водить арестантов на прогулку в садик, внутри Алексеевского равелина. Повели и Голицына.

Когда он переступил порог наружной двери, солнечный свет ослепил его так, что он закрыл глаза руками. Свежий воздух останавливал дыхание, и, как вышедшему на берег после долгого плавания, ему казалось, что земля под ним качается. Фейерверкер Шибаев поддержал его под руку и повел в садик.

Садик был треугольный, в треугольнике высоких стен, как на дне колодца; стены - гранитные, гладкие, голые, без окон, снизу поросшие зеленым мхом и лишаями желто-серыми, как дикие скалы, с одной только дверцей, окованной железом, с железной решеткой.

Немного травки, несколько кустиков сирени, бузины и черемухи, две-три березки; между ними - деревянная полусломанная лавочка и, у одной из стен, дерновый холмик с ветхим покачнувшимся крестиком, - как объяснил Шибаев, - могила утонувшей во время наводнения узницы, княжны Таракановой.

Садик был жалкий, а Голицыну казался Божьим раем. И как первый человек в раю или мертвец, вставший из гроба, он глядел с ненасытною жадностью на желтые цветы одуванчиков, на смолисто-клейкие лапки березовых листиков, на голубое небо и тающие, как светлый пар, облака.

Заиграли куранты, как будто над самой головой его. Он взглянул вверх.

- Пожалуйте сюда, ваше благородие, отсюда видать, - указал ему Шибаев на один из углов треугольника. Голицын подошел, встал на рундук водосточного желоба, прислонясь спиной к стене, и увидел ослепительно сверкавшую на солнце, как огненный меч, золотую иглу Петропавловской крепости с архангелом, трубящим в трубу как бы в знак того, что узники выйдут на волю из этой живой могилы только в воскресение мертвых.

Опять вернулся в середину садика и сел на лавочку. Шибаев что-то говорил, но он его не слышал. Тот понял, что Голицын хочет остаться один; отошел, отвернулся и закурил трубочку.

Голицын долго глядел на тонкий белый ствол березки, потом вдруг обнял его, прижался к нему щекой и закрыл глаза. Вспомнил Мариньку: "Выбегу,

бывало, в рощу; молодые березки - тоненькие, как восковые свечечки; кожица у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!"

Когда Голицын вернулся в свою новую, "светлую" камеру, она показалась ему темным и тесным гробом. Как будто на мгновение встал из гроба и опять упал: уж лучше б не вставать. Решил не ходить на прогулку. Отказался раз, два, а потом не выдержал - пошел.

Березки уже распустились, и благоухание цветущей сирени пахнуло в лицо ему росною свежестью. Опять, как намедни, сел на лавочку, обнял березку, прижался щекою и закрыл глаза. Такая тоска сжала сердце, что хотелось кричать как от боли.

Вдруг шорох шагов. Открыл глаза, вскочил и выставил руки вперед с тихим криком ужаса: казалось, что видит призрак Мариньки.

- Валенька, светик мой, родненький! - бросилась к нему, обняла, прильнула всем телом - живая, живая Маринька.

Что было потом, уже не помнили. Говорили, спешили, перебивали, не понимали друг друга, смеялись и плакали вместе. Он вглядывался в нее, удивлялся и не узнавал: как похудела, побледнела и расцвела новой прелестью, неведомой! Девятнадцатилетняя девочка и уже взрослая женщина. Какое спокойное мужество! Ни страха, ни скорби в этих больших, темных глазах, а только сила любви бесконечная, как у Той, Всемогущей, на полотне Рафаэлевом.

- Ты, Маринька, ты... Господи! Как ты сюда?..

- А что, не ждал, думал, не приду? А вот и пришла. Анкудиныч провел.

- Какой Анкудиныч?

- Ничипоренко. Аль не знаешь? Вон он стоит.

Голицын увидел стоявшего поодаль, рядом с Шибаевым, ефрейтора Ничипоренку, того самого, который когда-то грозил ему розгами.

- Я ведь тут каждый день бываю в крепости, будто бы в церковь к обедне хожу. Не знала, что ты в равелине сидишь. С бульвара-то, от церкви, окна казематов видны, все в ряд, одинаковые, мелом замазаны, - ничего не разобрать. А я все смотрю: думаю, какое окно твое? Надоела всем. Комендант ругается; раз хотел из церкви вывести. Так я переоденусь, бывало, девкой и так пробираюсь. А у Подушкина дочка, Аделаида Егоровна, старая девица, предобрая. Влюбилась в Каховского... Ах, Боже мой, сколько надо сказать, а я вздор болтаю! А знаешь, когда шел лед...

Начала и не кончила, должно быть, опять решила, что вздор. Хотела рассказать, как однажды бабушкин дворецкий Ананий, тоже часто бывавший в крепости, напугал ее, будто бы князь болен, при смерти. Кинулась в крепость, а все мосты разведены, - ледоход. Яличники отказывались ехать. Наконец, одного умолила: согласился за 25 рублей. Кинул ей веревку; надо было привязать ее к чугунному кольцу, вбитому в перила набережной, чтобы спуститься по обледенелым ступеням гранитной лестницы. Долго не могла справиться: мерзлая веревка - жесткая, чугунное кольцо - тяжелое, обледенелый гранит - скользкий, а руки - слабые. Но лед, и чугун, и гранит, - все победили слабые руки. Спустилась в ялик. Поплыли. Несущиеся навстречу льдины громоздились, ломались, трещали - вот-вот опрокинут ялик. Старый лодочник, бледный от страха, то ругался, то молился. А когда причалили к другому берегу, взглянул на нее с восхищением: "Ах, хороша девка!" - должна быть, подумал, как все о ней думали. Было поздно; ворота крепости заперты; часовой не пропускал. Сунула ему денег, отпер. Побежала на квартиру к Подушкину. Аделаида Егоровна успокоила: князь был очень болен, но теперь лучше; доктор обещает, что скоро будет здоров. "А что это у вас с ручками-то, ваше сиятельство!" - вдруг вскрикнула старая девица в ужасе. Маринька взглянула на руки: перчатки в лохмотьях и ладони в крови; ободрала кожу о ледяную веревку. Улыбнулась, вспомнила, как он целовал ей руки в ладони.

- Отчего ты в трауре? - спросил Голицын, когда помолчали, глядя друг другу в глаза и угадывая все, что не умели сказать. Только теперь он заметил, что она в черном платье и в черной шляпке с траурным вуалем.

- Похоронила бабиньку.

- А Нина Львовна здорова?

- Н-нет, не очень, - потупилась она и заговорила о другом.

Он понял, что она умоляет его не говорить о матери: хочет одна нести эту муку.

Подошел Ничипоренко.

- Пожалуйте, ваше сиятельство.

- Сейчас, Анкудиныч, еще минутку...

- Никак нельзя. Комендант увидит - беда будет.

Маринька достала из кармана пачку ассигнаций и сунула ему в руку. Он покосился на них: должно быть - мало. Опять опустила руку в карман, но там ничего уже не было. Тогда сняла с шеи золотую цепочку с крестиком и отдала ему. Он отошел.

Опять заговорили, но уже безрадостно: чувствовали, что минута разлуки близка.

- Постой, что я хотела? Ах, да, - заторопилась, зашептала ему по-французски на ухо. - Бежать, говорят, можно: теперь на Неве много судов заграничных, близко к крепости. Фома Фомич с одним капитаном уже говорил и пачпорт достал. А плац-адъютант Трусов за десять тысяч...

- Трусов - негодяй; берегись его. Бежать нельзя. А если б и можно, я не хочу.

- Отчего?

Он посмотрел на нее молча так, что она поняла.

- Ну, прости, милый, я ведь ничего не понимаю... А знаешь, отец Петр говорит, что всех помилуют.

- Нет, Маринька, не помилуют. Да и не нужно нам ихней милости.

- Ну, все равно, пусть хоть на край света сошлют, - будем вместе! А если... - не кончила, но он понял: "Если умрешь - и я с тобой".

- Ваше сиятельство, - опять подошел Ничипоренко и взял ее за руку.

Она оттолкнула его, бросилась на шею к Голицыну, обняла его так же, как давеча, прильнула всем телом, поцеловала, перекрестила:

- Храни тебя Матерь Пречистая!

И в последнем взоре - ни страха, ни скорби, а только сила любви бесконечная, как у Той, Всемогущей.

Когда он опомнился, ее уже не было, и опять казалось ему, что это было только видение. Опустился на лавочку и долго сидел с закрытыми глазами, не двигаясь. Вдруг почувствовал на лице холодные капли и открыл глаза. Набежало облачко; золотые нити дождя на солнце задрожали, зазвенели, как золотые струны, певучими звонами. Падали крупные капли, как светлые слезы, словно кто-то плакал от радости. Ярче зазеленела трава, забелели стволы берез, и сирень задышала благоуханнее.

Он оглянулся: никого не было в садике, Шибаев вышел за дверцу, - должно быть, понял, так же как намедни, что он хочет остаться один.

Голицын стал на колени, нагнулся, раздвинул влажную траву и припал губами к земле. "Любить землю грех, надо любить небесное", - вспомнил и засмеялся, заплакал от радости. Целовал землю и шептал:

- Земля, земля, Матерь Пречистая!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Записки С.И.Муравьева-Апостола

"Россия гибнет, Россия гибнет Боже, спаси Россию!" - так я молюсь, умирая.

Я знаю, что умру. Все говорят, что смертной казни не будет, а я думаю - будет. Но если б и не было казни, я, кажется, умер бы: со сломанной ногой нельзя ходить - со сломанной душой нельзя жить.

После разбития мятежного Черниговского полка, 4 января, я привезен был в Петербург, тяжело раненный, так что живу быть не чаяли. Но вот остался жив: первой смертью не умер, чтобы умереть второй.

Мореплаватель, затертый льдами, кидает бутылку в море с последнею отрадною мыслью: узнают, как мы погибли. Так я кидаю в океан будущие сии записки предсмертные - мое завещание России.

Пишу на клочках и прячу в тайник в полу моей камеры один из кирпичей подымается. Перед смертью отдам кому-нибудь из товарищей может быть, сохранят.

Плохо пишу по-русски. J dois avouer a ma honte que j'a plus d'abitude de la langue francaise que du russe*. Буду писать на обоих языках. Такова уж наша судьба, чужие на родине.

* К стыду своему должен признать, что я больше привык к французскому, нежели к русскому языку (фр.).

Я провел детство в Германии, Испании, Франции. Возвращаясь в Россию и завидев на прусской границе казака на часах, мы с братом Матвеем выскочили

из кареты и бросились его обнимать.

- Я очень рада, что долгое пребывание на чужбине не охладило вашей любви к отечеству, - сказала маменька, когда мы поехали далее. - Но готовьтесь, дети, я должна сообщить вам страшную весть: в России вы найдете то, чего еще не знаете, - рабов.

Мы только потом поняли эту страшную весть: вольность - чужбина, рабство - отечество.

Мы - дети Двенадцатого года. Тогда русский народ единодушным восстанием спас отечество. То восстание - начало этого; Двенадцатый год - начало Двадцать пятого. Мы думали тогда: век славы военной с Наполеоном кончился; наступили времена освобождения народов. И неужели Россия, освободившая Европу из-под ига Наполеона, не свергнет собственного ига? Россия удерживает порывы всех народов к вольности: освободится Россия - освободится весь мир.

Намедни папенька, зайдя ко мне в камеру и увидев мундир мой, запятнанный кровью, сказал:

- Я пришлю тебе новое платье.

- Не нужно, - ответил я, - я умру с пятнами крови, пролитой.

Я хотел сказать: "за отечество", но не сказал: я пролил кровь больше, чем за отечество.

Вот одно из первых моих воспоминаний младенческих. Не знаю, впрочем, сам ли я это помню или только повторяю то, что брат Матвей мне сказывал. В 1801 году, 12 марта, утром после чаю, брат подошел к окну, - мы жили тогда на Фонтанке, у Обухова моста, в доме Юсупова, - выглянул на улицу и спросил маменьку:

- Сегодня Пасха?

- Нет, что ты, Матюша.

- А что ж, вон люди на улице христосуются?

В эту ночь убит был император Павел. Так соединила Россия Христа с вольностью: царь убит - Христос воскрес.

Кровавой чаше причастимся, -
И я скажу: Христос воскрес!

Это - кощунство в устах афея Пушкина. Но он и сам не знал, над какой святыней кощунствовал.

А вот мое показание Следственной комиссии о беседе с Горбачевским, членом Тайного общества Соединенных Славян:

"Утверждаемо было мною, что в случае восстания, в смутные времена переворота, самая твердейшая наша надежда и опора должна быть привязанность к вере, столь сильно существующая в русских; что вера всегда будет сильным двигателем человеческого сердца и укажет людям путь к вольности. На что Горбачевский отвечал мне с видом сомнения и удивления, что он полагает, напротив, что вера противна свободе. Я тогда стал ему доказывать, что мнение сие совершенно ошибочно; что истинная свобода сделалась известною только со времени проповедания христианской веры; и что Франция, впавшая в толикие бедствия во время своего переворота именно от вкравшегося в умы безверия, должна служить нам уроком".

Философ Гегель полагает, что французский переворот есть высшее развитие христианства и что явление оного столь же важно, как явление самого Христа. Нет, не французский переворот б ы л, а переворот истинный б у д е т таким. Якобинская же вольность без Бога - воистину "ужас" - la terreur - человекоубийство ненасытимое, кровавая чаша диавола.

Соединить Христа с вольностью - вот великая мысль, великий свет всеозаряющий.

А может быть, никто никогда не узнает, за что я погиб. Не стены каземата отделяют меня от людей, а стена одиночества. С людьми, на воле, я так же один, как здесь, в тюрьме.

Toujours reveur et solitaire,
Je passerai sur cette terre.
Sans que personne m'ait connu;
Ce n'est pas qu'au bout de ma carriere,
Que par un grand trait de lumiere
On connaitra ce qu'on a perdu*.

---

* Я пройду по земле,
Вечный одинокий мечтатель,
И никто не узнает меня;
Лишь в конце моей жизни
При ярком луче света
Люди узнают, кого они потеряли (фр.).

Так хвастать мог только глупенький мальчик. Увы, пришел мой конец, и никаким светом не озарился мир. Но мне все еще кажется, что была у меня великая мысль, великий свет всеозаряющий; только сказать о них людям я не умел. Знать истину и не уметь сказать - самая страшная из мук человеческих.

Единственный человек в России, который понял бы меня, - Чаадаев. Как сейчас помню наши ночные беседы в 1817 году, в Петербурге, в казармах Семеновского полка; мы тогда вместе служили и вступили в "Союз благоденствия". Помню лицо его, бледное, нежное, как из воску или из мрамора, тонкие губы с вечною усмешкою, серо-голубые глаза, такие грустные, как будто они уже конец мира увидели.

- Преходит образ мира сего, новый мир начинается, - говорил Чаадаев. - К последним обетованиям готовится род человеческий - к Царствию Божьему на земле, как на небе. И не Россия ли, пустая, открытая, белая, как лист бумаги, на коем ничего не написано, - без прошлого, без настоящего, вся в будущем - неожиданность безмерная, une immense spontaneite, - не Россия ли призвана осуществить сии обетования, разгадать загадку человечества?

И все наши беседы кончались молитвой: "Adveniat regnum tuum - Да приидет царствие Твое".

"Да будет один Царь на земле, как на небе, - Иисус Христос". Это слова моего "Катехизиса".

"От умозрений до совершений весьма далече", - ска зал однажды Пестель. И он же - обо мне, брату моему Матвею: "Votre pere est trop pur"*.

Да, слишком чист, потому что слишком умозрителен. Чистота - пустота проклятая. Чистое умозрение в делании - донкишотство, смешное и жалкое. Я ничего не сделал, только унизил великую мысль, уронил святыню в грязь и в кровь. Но я все-таки пробовал сделать, Пестель даже не пробовал.

---

* Ваш брат слишком чист (фр.).

Он был арестован Четырнадцатого, в самый день восстания. Некоторое время колебался и помышлял идти с Вятским полком на Тульчин, арестовать главнокомандующего, весь штаб Второй армии и поднять знамя восстания. Но кончил тем, что сел в коляску и поехал в Тульчин, где его арестовали тотчас.

Умно поступил, умнее нас всех: остался в чистом умозрении.

Я мог бы полюбить Пестеля; но он меня не любит боится или презирает. Ясность ума у него бесконечная. Но всего умом не поймешь. Я кое-что знаю, чего не знает он Надо бы нам соединиться. Может быть, переворот не удался, потому что мы этого не сделали.

Вниз катить камень легко, трудно - подымать вверх. Пестель катит камень вниз, я подымаю вверх. Он хочет политики, я хочу религии: легка политика, трудна религия. Он хочет бывшего, я хочу небывалого.

Не христианин и не раб,
Прощать обид я не умею, -

сказал Рылеев. Христианство - рабство: вот яма, в которую катится все.

Пестель на Юге, Рылеев на Севере - два афея, два вождя российской вольности. А в середине - множество бесчисленное малых сил. "Нынче только дураки да подлецы в Бога веруют", - как сказал мне один русский якобинец, девятнадцатилетний прапорщик.

Не имея Бога, народ почитают за Бога.

- С народом все можно, без народа ничего нельзя, - воскликнул однажды Горбачевский, заспорив со мной о демократии.

- La masse n'est rien; elle ne sera que ce que veulent les individus qui sont tout - Множество - ничто; оно будет только тем, чего хотят личности; личность - все, - ответил я, возмутившись.

Знаю, что это не так; но если нет Бога, пусть мне докажут, что это не так.

"Россия едина, как Бог един", - говорит Пестель, а сам в Бога не верует. Но если нет Бога, то нет и единой, - нет никакой России.

Качу камень вверх, а он катится вниз - работа Сизифова. Я себя не обманываю, я знаю: если переворот в России будет, то не по моему "Катехизису", а по "Русской Правде" Пестеля. О нем вспомнят, обо мне забудут; за ним пойдут все, за мной - никто. Будет и в России то же, что во Франции, - свобода без Бога, кровавая чаша дьявола.

Забудут, но вспомнят; уйдут, но вернутся. Камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделается главою угла. Не спасет Россия, пока не исполнит моего завещания: свобода с Богом.

La Divinite se mire dans le monde. L'Essence Divine ne peut se realiser que dans une infinite de formes finies. La manifestation de l'Eternel dans unt forme finie ne peut etre qu'imparfaite: la forme n'est qu'un s i g n e qui indique sa presance*.

Все дела человеческие - только з н а к и. Я только подал знак тебе, а мой далекий друг в поколениях будущих, как мановением руки, когда уже нет голоса, подает знак умирающий. Не суди же меня за то, что я сделал, а пойми, чего я хотел.

---

* Божество отражается в мире. Божественная сущность может осуществляться только в бесконечности законченных форм. Проявление Всевышнего в законченной форме может быть только несовершенным: форма - лишь знак Его присутствия (фр.).

Мы о восстании не думали и не готовились к оному, когда 22 декабря, едучи с братом Матвеем из города Василькова, под Киевом, где стоял

Черниговский полк, в Житомир, в корпусную квартиру, - на последней станции, от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, получили первую весть о Четырнадцатом.

В корпусной квартире узнали, что Тайное общество открыто правительством и аресты начались. А на обратном пути в Васильков мой друг Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, подпоручик Полтавского полка, сообщил мне, что полковой командир Гебель гонится за мною с жандармами.

Я решил пробраться в Черниговский полк, чтобы там поднять восстание. Я понимал всю отчаянность оного: борьба горсти людей с исполинскими силами правительства была верх безрассудства. Но я не мог покинуть восставших на Севере.

Мы продолжали путь в Васильков глухими проселками, скрываясь от Гебеля. Снегу было мало, колоть страшная; коляска наша сломалась. Мы наняли жидовскую форшпанку в Бердичеве и едва дотащились к ночи 28-го до селения Трилесы, на старой Киевской дороге, в сорока пяти верстах от Василькова. Остановились в казачьей хате, на квартире поручика Кузьмина. Измученные дорогой, тотчас легли спать.

Ночью прискакал Гебель с жандармским поручиком Лангом, расставил часовых, разбудил нас и объявил, что арестует по высочайшему повелению. Мы отдали ему шпаги, - рады были, что дело кончится без лишних жертв, - и пригласили его напиться чаю.

Пока сидели за чаем, наступило утро, и в хату вошли четверо офицеров, ротные командиры моего батальона, - Кузьмин, Соловьев, Сухинов и Щепило - члены Тайного общества, приехавшие из Василькова для моего освобождения. Гебель вышел к ним в сени и начал выговаривать за самовольную отлучку от команд. Произошла ссора. Голоса становились все громче. Вдруг кто-то крикнул:

- Убить подлеца!

Все четверо бросились на Гебеля и, выхватив ружья у часовых, начали его бить прикладами, колоть штыками и шпагами, куда попало, - в грудь, в живот, в руки, в ноги, в спину, в голову. Роста огромного, сложения богатырского, он перетрусил так, что почти не оборонялся, только всхлипывал жалобно:

- Ой, панна Матка Бога! Ой, свента Матка Мария!

Густав Иванович Гебель - родом поляк, но считает себя русским и никогда не говорит по-польски, а тут вдруг вспомнил родной язык.

Часовые, большею частью молодые рекруты, не подумали защитить своего командира. Все нижние чины ненавидели его за истязания палками и розгами и называли не иначе как "зверем".

Офицеры били, били его и все не могли убить. Сени были тесные, темные: в темноте и тесноте мешали друг другу. От ярости наносили удары слепые, неверные. Били без толку, как пьяные или сонные.

- Живуч, дьявол! - кричал кто-то не своим голосом.

Добравшись до двери, Гебель хотел выскочить. Но его схватили за волосы, повалили на пол и, навалившись кучей, продолжали бить. Думали, сейчас конец; но, собрав последние силы, он встал на ноги и почти вынес на своих плечах двух офицеров, Кузьмина и Щепилу, из сеней на двор.

В это время мы с братом уже были на дворе: выбили оконную раму и выскочили.

Не понимаю, что со мною сделалось, когда я увидел израненного, окровавленного Гебеля и страшные, как бы сонные, лица товарищей.

Иногда во сне видишь черта, и не то что видишь, а по вдруг навалившейся тяжести знаешь, что это - он. Такая тяжесть на меня навалилась. Помню также, как раз в детстве я убивал сороконожку, которая едва не ужалила меня; бил, бил ее камнем и все не мог убить: полураздавленная, она шевелилась так отвратительно, что я, наконец, не вынес, бросил и убежал.

Так, должно быть, брат Матвей убежал от Гебеля. А я остался: как будто, глядя на сонные лица, тоже вдруг заснул.

Схватил ружье и начал его бить прикладом по голове. Он прислонился к стене, съежился и закрыл голову руками. Я бил по рукам. Помню тупой стук дерева по костям раздробляемых пальцев; помню на указательном, пухлом и белом, золотое кольцо с хризолитом и как из-под него брызнула кровь; помню, как он всхлипывал:

- Ой, панна Матка Бога! Ой, свента Матка Мария!

Не знаю, может быть, мне было жаль его и я хотел кончить истязание -

убить. Но чувствовал, что удары - слабые, сонные, что так нельзя убить, и что этому конца не будет; а все-таки продолжал бить, изнемогая от омерзения и ужаса.

- Бросьте, бросьте, Сергей Иванович! Что вы делаете? - крикнул кто-то, схватил меня за руку и оттащил.

Я опомнился и почувствовал, что ознобил себе пальцы о ружейный ствол на морозе.

А те все кончали и не могли кончить. То опоминались, переставали бить, то опять начинали. Кузьмин так глубоко вонзал шпагу, что должен был каждый раз делать усилие, чтобы выдернуть. Но казалось, что шпага проходит сквозь тело Гебеля, не причиняя вреда, как сквозь тело призрака, и что это уже не Гебель, а кто-то другой, бессмертный.

- Живуч, дьявол!

Наконец, когда все его на минуту оставили, он пошел к воротам, шатаясь, в беспамятстве, и вышел на улицу. Рядом была корчма и стояли дровни. Он свалился на них без чувств. Лошади понесли на двор к хозяину, управителю села. Тут сняли его, укрыли и отправили в Васильков.

Гебель получил тринадцать тяжелых ран, не считая легких, но остался жив и, должно быть, нас всех переживет.

Так-то мы "кровавой чаше причастились".

Когда офицеры объявили солдатам о моем освобождении, успех был неимоверный. Все, как один человек, присоединились к нам и готовы были следовать за мной, куда бы я их ни повел. В тот же день, 29 декабря, с пятой мушкатерской ротой я выступил в поход на Васильков.

30-го, после полудня, мы подошли к городу. Против нас была выставлена цепь стрелков. Но когда мы приблизились так, что можно было видеть лица солдат, они закричали: "Ура!" - и соединились с нашими ротами. Мы вошли в город и достигли площади без всякого сопротивления. Заняли караулами гауптвахту, полковой штаб, острог, казначейство и городские заставы.

Вечером я отдал приказ на следующий день, в 9 часов утра, собраться всем ротам на площади.

Товарищи всю ночь готовились к походу и прибегали ко мне за приказами. Но я, запершись в своей комнате, никого не пускал. Мы с Бестужевым исправляли и переписывали "Катехизис".

Мысль об оном была почерпнута нами из сочинения господина де Сальванди*, "Don Alonso ou l'Espagne"*, где изложен "Катехизис", коим испанские монахи в 1809 году возмущали народ против ига Наполеона.

____

* Де С а л ь в а н д и Нарсис-Ашиль (1795 - 1856) - граф, французский государственный деятель, историк, литератор, публицист.

* "Дон Алонсо, или Испания" (фр.).

Младенчество провел я в Испании: батюшка мой, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, был в Мадриде посланником. И вот захотел я повторить младенчество в мужестве, перенести в Россию Испанию.

- Ce sont vos chateaux d'Espagne, qui vous ont perdu, mon ami*, - как изволил пошутить надо мной генерал Бенкендорф на допросе в Следственной комиссии.

____

* Эти ваши испанские замки погубили вас, мой друг. Игра слов: chateau d'Espagne - воздушный замок (фр.).

Кончив писать "Катехизис", продиктовали его трем писцам полковой канцелярии, велев изготовить двенадцать списков. Утром я призвал к себе подпоручика Мазалевского и, отдав ему запечатанный пакет со списками, велел надеть партикулярное платье, пробраться в Киев с тремя нижними чинами в шинелях без погон и пускать "Катехизис" в народ.

Мазалевский исполнил мое поручение в точности. Пробрался глухими дорогами в Киев и велел нижним чинам, разойдясь в разные стороны по Печерску и Подолу, подбрасывать списки в подворотни, в шинках и кабаках. Так они и сделали.

Должно быть, "Катехизис" мой, благая весть о Царствии Божием, там и поныне в кабацких подворотнях валяется. О, донкишотство беспредельное!

Когда роты собрались на площади, я послал за полковым священником.

Отец Данила Кейзер (странное имя - из немецких колонистов, что ли?) - совсем еще молоденький мальчик, лет двадцати шести, худенький, чахоточный, с белой, как лен, жидкой косичкой, - такие косички у деревенских девочек.

Когда я начал изъяснять ему цель восстания, он побледнел и затрясся, даже весь вспотел от страха.

- Не погубите, ваше высокоблагородие! Жена, дети...

Глядя на сего испуганного зайчика, воина Царства Божьего, понял я еще раз, сколь от умозрений до совершений далече.

Вот показание самого отца Данилы в вопросных пунктах Следственной комиссии, изложенное для моего обличения. Отвечая на пункты, я тогда же списал сие показание, дабы сохранить для потомства.

"31 декабря, придя ко мне на квартиру, 2-й гренадерской роты унтер-офицер в боевой амуниции, часу в 11-м перед обедом, объяснил мне словесно приказ подполковника Муравьева-Апостола, дабы я тотчас шел к нему с крестом для служения молебна, где читать будут и "Катехизис". Почему я, быв объят величайшим страхом, не знал, к кому прибегнуть для защиты, но не смел уже ослушаться и послал дьячка Ивана Охлестина в полковую церковь для взятия молебной книжицы и сокращенного "Катехизиса", и когда оный дьячок возвратился ко мне с книгами, то я пошел с причтом на квартиру Муравьева, где находилось довольно офицеров. По недавнему же моему определению в полк, я не только оных офицеров не знал, но и самого Муравьева в первый раз отроду видел, который мне приказал никуда от него не отлучаться из квартиры, где я и стоял у порога с полчаса перед ним и находившимися там офицерами; когда, подойдя ко мне из оных какой-то офицер спросил у меня, совсем ли я готов; на что я ему отвечал: "Молебная книжица и сокращенный печатный "Катехизис" у меня есть". Но тотчас же офицер, взяв у дьячка сказанный "Катехизис", развернул и сказал, что у них есть свой писаный "Катехизис". В то время Муравьев, изменив свое слово, сказал мне, что молебна служить не надобно, а что-нибудь покороче. Я же, видя такое странное дело, хотя и не разумел, что они между собой по-французски разговаривали, но, усмотрев на столе несколько пистолетов заряженных, часовых в комнате и на дворе, с заряженными ружьями, - испугался, и более тогда, когда мысленно полагал оттуда выйти, но не осмелился. А как Муравьев уже надел на себя род армянской шапки и шарф и, отходя с офицерами к построенным на площади ротам, приказал мне вместе с ними идти туда же; где он, подъехав верхом к фронту, скомандовал, и нижние чины составили круг, а офицеры, войдя на середину с заряженными пистолетами и некоторые с кинжалами, окружили меня; и тогда я, по приказанию Муравьева, надел на себя ризы, с причтом пропел Царю Небесный, Отче Наш, тропарь Рождества Христова и кондак, а более ничего по положению уставному не делал. И потом какой-то офицер дал мне бумагу, которую я прежде никогда не видал и никогда не слыхал, что именно в ней было написано; ибо тот или другой офицер, стоя за мной, читал наизусть оную, а я, будучи в таком необыкновенном страхе, принужден был повторять ее, не помня, что в ней содержалось. И произносил ли я при том уже какие другие слова, совершенно не помню".

Бедный отец Данила, российской вольности невольный мученик!

Утро было солнечное. За ночь выпал первый снег. Зима стала и, как часто бывает на Украине, вдруг весной сквозь зиму повеяло. В тени - мороз, а на солнце тает. Воробьи чирикают, воркуют голуби на солнечном угреве золотых церковных куполов. В садах вишни и яблони, разубранные инеем, стоят, как в вешнем цвету, белые. И под снегом темными кажутся белые стены казацких мазанок и еще грязнее - грязные домишки жидовские.

Глядя в небо, голубое, глубокое, вспоминал я, как украинские девушки в ночь под Рождество колядуют: "Бывай же здоров, да не сам с собой, а с м и л ы м Б о г о м". В милом небе - милый Бог.

Роты построились на площади в густую колонну, в полной боевой амуниции. Я сидел верхом перед фронтом и знаменами.

Отец Данила, ни жив ни мертв, читал "Катехизис" таким слабым голосом, что почти ничего не было слышно. Бестужев подошел к нему, взял у него бумагу и начал громко, торжественно:

- "Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Для чего Бог создал человека?

Для того, чтобы он в Него веровал, был свободен и счастлив.

Для чего же русский народ и воинство несчастны?

Для того, что самовластные цари похитили у них свободу.

Что же наш святой закон повелевает делать русскому народу и воинству? Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, установить правление, сходное с законом Божиим".

Казалось, не только солдаты, внимательно-жадные, и перепуганные васильковские жители - городничий Притуленко, судья Драганчук, почтмейстер Безносиков, и канцелярист со щекою подвязанной, и степной барин-помещик, и старый казак сивоусый, и толстая баба-перекупка, и два тощих жидка в черных ермолках, с рыжими пейсами, - не только все эти люди, но и уныло желтые стены уездного казначейства, полкового цейхгауза, провиантских магазейнов - с несказанным удивлением слушали, как будто говоря: "Не то! Не то!" А воркующие на угреве голуби, и вишни в снегу, как в цвету, и слезы звонкой капели, и голубое, глубокое небо отвечали: "То самое! То самое!"

- "Христос рек: не будьте рабами человеков, яко искуплены кровию Моею, - продолжал читать Бестужев все громче и торжественнее. - Мир не внял святому повелению сему и впал в бездну бедствий. Но страданья наши тронули Всевышнего: днесь Он посылает нам свободу и спасение. Российское воинство грядет восстановить веру и вольность в России, да будет один царь на небеси и на земли - Иисус Христос".

Когда он кончил, наступила тишина, и в тишине раздался мой голос. Что я говорил, не помню. Помню только, что была такая минута, когда мне казалось, что они вдруг поняли все. Пусть я умру, ничего не сделав, - за эту минуту умереть стоило!

Я снял шапку, перекрестился, поднял шпагу и закричал:

- Ребята! За веру и вольность! За Царя Христа! Ура!

- Ура! - ответили сначала робко, сомнительно, а потом вдруг несомненно, неистово:

- Ура, Константин!

Глупо было кричать: "Ура, Иисус Христос!" - так вот кто-то и крикнул умно: "Ура, Константин!", и все подхватили, обрадовались, поняли, что это - "то самое, то самое".

И я тоже понял, как будто вдруг заснул тем страшным сном, как намедни, и увидел Гебеля, израненного, окровавленного: он прислонился к стене, съежился, закрыл руками голову, а я ружейным прикладом бил, бил его - хотел убить и не мог: "Живуч, дьявол!"

Дьявол надо мной смеялся смехом торжествующим:

- Ура, ура, ура, Константин!

Нет, больше не могу вспоминать: стыдно, страшно. Да и некогда: скоро смерть.

Пусть же другие расскажут, чем кончился поход мой за Царя Христа или царя Константина; как четверо суток кружились мы все на одном и том же месте, как будто заколдованном, между Васильковом и Белою Церковью, около Трилес, где избивали Гебеля; все ждали помощи, но никто не помог, - все обманули, предали. Сначала столько было охотников, что мы не знали, как от них отделаться, а потом офицеры стали, один за другим, отставать, убегать к начальству в Киев, кто как мог, - иные даже в шлафроках. И дух в войске упал. Когда солдаты просили у меня позволения "маленько пограбить", а я запретил, - начались ропоты: "Не за царя Константина, а за какую-то вольность идет Муравьев!" - "Один Бог на небе, один царь на земле, - Муравьев обманывает нас!"

Еще в Василькове, по питейным домам были шалости. А во время похода, у каждой корчмы, впереди по дороге, ставились часовые, но они же напивались первые.

Никогда не забуду, как пьяненький солдатик, из шинка вываливаясь, кричал с матерной бранью:

- Никого не боюсь! Гуляй, душа! Теперь вольность!

По всем шинкам разговоры пошли об имеемой быть резанине: "Надо бы два дня ножи вострить, а потом резать: указ вышел от царя, чтобы резать всех панов и жидов, так чтобы и на свете их не было".

В шинке у Мордки Шмулиса казак из Чугуева сказывал: "Як бы резанина тут началась, то я б не требовал ни пики, ни ратища, а только шпицу застругавши да осмоливши, снизал бы на нее семьдесят панков да семьдесят жидков". А какой-то солдат из Белой Церкви обещал: "Когда запоют: "Христос воскресе", в Светлую заутреню, тогда и начнут резать".

Так-то соединил народ Христа с вольностью!

Пусть другие расскажут, как шесть лучших рот моего батальона, краса и

гордость полка, превратились в разбойничью шайку, в пугачевскую пьяную сволочь. Не успел я опомниться, как это уж сделалось: как молоко скисает в грозу, так сразу скисло все.

Тогда-то понял я самое страшное: для русского народа вольность значит буйство, распутство, злодейство, братоубийство неутолимое; рабство - с Богом, вольность - с дьяволом.

И кто знает, согласись я быть атаманом этой разбойничьей шайки, новым Пугачевым, - может быть, они бы меня и не выдали: отовсюду бы слетелись мне на помощь дьяволы. Пошли бы мы на Киев, на Москву, на Петербург и, пожалуй, царством Российским тряхнули бы.

Третьего января, во втором часу пополудни, на высотах Устимовских, близ селения Пологи, встретили нас четыре эскадрона мариупольских гусар с двумя орудиями, под командой генерал-майора Гейсмара. Начальство струсило так, что против моей тысячной горсти двинуло из Киева почти все полки 3-го корпуса. Отряд Гейсмара был только разведкою. Мы знали, что в этом отряде все командиры - члены Тайного общества, а что накануне арестовали их и заменили другими, - не знали. Обрадовались, что идут к нам на помощь, обезумели от радости - в чудо поверили. И не мы одни - солдаты тоже, все до последнего.

Опять такой же был день лучезарный, как 31-го; такое же небо голубое, глубокое, милое - с "милым Богом". И опять, как тогда, на Васильковской площади, была такая минута, когда мне казалось, что они все поняли, и разбойничья шайка - Божье воинство.

Солдаты шли прямо на пушки с мужеством бестрепетным. Грянул выстрел, ядро просвистело над головами. Мы все шли. Завизжала картечь. Огонь был убийственный. Раненые падали. Мы все шли - в чудо верили.

Вдруг меня по голове точно палкой ударили. Я упал с лошади и уткнулся лицом в снег. Очнувшись, увидел Бестужева. Он поднимал меня и вытирал лицо мое платком: оно было залито кровью. Платок вымок, а кровь все лилась. Я ранен был картечью в голову.

Ефрейтор Лазыкин, любимец мой, подошел ко мне. Я не узнал его: так неестественно сморщился и так странно, по-бабьи, всхлипывал:

- За что ты нас погубил, изверг, сукин сын, анафема!

Вдруг поднял штык и бросился на меня. Кто-то защитил. Солдаты окружили нас и повели к гусарам.

Я потом узнал, что побросали ружья и сдались, не сделав ни одного выстрела, когда поняли, что чуда не будет.

Вечером перевезли нас под конвоем в Трилесы - опять это место проклятое, - и посадили в пустую корчму. Брат Матвей достал кровать и уложил меня. От потери крови из неперевязанной раны у меня делались частые обмороки. Трудно было лежать: брат поднял меня и положил к себе на плечо мою голову.

Против нас в углу, на соломе, лежал Кузьмин, тоже раненый: все кости правого плеча раздроблены были картечной пулей. Должно быть, боль была нестерпимая, но он скрывал ее, не простонал ни разу, так что никто не знал, что он ранен.

Стемнело. Подали огонь. Кузьмин попросил брата подойти к нему. Тот молча указал на мою голову. Тогда Кузьмин с усилием подполз, пожал ему руку тем тайным пожатием, по коему Соединенные Славяне узнавали своих, и опять отполз в свой угол. Никому говорить не хотелось; все молчали.

Вдруг раздался выстрел. Я упал без чувств. Когда очнулся - сквозь пороховой дым, еще наполнявший комнату, увидел в углу, на соломе, Кузьмина с головой окровавленной. Выстрелом в висок из пистолета, спрятанного в рукаве шинели, он убил себя наповал.

"Свобода или смерть", - клялся и клятву исполнил.

На Устимовской высоте погиб и младший брат мой, Ипполит Иванович Муравьев-Апостол, девятнадцатилетний юноша.

Тридцать первого декабря, перед самым выступлением нашим в поход, он подъехал на почтовой тройке прямо на Васильковскую площадь. Только что блистательно выдержав экзамен в Школе колонновожатых, произведен был в офицеры и назначен в штаб Второй армии. Выехал из Петербурга 13-го, с вестью к нам от Северного общества о начале восстания и с просьбой о помощи.

Я хотел его спасти, умолял ехать дальше, но он остался с нами. Больше всех верил в чудо. Тут же, на площади, обменялся с Кузьминым пистолетами, тоже поклялся: "Свобода или смерть", - и клятву исполнил. На Устимовской высоте, видя, что я упал, пораженный картечью, и думая, что я убит, убил себя выстрелом в рот.

Четвертого января, на рассвете, подали сани, чтобы везти нас с братом Матвеем в Белую Церковь. Мы просили конвойных позволить нам проститься с Ипполитом. Конвойные долго не соглашались; наконец, повели нас в нежилую хату. Здесь, в пустой, темной и холодной комнате, на голом полу, лежали голые тела убитых: должно быть, гусары не постыдились ограбить их - раздели донага. Между ними и тело Ипполита. Нагота его была прекрасна, как нагота юного бога. Лицо не обезображено выстрелом - только на левой щеке, под глазом, маленькое темное пятнышко. Выражение лица гордо-спокойное.

Брат помог мне встать на колени. Я поцеловал мертвого в губы и сказал:

- До свидания!

Странно: совесть мучает меня за всех, кого я погубил, но не за него - чистейшую жертву чистейшей любви.

Я тогда сказал: "До свидания", и теперь уже знаю, что свидание будет скоро. Ты первый встретишь меня там, мой Ипполит, мой ангел с белыми крыльями!

Завтра, 12 июля, объявляют приговор.

Приговор объявлен: Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и меня - четвертовать. Но, "сообразуясь с высокомонаршею милостью", приговор смягчен: "повесить". Сочли милостью заменить четвертование виселицей. А я все-таки думаю, что нас расстреляют: никогда еще в России офицеров не вешали.

Тот же приговор и над убитыми - Кузьминым, Щепилой, Ипполитом Муравьевым-Апостолом: "четвертовать"; но так как нельзя четвертовать и вешать мертвых, то "по оглашению приговора, поставя на могиле их, вместо крестов, виселицы, - прибить на оных имена их к посрамлению вечному".

Свалят всех, как собак, в одну общую яму, могилу бескрестную, должно быть, там, в Белой Церкви, близ высот Устимовских.

"Белая Церковь" - имя вещее. Да, будет, будет над ними Церковь Белая!

Помню свидание мое с императором Николаем Павловичем. Он обещал нас всех помиловать, обнимал меня, целовал, плакал: "Я, может быть, не менее вас достоин жалости. Je ne suis qu'un pauvre diable"*.

Бедный диавол, самый бедный из диаволов! Прости ему Господь: он сам не знает, что делает.

* Я только бедный малый (фр.).

Завтра казнь. Расстреляют ли, повесят, мне все равно - только бы скорей. Приму смерть, как лучший дар Божий.

Брат Матвей мне завидует: говорит, что смерть была бы для него блаженством. Только о самоубийстве и думает. Хочет уморить себя голодом. Я ему пишу, заклинаю памятью покойной матушки не посягать на свою жизнь: "Душа, бежавшая с своего места прежде времени, получит гнусную обитель с теми, кого любила, разлучена будет навеки". Пишу, а сам думаю: со сломанной ногой нельзя ходить - со сломанной душой нельзя жить.

Брат Матвей не хочет жить, а Бестужев - умирать. 23 года - почти ребенок. Смертного приговора не ждал, до последней минуты надеялся.

Тоскует, ужасается. Вот и сейчас слышу: мечется по камере, бьется, как птица в клетке. Не могу я этого вынести!

Брат Матвей и Бестужев - противоположные крайности. Один слишком тяжел, другой слишком легок: как две чаши весов, а я между ними - как стрелка вечнодрожащая. Брат Матвей совсем не верил в чудо, Бестужев совсем верил, а я полуверил. Может быть, оттого и погиб.

Видел во сне Ипполита и маменьку. Такая радость, какой никогда наяву не бывает. Оба говорили, что я - глупенький, не знаю чего-то главного.

Сижу в 12-м номере Кронверкской куртины, а рядом со мной, в 11-й, перевели Валериана Михайловича Голицына из Алексеевского равелина. Когда казематы наполнились так, что не хватало места, перегородили их, наподобие клеток, деревянными стенами. Бревна из сырого леса рассохлись: между ними - щели. В одну из таких щелей переговариваемся с Голицыным. Люблю его. Он все понимает: тоже друг Чаадаева. Жаль, что записывать некогда. Говорили о Сыне и Духе, о Земле Пречистой Матери. И так же, как во сне, я чувствовал, что не знаю чего-то главного.

Отдам Голицыну эти листки; пусть прочтет и передаст отцу Петру Мысловскому: он обещал сохранить.

В последние дни пишу свободно, не прячу. Никто за мной не следит. Чернил и бумаги дают вволю. Балуют - ласкают жертву.

Но надо кончать: сегодня ночью - казнь. Запечатаю бутылку и брошу в океан будущего.

Солнце заходит - мое последнее солнце. И сегодня такое же кровавое, как все эти дни. От палящего зноя и засухи горят леса и торфяные болота в окрестностях города. В воздухе - гарь. Солнце восходит и заходит, как тускло-красный шар, и днем рдеет сквозь дым, как головня обгорелая.

О, это кровавое солнце, кровавый факел Евменид, может быть, для нас над Россией взошедшее и уже незакатное!

Я видел сон.

С восставшими ротами, шайкой разбойничьей, я прошел по всей России победителем. Всюду вольность без Бога - злодейство, братоубийство неутолимое. И надо всей Россией черным пожарищем - солнце кровавое, кровавая чаша диавола. И вся Россия - разбойничья шайка, пьяная сволочь - идет за мной и кричит:

- Ура, Пугачев - Муравьев! Ура, Иисус Христос!

Мне уже не страшен этот сон, но не будет ли он страшен внукам и правнукам?

Нет, Чаадаев не прав: Россия не белый лист бумаги, - на ней уже написано: Ц а р с т в о З в е р я. Страшен царь Зверь; но, может быть, еще страшнее Зверь-народ.

Россия не спасется, пока из недр ее не вырвется крик боли и раскаяния, которого отзвук наполнит весь мир.

Слышу поступь тяжкую: Зверь идет.

Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спаси Россию!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

"Когда я вступаю в каземат Сергея Ивановича, мною овладевает такое же благоговейное чувство, как при вшествии в алтарь перед божественною службою". Эти слова отца Мысловского вспомнил Голицын, когда прочел Записки Муравьева, "Завещание России".

Окно камеры было открыто: в эти июльские, нестерпимо знойные дни начальство позволило открывать окна: иначе арестанты задохлись бы. В ночной тишине доносился с Кронверкского вала глухой стук топора и молота. Голицын, пока читал, не слышал его; но, дочитав, прислушался.

"Стук-стук-стук". Тишина - и опять: "Стук-стук-стук".

"Что они делают?" - думал он.

Еще с утра заметил на валу работающих плотников: что-то строили; то поднимали, то опускали два черных столба. Генерал-адъютант верхом, в шляпе с белым султаном, глядел в лорнет на работу плотников. Потом все ушли.

И вот опять: "Стук-стук-стук". Подошел к окну, выглянул. Июльская ночь была светлая, но в воздухе, как все эти дни, - гарь, дым и мгла. В мгле, на валу, копошились тени; то поднимали, то опускали два черных столба. "Что они делают? Что они делают?" - думал Голицын.

А в соседней камере слышался шепот: Муравьев сквозь щель в стене шептался с Бестужевым, приготовлял его к смерти.

Голицын лег на койку и закутался с головой в одеяло. Вспомнил вчерашний разговор с отцом Петром о пяти осужденных на смерть. "Не пугайтесь того, что я вам скажу, - говорил Мысловский. - Их поведут на виселицу, но в последнюю минуту прискачет гонец с царскою милостью". - "Да ведь конфирмация уже подписана", - возражал Голицын. "Конфирмация - декорация!" - шептал отец Петр с таинственным видом.

И другие слухи о помиловании вспоминал Голицын с жадностью.

Все тюремное начальство уверено было, что смертной казни не будет. "Помилуют, - твердил плац-майор Подушкин, - смертная казнь отменена по законам Российской империи: разве может государь нарушить закон?" "Помилуют, - твердили часовые, - сам государь виноват в Четырнадцатом; за что же казнить?"

А императрица Мария Федоровна получила будто бы от государя письмо, в котором он успокаивал ее, что крови по приговору не будет. Императрица Александра Федоровна на коленях умоляла о помиловании. "Удивлю Россию и Европу", - обещал государь герцогу Веллингтону.

На приговор Верховного суда ответил, что "не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, яко казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную". Судьи решили: "повесить"; ведь петля тоже без крови. Но, может быть, ошиблись: не повесить, а помиловать?

Напрасно Голицын кутался с головою в одеяло: "Стук-стук-стук". Тишина - и опять: "Стук-стук-стук".

"Кто же казнит? Царь или Россия, Зверь или Царство Зверя?" - вдруг подумал он и вскочил в ужасе. Там, на валу, то поднимаются, то опускаются два черных столба, и на них судьба России колеблется, как на страшных весах. "Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему; но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего"*.

---

* Евангелие от Луки. XIX, 42 - 44.

Голицын упал на колени и соединил свой шепот с долетавшим из-за стены предсмертным шепотом:

- Россия гибнет, Россия гибнет! Боже, спаси Россию!

Рылеев, когда вышел от него отец Петр, исповедав и причастив его, вынул часы и посмотрел: девятнадцать минут первого. Знал, что придут за ним в три. Осталось два часа сорок одна минута. Положил часы на стол и следил, как ползет стрелка: девятнадцать, двадцать, двадцать одна минута. Ну, что ж, страшно? Нет, не страшно, а только удивительно. Похоже на то, что вычитал в астрономической книжке: если бы человек попал на маленькую планету, то мог бы подымать шутя самые страшные тяжести; огромные, валящиеся на него камни отшвыривать, как легкие мячики.

Или еще похоже на "магнитное состояние" (когда-то занимался месмеризмом и тоже об этом вычитал): в тело ясновидящей вонзают иголку, а она ее не чувствует. Так он вонзал в душу свою иглы, пробовал одну за другой, - не уколет ли?

Страх не колол, а злоба? Вспомнил злобу свою на государя: "Обманул, оподлил, развратил, измучил, надругался - и вот теперь убивает". Но и злобы не было. Понял, что сердиться на него все равно что бить кулаком по стене, о которую ушибся.

А стыд? Бывало, раскаленным железом жег стыд, когда вспоминал, как на очной ставке Каховский ударил его по лицу и закричал: "Подлец!" Но теперь и стыд не жег: потух, как раскаленное железо в воде. Пусть не узнает Каховский, пусть никто никогда не узнает, что он, Рылеев, не подлец, - довольно с него и того, что он сам это знает.

Еще одну последнюю, самую острую иглу попробовал - жалость. Вспомнил Наташу. Начал перебирать ее письма. Прочел:

"Ах, милый друг мой, не знаю сама, что я. Между страхом и надеждою жду решительной минуты. Представь себе мое положение: одна в мире с невинною сиротою! Тебя одного имели и все счастие полагали в тебе. Молю Всемогущего, да утешит меня известием, что ты невинен. Я знаю душу твою: ты никогда не желал зла, всегда делал добро. Заклинаю тебя, не унывай, в надежде на благость Господню и на сострадание ангелоподобного государя. Прости, несчастный мой страдалец. Да будет благость Божия с тобою! Фуфайку и два ночных колпака пришлю с бельем. Настенька здорова. Она думает, что ты в Москве. Я ее предупреждаю, что скоро поедем к папеньке. Она рада, суетится, спрашивает: скоро ли?"

Тут же - рукой Настеньки - большими детскими буквами:

"Миленькой папенька, целую вашу ручку. Приезжайте поскорее, я по вас скучилась. Поедемте к бабиньке".

Вдруг почувствовал, что глаза застилает что-то. Неужели слезы? Пройдя сквозь мертвое тело, игла вонзилась в живое. Больно? Да, но не очень. Вот и прошло. Только подумал: хорошо, что не захотел предсмертного свидания с Наташей; напугал бы ее до смерти: живым страшны мертвые; чем роднее, тем страшнее.

Вспомнил, что надо ей написать. Сел за стол, обмакнул перо в чернила, но не знал, что писать. Принуждал себя, сочинял: "Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить. О, милый друг, как спасительно быть христианином!"

Усмехнулся. Намедни отец Петр сообщил ему отказ архиереев, членов Верховного суда, подписать смертный приговор: "Какая будет сентенция, от оной не отрицаемся, но поелику мы духовного сана, то к подписанию оной приступить не можем". Так и у него все выходит "поелику".

Давеча, перебирая Наташины письма, нашел свои черновые записки к ней, большею частью о делах денежных и хозяйственных. Заглянул и в них.

"Надобно внести в ломбард 700 рублей... Портному, жиду Яухце, отдай долг, если узнаешь, что Каховский не может заплатить... Акции мои лежат в бюро, в верхнем ящике, с левой стороны... В деревне вели овес и сено продать... Отпустить бы на волю старосту Конона, да жаль, честный старик, нынче таких не сыскать..."

Как человек, глядя на свой старый портрет, удивляется, так он удивлялся: "Неужели это я?"

Вдруг стало тошно.

Мне тошно здесь, как на чужбине.
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст криле мне голубине,
Да полечу и почию?
Весь мир, как смрадная могила;
Душа из тела рвется вон...

Смрадом смерти от жизни пахнуло. Должно быть, не только мертвые живым смердят, но и живые - мертвым.

Взглянул на образ - не помолиться ли? Нет, молитва кончена. Теперь уже все - молитва: дышит - молится и будет в петле задыхаться - будет молиться.

Опять о чем-то задумался, но странно, как будто без мыслей. Мыслей не видно было, как в колесе быстро вертящемся не видно спиц. Только повторял с удивлением возрастающим: "Вот оно, вот оно, то - то - то!"

Устал, прилег. Подумал: "Как бы не заснуть; говорят, осужденные на смерть особенно крепко спят", - и заснул.

Проснулся от стука шагов и хлопанья дверей в коридоре. Вскочил, бросился к часам: четвертый час. Загремели замки и засовы. Ужас оледенил его, как будто всего с головой окунули в холодную воду.

Но, когда взглянул на лица вошедшего плац-майора Подушкина и сторожа Трофимова, - ужас мгновенно прошел, как будто он снял его с себя и передал им: им страшно, а не ему.

- Сейчас, Егор Михайлович? - спросил Подушкина.

- Нет, еще времени много. Я бы не пришел, да там что-то торопят, а все равно не готово...

Рылеев понял: не готова виселица. Подушкин не смотрел ему в глаза, как будто стыдился. И Трофимов - тоже. Рылеев заметил, что ему самому стыдно. Это был стыд смерти, подобный чувству обнаженности: как одежда снимается с тела, так тело - с души.

Трофимов принес кандалы, арестантское платье, - Рылеев был во фраке, как взят при аресте, - и чистую рубашку из последней присылки Наташиной: по русскому обычаю надевают чистое белье на умирающих.

Переодевшись, он сел за стол и, пока Трофимов надевал ему железа на ноги, начал писать письмо к Наташе. Опять все выходило "поелику"; но он уже не смущался: поймет и так. Одно только вышло от сердца: "Мой друг, ты счастливила меня в продолжение восьми лет. Слова не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Да будет Его святая воля".

Вошел отец Петр. Заговорил о покаянии, прощении, о покорности воле Божьей. Но, заметив, что Рылеев не слушает, кончил просто:

- Ну, что, Кондратий Федорович, может быть, еще что прикажете?

- Нет, что же еще? Кажется, все, отец Петр, - ответил Рылеев так же просто и улыбнулся, хотел пошутить: "А конфирмация-то не декорация!" Но, взглянув на Мысловского, увидел, что ему так стыдно и страшно, что пожалел его. Взял руку его и приложил к своему сердцу.

- Слышите, как бьется?

- Слышу.

- Ровно?

- Ровно.

Вынул из кармана платок и подал ему:

- Государю отдайте. Не забудете?

- Не забуду. А что сказать?

- Ничего. Он уж знает.

Это был платок, которым Николай утирал слезы Рылеева, когда он на допросе плакал у ног его, умиленный, "растерзанный" царскою милостью.

Подушкин вышел и вернулся с таким видом, что Рылеев понял, что пора.

Встал, перекрестился на образ; перекрестил Трофимова, Подушкина и самого отца Петра, улыбаясь ему, как будто хотел сказать: "Да, теперь уж не ты - меня, а я - тебя". Крестил во все стороны, как бы друзей и врагов невидимых; казалось, делал это не сам, а кто-то приказывал ему, и он только слушался. Движения были такие твердые, властные, что никто не удивился, все приняли как должное.

- Ну, что ж, Егор Михайлович, я готов, - сказал, и все вышли из камеры.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Каховский остался верен себе до конца: "Я жил один - один умру".

Встречаясь в коридоре с товарищами, ни с кем не заговаривал, никому не подавал руки: продолжал считать всех "подлецами". Ожесточился, окаменел.

Дни и ночи проводил за чтением. Книги посылала ему плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна. Окно его камеры выходило прямо на окна квартиры Подушкина. Старая девица влюбилась в Каховского. Сидя у окна, играла на гитаре и пела:

Он, сидя в башне за стенами,
Лишен там, бедненький, всего.
Жалеть бы стали вы и сами,
Когда б увидели его!

Каховский имел сердце нежное, а глаза близорукие: лица ее не видел, - видел только платья всех цветов радуги - голубые, зеленые, желтые, розовые. Она казалась ему прекрасной, как Дон Кихоту - Дульсинея.

На книги набросился с жадностью. Особенно полюбил "Божественную комедию". Путешествовал в чужих краях, бывал в Италии и немного понимал по-итальянски.

Фарината и Капаней приводили его в восхищение. "Quel magnanimo, сей великодушный" - Фарината дельи Уберти мучается в шестом круге ада, на огненном кладбище эпикурейцев-безбожников. Когда подходят к нему Данте с Вергилием, он приподнимается из огненной могилы, -

До пояса, с челом таким надменным,
Как будто ад имел в большом презреньи.
Come avesse Io inferno in gran dispetto.

А исполин Капаней, один из семи вождей, осаждавших Фивы, низринутый в

ад за богохульство громами Зевеса, подобно древним титанам, - лежит, голый, на голой земле, под вечным ливнем огненным.

Кто сей великий,
Что, скорчившись, лежит с таким презреньем,
Что мнится, огнь его не опаляет? -

спрашивает Данте Вергилия, а Капаней кричит ему в ответ:

- Qual fui vivo, tal son morto! -
Каков живой, таков и мертвый!
Да разразит меня Зевес громами,
Не дам ему я насладиться мщеньем!

Каховский сам похож был на этих двух великих презрителей ада.

Когда в последнюю ночь перед казнью отец Петр спросил его на исповеди, прощает ли он врагом своим:

- Всем прощаю, кроме двух подлецов - государя и Рылеева, - ответил Каховский.

- Сын мой, перед святым причастием, перед смертью... - ужаснулся отец Петр. - Богом тебя заклинаю: смирись, прости...

- Не прощу.

- Так что же мне с тобою делать? Если не простишь, я тебя и причастить не могу.

- Ну, и не надо.

Отец Петр должен был взять грех на душу, причастить нераскаянного.

А когда пришел Подушкин с Трофимовым вести его на казнь, Каховский взглянул на них так, "как будто ад имел в большом презреньи".

- Пошел на смерть, будто вышел в другую комнату закурить трубку, - удивлялся Подушкин.

- Павел Иванович Пестель есть отличнейший в сонме заговорщиков, - говаривал отец Петр. - Математик глубокий; и в правоту свою верит, как в математическую истину. Везде и всегда равен себе. Ничто не колеблет твердости его. Кажется, один способен вынести на раменах своих тяжесть двух Альпийских гор.

- Я даже не расслышал, что с нами хотят делать; но все равно, только бы скорее! - сказал Пестель после приговора.

А когда пастор Рейнбот спросил его, готов ли он к смерти:

- Жалко менять старый халат, да делать нечего, - ответил Пестель.

- Какой халат?

- А это наш русский поэт Дельвиг сказал:

Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:
Так с неохотою мы старый меняем халат.

- Верите ли вы в Бога, Herr Pestel?

- Как вам сказать? Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y refuse - Сердцем не верю, но умом знаю, что должно быть что-то такое, что люди называют Богом. Бог нужен для метафизики, как для математики нуль.

- Schrecklich! Schrecklich!* - прошептал Рейнбот и начал говорить о бессмертии, о загробной жизни.

* Ужасно! Ужасно! (нем.).

Пестель слушал, как человек, которому хочется спать; наконец, прервал с усмешкою:

- Говоря откровенно, мне и здешняя жизнь надоела. Закон мира - закон тождества: а есть а, Павел Иванович Пестель есть Павел Иванович Пестель. И это тридцать три года. Скука несносная! Нет, уж лучше ничто. Там ничто, но ведь и здесь тоже. Из одного ничто в другое. Хороший сон - без сновидений, хорошая смерть - без будущей жизни. Мне ужасно хочется спать, господин пастор.

- Schkecklich! Schrecklich!

От причастия отказался решительно.

- Благодарю вас, это мне совершенно не нужно.

Когда же Рейнбот начал убеждать его раскаяться, он, подавляя зевоту, сказал:

- Aber, mein lieber Herr Reinbot, wollen wir uns doch besser etwas tiber die Politik unterhalten*.

* Но, мой дорогой господин Рейнбот, давайте лучше побеседуем о политике (нем.).

И заговорил об английском парламенте. Рейнбот встал.

- Извините, господин Пестель, я не могу говорить о таких вещах с человеком, идущим на смерть.

Пестель тоже встал и подал ему руку.

- Ну что ж, доброй ночи, господин Рейнбот.

- Что сказать вашим родителям?

По лицу Пестеля, одутловатому, бледно-желтому, сонному, - он в эту минуту был особенно похож на Наполеона после Ватерлоо, - пробежала тень.

- Скажите им, - проговорил он чуть дрогнувшим голосом, - что я совершенно спокоен, но не могу думать о них без терзающего горя. Передайте это письмо сестре Софи.

Письмо было на французском языке, коротенькое:

"Тысячу раз благодарю тебя, дорогая Софи, за те строки, которые ты прибавила к письму нашей матери. Я чрезвычайно растроган нежным твоим участием и твоею дружбою ко мне. Будь уверена, мой друг, что никогда сестра не могла быть нежнее любима, чем ты мной. Прощай, моя дорогая Софи. Твой нежный брат и искренний друг, Павел".

Передав письмо, он пошел с Рейнботом к двери, как будто выпроваживал его. Но в дверях остановился, крепко пожал ему руку и сказал с улыбкой:

- Доброй ночи, господин пастор. Ну скажите же, скажите мне просто: доброй ночи!

- Я ничего не могу вам сказать, господин Пестель. Я только могу...

Рейнбот не кончил, всхлипнул, обнял его и вышел.

"Ужасный человек! - вспоминал впоследствии. - Мне казалось, что я говорю с самим диаволом. Я оставил жестокосердого, поручив его единой милости Божьей".

Переодеваясь, чтобы идти на казнь, Пестель заметил, что потерял золотой нательный крестик, подарок Софи. Испугался, побледнел, затрясся, как будто вдруг потерял все свое мужество. Долго искал, шарил дрожащими пальцами. Наконец, нашел. Бросился целовать его с жадностью. Надел и сразу успокоился.

В ожидании Подушкина сел на стул, опустил голову и закрыл глаза. Может быть, не спал, но имел вид спящего.

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин боялся смерти, по собственным словам, "как последний трус и подлец". Похож был на трепещущую в клетке птицу, когда кошка протягивает за нею лапу. Иногда плакал от страха, как маленькие дети, не стыдясь. А иногда удивлялся:

- Что со мной сделалось? Никогда я не был трусом. Ведь вот стоял же под картечью на Устимовской высоте и не боялся. Почему же теперь так перетрусил?

- Тогда ты шел на смерть вольно, а теперь - насильно. Да ты не бойся, что боишься, и все пройдет, - утешал его Муравьев, но видел, что утешенья не помогают: Бестужев боялся так, что казалось, не вынесет, сойдет с ума или умрет, в самом деле, "как последний трус и подлец".

Муравьев знал, чем успокоить его. Бестужев боялся, потому что все еще надеялся, что "конфирмация - декорация" и что в последнюю минуту прискачет гонец с царскою милостью. Чтобы победить страх, надо было отнять надежду. Но Муравьев не знал, надо ли это делать; не покрывает ли кто-то глаза его святым покровом надежды?

Бестужев сидел рядом с Муравьевым, в 13-м номере Кронверкской куртины. Между ними была такая же стена из бревен, как та, что отделяла Муравьева от Голицына, и такая же в стене щель. Они составили койки так, что лежа могли говорить сквозь щель.

В последнюю ночь перед казнью Муравьев читал Бестужеву Евангелие на французском языке: по-славянски оба понимали плохо.

- "Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться..."

- Погоди, Сережа, - остановил его Бестужев. - Это что же такое, а?

- А что, Миша?

- Неужели так и сказано: "ужасаться"?

- Так и сказано.

- Чего же Он ужасался? Смерти, что ли?

- Да, страданий и смерти.

- Как же так, Бог смерти боится?

- Не Бог, а человек. Он - Бог и Человек вместе.

- Ну, пусть человек. Да разве людей бесстрашных мало? Вон Сократ цикуту выпил, ноги омертвели, - а все шутил. А это что же такое? Ведь это, как я?

- Да, Миша, как ты.

- Но ведь я же подлец?

- Нет, не подлец. Ты, может быть, лучше многих бесстрашных людей. Надо любить жизнь, надо бояться смерти.

- А ты не боишься?

- Нет, боюсь. Меньше твоего, но, может быть, хуже, что меньше. Вон Матюша и Пестель, те совсем не боятся, и это совсем нехорошо.

- А Ипполит?

- Ипполит не видел смерти. Кто очень любит, тот уже смерти не видит. А мы не очень любим: нам нельзя не бояться.

- Ну, читай, читай!

Муравьев продолжал читать. Но Бестужев опять остановил его.

- А что, Сережа, ты как думаешь, отец Петр - честный человек?

- Честный.

- Что ж он все врет, что помилуют? О гонце слышал?

- Слышал.

- Зачем же врет? Ведь никакого гонца не будет? Ты как думаешь, не будет, а? Сережа, что ж ты молчишь?

По голосу его Муравьев понял, что он готов опять расплакаться бесстыдно, как дети. Молчал - не знал, что делать: сказать ли правду, снять святой покров надежды или обмануть, пожалеть? Пожалел, обманул:

- Не знаю, Миша. Может быть, и будет гонец.

- Ну, ладно, читай! - проговорил Бестужев радостно. - Вот что прочти - Исайи-пророка, - помнишь, у тебя выписки.

Муравьев стал читать:

- "И будет в последние дни...

Перекуют мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать...

Тогда волк будет жить вместе с ягненком... И младенец будет играть над норою аспида...

Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.

И будет: прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу.

Как утешает кого-либо мать, так утешу Я вас..."*

____

* Книга пророка Исайи. II, 4; XI, 6.

- Стой, стой! Как хорошо! Не Отец, а Мать... А ведь это все так и будет?

- Так и будет.

- Нет, не будет, а есть! - воскликнул Бестужев. - "Да приидет царствие Твое"*, это в начале, а в конце: "Яко Твое е с т ь царствие". Есть, уже есть... А знаешь, Сережа, когда я читал "Катехизис" на Васильковской площади, была такая минута...

____

* Слова из молитвы "Отче наш".

- Знаю.

- И у тебя?.. А ведь в такую минуту и умереть не страшно?

- Не страшно, Миша.

- Ну, читай, читай... Дай руку!

Муравьев просунул руку в щель. Бестужев поцеловал ее, потом приложил к губам. Засыпал и дышал на нее, как будто и во сне целовал. Иногда вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети во сне, но все тише, тише и, наконец, совсем затих, заснул.

Муравьев тоже задремал.

Проснулся от ужасного крика. Не узнал голоса Бестужева.

- Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?

Заткнул уши, чтобы не слышать. Но скоро все затихло. Слышался только звон желез, надеваемых на ноги, и уветливый голос Трофимова:

- Сонный человек, ваше благородие, как дитя малое: всего пужается. А проснется - посмеется...

Муравьев подошел к стене, отделявшей его от Голицына, и заговорил сквозь щель:

- Прочли мое "Завещание"?

- Прочел.

- Передадите?

- Передам. А помните, Муравьев, вы мне говорили, что мы чего-то главного не знаем?

- Помню.

- А разве не главное то, что в "Завещании": Царь Христос на земле, как на небе?

- Да, главное, но мы не знаем, как это сделать.

- А пока не знаем, Россия гибнет?

- Не погибнет - спасет Христос.

Помолчал и прибавил шепотом:

- Христос и еще Кто-то.

"Кто же?" - хотел спросить Голицын и не спросил: почувствовал, что об этом нельзя спрашивать.

- Вы женаты, Голицын?

- Женат.

- Как имя вашей супруги?

- Марья Павловна.

- А сами как зовете?

- Маринькой.

- Ну, поцелуйте же от меня Мариньку. Прощайте. Идут. Храни вас Бог!

Голицын услышал на дверях соседней камеры стук замков и засовов.

Когда пятерых, под конвоем павловских гренадеров, вывели в коридор, они перецеловались все, кроме Каховского. Он стоял в стороне, один, все такой же каменный. Рылеев взглянул на него, хотел подойти, но Каховский оттолкнул его молча глазами: "Убирайся к черту, подлец!" Рылеев улыбнулся: "Ничего, сейчас поймет".

Пошли: впереди Каховский, один; за ним Рылеев с Пестелем, под руку; а Муравьев с Бестужевым, тоже под руку, заключали шествие.

Проходя мимо камер, Рылеев крестил их и говорил протяжно-певучим, как бы зовущим, голосом:

- Простите, простите, братья!

Услышав звук шагов, звон цепей и голос Рылеева, Голицын бросился к оконцу-"глазку" и крикнул сторожу:

- Подыми!

Сторож поднял занавеску. Голицын выглянул. Увидел лицо Муравьева. Муравьев улыбнулся ему, как будто хотел спросить: "Передадите?" - "Передам", - ответил Голицын тоже улыбкой.

Подошел к окну и увидел на Кронверкском валу, на тускло-красной заре, два черных столба с перекладиной и пятью веревками.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Всех осужденных по делу Четырнадцатого, - их было 116 человек, кроме пяти приговоренных к смертной казни, - выводили на экзекуцию - "шельмование". Собрали на площади перед Монетным двором, построили отделениями по роду службы и вывели через Петровские ворота из крепости на гласис Кронверкской куртины, большое поле-пустырь; здесь когда-то была свалка нечистот и теперь еще валялись кучи мусора.

Войска гвардейского корпуса и артиллерия с заряженными пушками окружили осужденных полукольцом. Глухо, в тумане, били барабаны, не нарушая предрассветной тишины. У каждого отделения пылал костер и стоял палач. Прочли сентенцию и начали производить шельмование.

Осужденным велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, ордена и бросали в огонь. Над головами ломали шпаги. Подпилили их заранее, чтобы легче переламывать; но иные были плохо подпилены, и осужденные от ударов падали. Так упал Голицын, когда палач ударил его по голове камер-юнкерскою шпагою.

- Если ты еще раз ударишь так, то убьешь меня до смерти, - сказал он палачу, вставая.

Потом надели на них полосатые больничные халаты. Разбирать их было некогда: одному на маленький рост достался длинный, и он путался в полах; другому на большой - короткий; толстому - узкий, так что он едва его напяливал. Нарядили шутами. Наконец повели назад в крепость.

Проходя мимо Кронверкского вала, они шептались, глядя на два столба с перекладиной:

- Что это?

- Будто не знаете?

- Да уж очень на н е е не похоже.

- А вы ее видели?

- Нет, не видал.

- Никто не видел: это за нашу память - первая.

- Первая, да, чай, не последняя.

- Штука нехитрая, а у нас и того не сумели: немец построил.

- Из русских и палача не нашли: латыша какого-то аль чухну выписали.

- Да и то, говорят, плохонький: пожалуй, не справится.

- Кутузов научит: он мастер - на царских шеях выучен!

Смеялись: так иногда люди смеются от ужаса.

- И чего копаются? В два часа назначено, а теперь уж пятый.

- В Адмиралтействе строили; на шести возах везли; пять прибыло, а шестой, главный, с перекладиной, где-то застрял. Новую делали, вот и замешкались.

- Ничего не будет. Только пугают. "Конфирмация - декорация". Прискачет гонец с царскою милостью.

- Вон, вон, кто-то скачет, видите?

- Генерал Чернышев.

- Ну, все равно, будет гонец.

И опять на н е е оглядывались.

- На качели похожа.

- Покачайтесь-ка!

- Нет, не качели, а весы, - сказал Голицын. Никто не понял, а он подумал: "На этих весах Россия будет взвешена".

К столбам на валу подскакали два генерала, Чернышев и Кутузов. Спорили о толщине веревок.

- Тонки, - говорил Чернышев.

- Нет, не тонки. На тонких петля туже затянется, - возражал Кутузов.

- А если не выдержат?

- Помилуйте, мешки с песком бросали, - восемь пуд выдерживают.

- Сами делать пробу изволили?

- Сам.

- Ну, так вашему превосходительству лучше знать, - усмехнулся Чернышев язвительно, а Кутузов побагровел - понял: царя удавить сумел, сумеет - и цареубийц.

- Эй, ты, не забыл сала? - крикнул палачу.

- Минэ-ванэ, минэ-ванэ... - залепетал чухонец, указывая на плошку с салом.

- Да он и по-русски не говорит, - сказал Чернышев и посмотрел на палача в лорнет.

Это был человек лет сорока, белобрысый и курносый, немного напоминавший императора Павла I. Вид имел удивленный и растерянный, как спросонок.

- Ишь, разиня, все из рук валится. Смотрите, беды наделает. И где вы такого дурака нашли?

- А вы что же не нашли умного? - огрызнулся Кутузов и отъехал в сторону.

В эту минуту пятеро осужденных выходили из ворот крепости. В воротах была калитка с высоким порогом. Они с трудом подымали отягченные цепями ноги, чтобы переступить порог. Пестель был так слаб, что его должны были приподнять конвойные.

Когда взошли на вал и проходили мимо виселицы, он взглянул на нее и сказал:

- C'est trop*. Могли бы и расстрелять.

____

* Это слишком (фр.).

До последней минуты не знал, что будут вешать.

С вала увидели небольшую кучку народа на Троицкой площади. В городе никто не знал, где будут казнить: одни говорили - на Волковом поле, другие - на Сенатской площади. Народ смотрел молча, с удивлением: отвык от смертной казни. Иные жалели, вздыхали, крестились. Но почти никто не знал, кого и за что казнят: думали - разбойников или фальшивомонетчиков.

- Il n'est pas bien nombreux, notre publique*, - усмехнулся Пестель.

____

* Не очень-то много у нас публики (фр.).

Опять, в последнюю минуту, что-то было не готово, и Чернышев с Кутузовым заспорили, едва не поругались.

Осужденных посадили на траву. Сели в том же порядке, как шли: Рылеев рядом с Пестелем, Муравьев - с Бестужевым, а Каховский - в стороне, один.

Рылеев, не глядя на Каховского, чувствовал, что тот смотрит на него своим каменным взглядом: казалось, что, если бы только остались на минуту одни, бросился бы на него и задушил бы. Тяжесть давила Рылеева: точно каменные глыбы наваливались, - и он уже не отшвыривал их, как человек на маленькой планете - легкие мячики: глыбы тяжелели, тяжелели неимоверною тяжестью.

- Странная шапка. Должно быть, не русский? - указал Пестель на кожаный треух палача.

- Да, верно, чухонец, - ответил Рылеев.

- А рубаха красная. C'est le gout national*, палачей одевают в красное, - продолжал Пестель и, помолчав, указал на второго палача, подручного: - А этот маленький похож на обезьяну.

____

* Таков национальный вкус (фр.).

- На Николая Ивановича Греча, - усмехнулся Рылеев.

- Какой Греч?

- Сочинитель.

- Ах, да, Греч и Булгарин.

Пестель опять помолчал, зевнул и прибавил:

- Чернышев не нарумянен.

- Слишком рано: не успел нарядиться, - объяснил Рылеев.

- А костры зачем?

- Шельмовали и мундиры жгли.

- Смотрите, музыканты, - указал Пестель на стоявших за виселицей, перед эскадроном лейб-гвардии Павловского гренадерского полка, музыкантов. - Под музыку вешать будут, что ли?

- Должно быть.

Так все время болтали о пустяках. Раз только Рылеев спросил о "Русской Правде", но Пестель ничего не ответил и махнул рукой.

Бестужев, маленький, худенький, рыженький, взъерошенный, с детским веснушчатым личиком, с не испуганными, а только удивленными глазами, похож был на маленького мальчика, которого сейчас будут наказывать, а может быть, и простят. Скоро-скоро дышал, как будто всходил на гору: иногда вздрагивал, всхлипывал, как давеча, во сне; казалось, вот-вот расплачется или опять закричит не своим голосом: "Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?" Но взглядывал на Муравьева и затихал, только спрашивал молча глазами: "Когда же гонец?" - "Сейчас", - отвечал ему Муравьев также молча и гладил по голове, улыбался.

Подошел отец Петр с крестом. Осужденные встали.

- Сейчас? - спросил Пестель.

- Нет, скажут, - ответил Рылеев.

Бестужев взглянул на отца Петра, как будто и его хотел спросить: "Когда же гонец?" Но отец Петр отвернулся от него с видом почти таким же потерянным, как у самого Бестужева. Вынул платок и вытер пот с лица.

- Платок не забудете? - напомнил ему Рылеев давешнюю просьбу о платке государевом.

- Не забуду, не забуду, Кондратий Федорович, будьте покойны... Ну, что ж они... Господи! - заторопился отец Петр, оглянулся: может быть, все еще ждал гонца или думал: "Уж скорее бы!" - и подошел к обер-полицеймейстеру Чихачеву, который, стоя у виселицы, распоряжался последними приготовлениями. Пошептались, и отец Петр вернулся к осужденным.

- Ну, друзья мои... - поднял крест, хотел что-то сказать и не мог.

- Как разбойников провожаете, отец Петр, - сказал за него Муравьев.

- Да, да, как разбойников, - пролепетал Мысловский; потом вдруг заглянул прямо в глаза Муравьеву и воскликнул торжественно: - "Аминь глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раю!"*

____

* Слова Христа, обращенные к одному из распятых вместе с Ним разбойников (Евангелие от Луки. XXIII, 43).

Муравьев стал на колени, перекрестился и сказал:

- Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию!

Наклонился, поцеловал землю и потом - крест.

Бестужев подражал всем его движениям, как тень, но, видимо, уже не сознавал, что делает.

Пестель подошел ко кресту и сказал:

- Я, хоть и не православный, но прошу вас, отец Петр, благословите и меня на дальний путь.

Тоже стал на колени; тяжело-тяжело, как во сне, поднял руку, перекрестился и поцеловал крест.

За ним - Рылеев, продолжая чувствовать на себе каменно-давящий взгляд Каховского.

Каховский все еще стоял в стороне и не подходил к отцу Петру. Тот сам подошел. Каховский опустился на колени медленно, как будто нехотя, так же медленно перекрестился и поцеловал крест. Потом вдруг вскочил, обнял отца Петра и стиснул ему шею руками так, что, казалось, задушит.

Выпустив его из объятий, взглянул на Рылеева. Глаза их встретились. "Не поймет", - подумал Рылеев, и страшная тяжесть почти раздавила его. Но в каменном лице Каховского что-то дрогнуло. Он бросился к Рылееву и обнял его с рыданием.

- Кондрат... брат... Кондрат... Я тебя... Прости, Кондрат... Вместе? Вместе? - лепетал сквозь слезы.

- Петя, голубчик... Я же знал... Вместе! Вместе! - ответил Рылеев, тоже рыдая.

Подошел обер-полицеймейстер Чихачев и прочел сентенцию. Она кончалась так:

- "Сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить".

На осужденных надели длинные, от шеи до пят, белые рубахи-саваны и завязали их ремнями вверху, под шеями, в середине, пониже локтей, и внизу, у щиколок, так что тела их были спеленуты. На головы надели белые колпаки, а на шеи - четырехугольные черные кожи; на каждой написано было мелом имя

преступника и слово: "Цареубийца". Имена Рылеева и Каховского перепутали. Чихачев заметил ошибку и велел переменить кожи. Это была для всех страшная шутка, а для них самих - нежная ласка смерти.

Кутузов подал знак. Заиграла музыка. Осужденных повели. Виселица стояла на помосте; на него надо было всходить по деревянному откосу, очень отлогому. Всходили медленно, потому что скованными и связанными ногами могли делать только самые маленькие шаги. Конвойные поддерживали и подталкивали их сзади.

В это время палачи намазывали веревки салом. Старый унтер, гренадер, стоявший с краю шеренги, у виселицы, поглядывал на палачей и хмурился. Знал, как вешают людей: во время походов суворовских, в царстве Польском, жидков-шпионов перевешал с дюжину. Видел, что веревки смокли от ночной росы: сало не пристанет - туги будут, петля слабо затянется и может соскользнуть.

Осужденные взошли на помост и стали в ряд, лицом к Троицкой площади. Стояли в таком порядке, справа налево: Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский.

Палач надевал петли. В эту минуту лица всех осужденных были одинаковы: спокойны и как будто задумчивы.

Когда уже петля была на шее Пестеля, в сонном лице его промелькнула мысль. Если бы можно было выразить ее словами, он думал так: "За ничто умираю или за что-то? Узнаю сейчас".

Колпаки опускали на лица.

- Господи, к чему это? - сказал Рылеев. Ему казалось, что не только от пальцев, но и от желтого, обтянутого лоснящейся кожей, лица чухонца пахнет салом. Страшная тяжесть опять навалилась. Но Каховский улыбнулся ему - и эту последнюю тяжесть он отшвырнул, как легкий мячик.

Улыбнулся и Муравьев Бестужеву: "Будет гонец?" - "Будет".

Палачи сбежали с помоста.

- Готово? - крикнул Кутузов.

- Готово! - ответил подручный.

Чухонец изо всей силы дернул за железное кольцо в круглом отверстии, сбоку эшафота. Доска из-под ног осужденных, как дверца люка, опустилась, и тела повисли.

"У-х!" - глухим гулом прогудело от кучки народа на Троицкой площади до войска, окружавшего виселицу: вся толпа, как земля от свалившейся тяжести, ухнула. Не сразу поняли: было пятеро, осталось двое - где же трое?

- Э, черт! Что такое? Что такое? - закричал Кутузов с лицом перекошенным, пришпорил лошадь и подскакал.

Отец Петр выронил крест, взбежал на помост и заглянул сначала в дыру, а потом - на три болтавшихся петли. Понял: сорвались.

Унтер был прав: на смокших веревках петли не затянулись как следует и соскользнули с шей. Повисли двое - Пестель и Бестужев, а трое - Каховский, Рылеев и Муравьев - сорвались.

Там, в черной дыре, копошились, страшные, белые, в белых саванах.

Колпаки упали с лиц. Лицо Рылеева было окровавлено. Каховский стонал от боли. Но взглянул на Рылеева - и опять, как давеча, улыбнулись друг другу: "Вместе?" - "Вместе".

Муравьев был почти в обмороке, но как глубокоспящий просыпается с неимоверным усилием, так он очнулся, открыл глаза и взглянул вверх; увидел, что Бестужев висит: узнал его по маленькому росту. "Ну, слава Богу, - подумал, - иной гонец иного Царя уже возвестил ему жизнь!" А что сам будет сейчас умирать не второю, а третьей смертью - не подумал. Опять закрыл глаза и успокоился с последнею мыслью: "Ипполит... маменька..."

Музыка затихла. В тишине, из кучки народа на Троицкой площади, послышался вопль, визг: там женщина билась в припадке. И опять, как давеча, по всей толпе, от площади до виселицы, прошло глухим гулом содрогание ужаса. Казалось, еще минута - и люди не вынесут: бросятся, убьют палачей и сметут виселицу.

- Вешать! Вешать! Вешать скорей! - кричал Кутузов. - Эй, музыка!

Снова заиграла музыка. Трех упавших вытащили из дыры. Взойти на помост они уже не могли: взнесли на руках. Опустившуюся доску подняли. Пестель достал до нее носками и ожил: по замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал благодаря малому росту: он один от второй смерти избавился.

Опять накинули петли и опустили доску. На этот раз все повисли как следует.

Был час шестой. Солнце всходило в тумане, так же как все эти дни, тускло-красное. Прямо против солнца, между двумя черными столбами, на пяти веревках висели пять неподвижно вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спеленутых. И солнце, тускло-кровавое, не запятнало кровью белых саванов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Накануне казни государь уехал, или, как иные говорили, "бежал" в Царское. Каждые четверть часа туда посылали фельдъегерей, прямо с места казни. С последним Кутузов отправил донесение:

"Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, коих было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев - сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу".

В тот же день начальник главного штаба, генерал Дибич, писал государю:

"Фельдъегерь доставит Вашему Величеству донесение генерала Кутузова об исполнении приговора над мерзавцами. Войско вело себя с достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала".

"Благодарю Бога, что все окончилось благополучно, - ответил государь Дибичу. - Я хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует. Советую вам, мой милый, соблюдать сегодняшний день величайшую осторожность".

Четырнадцатого июля отслужено было благодарственное молебствие на Сенатской площади. Войска окружали походную церковь, поставленную у памятника Петра, на том самом месте, где 14 декабря стояло каре мятежников. Митрополит с духовенством обходил ряды войск и кропил их святою водою.

Последняя ектенья возглашалась торжественно, с коленопреклонением:

"Еще молимся о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов Своих, яко от неиствующия крамолы, злоумышлявшия на испровержение веры православныя и престола и на разорение царства Российского, явил есть нам заступление и спасение Свое".

"Их казнь - казнь России? Нет, пощечина. Ну, да ничего, съедят. Прав Каховский: подлая страна, подлый народ. Погибнет Россия... А может быть, и гибнуть нечему: никакой России нет и не было".

Так думал Голицын, сидя в своей новой камере, в Невской куртине, куда перевели его после экзекуции 13 июля. Он уже знал, что казнь совершилась, - фейерверкер Шибаев успел ему об этом шепнуть, - но больше ничего не знал. В эти дни после казни арестанты содержались с такою же строгостью, как в первые дни заключения. Никуда не выпускали их из камер; разговоры и перестукивания кончились; сторожа опять онемели; на все вопросы был один ответ: "Не могу знать".

В самый день казни Подушкин потихоньку передал Голицыну записку от Мариньки. Плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна, умолила об этом отца. Записка была нераспечатана.

"Мой друг, я давно тебе не писала, не имея духу и не желая через посторонних сообщить страшную весть. Прошлого июня месяца, 29 числа, скончалась маменька. Хотя она уже с генваря месяца хворала, но я столь скорого конца не чаяла. Не могу себя избавить от мысли терзающей, что я, хотя и невольная, виновница сего несчастия. Нет горше муки, как позднее раскаяние, что мы недостаточно любили тех, кого уже нет. Но лучше не буду об этом писать: ты сам поймешь. Итак, я теперь совершенно одна на свете, ибо Фома Фомич, хотя и любит меня, как родную, и готов отдать за меня жизнь, но, по старости своей (он очень постарел с бабушкиной смерти, бедненький, и ныне совсем как дитя малое) для меня опора слабая. Но ты за меня не бойся, мой друг. Я теперь знаю, что человек, когда это нужно, находит в себе такие силы, коих и не подозревал. Я не изменила и никогда не изменю твердому упованию на милость Божию и на покров Царицы Небесной, Заступницы нашей, Стены Нерушимой, всех скорбящих Матери. Только теперь узнала я, сколь святой покров Ее могуществен. Каждый день молюсь Ей со слезами за тебя и за всех вас, несчастных. Много еще хотела бы об этом писать, но не умею. Прости, что так плохо пишу. Я пережила ужасные дни, получив известие, что второй разряд, в коем и ты состоишь, приговорен к смертной казни. Я, впрочем, знала, что не переживу тебя, и это одно меня укрепило. Вообрази же радость мою, получив известие, что смертная казнь заменена каторгою, - и радость еще большую, что нам, женам, разрешено будет за мужьями следовать. Все эти дни мы с княгиней Екатериною Ивановною Трубецкою - какая прекрасная женщина! - хлопотали о сем и теперь уже имеем почти совершенную уверенность, что разрешение будет получено. Мне больше ничего не нужно, как только быть с тобою и разделить твое несчастие. Вот и опять не знаю, как сказать. Помнишь, больной, в бреду, ты все повторял: "Маринька, маменька..."

Он больше не мог читать; письмо выпало из рук. "Зачем такое письмо в такой день?" - подумал. Сам не знал, какое в нем чувство сильнее - радость или отвращение к собственной радости. Вспомнил самую страшную из всех

своих мыслей, ту, от которой в Алексеевском равелине едва не сошел с ума: любовь - подлость; любовь к живым, радость живых - измена мертвым; нет любви, нет радости, ничего нет, только подлость и смерть, смерть - честных, подлость - живых.

На следующий день, 14 июля, вечером, зашел к нему отец Петр. Так же, как тогда, в Вербное воскресенье, когда Голицын отказался от причастия, он держал чашу в руках, но по тому, как держал, видно было, что она пустая.

Старался не глядеть в глаза Голицыну; был растерян и жалок. Но Голицын не пожалел его, как Рылеев. Посмотрел на него из-под очков долго, злобно и усмехнулся:

- Ну, что, отец Петр, дождались гонца? Конфирмация - декорация?

Отец Петр тоже хотел усмехнуться, но лицо его сморщилось. Он сел на стул, поднес чашу ко рту, закусил край зубами, тихо всхлипнул, потом все громче и громче; поста вил чашу на стол, закрыл лицо руками и зарыдал.

"Экая баба!" - думал Голицын, продолжая смотреть на него молча, злобно.

- Ну-с, извольте рассказывать, - проговорил, когда тот немного затих.

- Не могу, мой друг. Потом когда-нибудь, а сейчас не могу...

- Могли на казнь вести, а рассказать не можете? Сейчас же, сейчас же рассказывайте! - крикнул Голицын грозно.

Отец Петр посмотрел на него испуганно, вытер глаза платком и начал рассказывать, сперва нехотя, а потом с увлечением; видимо, в рассказе находил усладу горькую.

Когда дошел до того, как сорвались и снова были повешены, побледнел, опять закрыл лицо руками и заплакал. А Голицын рассмеялся.

- Эка земелька Русь! И повесить не умеют как следует. Подлая! Подлая! Подлая!

Отец Петр вдруг перестал плакать, отнял руки от лица и взглянул на Голицына робко.

- Кто подлая?

- Россия.

- Как вы страшно говорите, князь.

- А что? За отечество обиделись? Ничего, проглотите!

Оба замолчали.

Окно камеры выходило на Неву, на запад. Солнце закатывалось, такое же красное, но менее тусклое, чем все эти дни: дымная мгла немного рассеялась. Вдали, за Невою, пылали стекла в окнах Зимнего дворца красным пламенем, как будто пожар был внутри. Красное пламя заливало и камеру. Давеча, во время рассказа, отец Петр взял чашу со стола и теперь все еще держал ее в руках. Золотая чаша в красном луче сверкала ослепительно, как второе солнце.

Голицын взглянул на нее, встал, подошел к отцу Петру, положил ему руку на плечо и проговорил все так же грозно:

- Теперь понимаете, почему я не хотел причаститься? Теперь понимаете?

- Понимаю, - прошептал отец Петр и, взглянув на него, даже в красном свете, увидел, что лицо его мертвенно-бледно.

Опять помолчали.

- Где похоронили? - спросил Голицын.

- Не знаю, - ответил отец Петр. - Никто не знает. Одни говорят - тут же, у виселицы, во рву с негашеною известью; другие - на острове Голодае, на скотском кладбище; а иные - зашили будто в рогожи, навязали камни, положили в лодку, отплыли на взморье и бросили в воду.

- А панихидку-то я отслужил, как же-с! - помолчав, прибавил с простодушно-лукавою усмешкою. - Нынче парад был на Сенатской площади, благодарственное молебствие за ниспровержение крамолы. Святою водою войска и площадь кропили, очищали от крови - все крови боятся, да, чай, и святою водою крови не смыть. Владыка митрополит служил со всем духовенством, собор не. Ну, а я не пошел. Матушка протопопица говорит: "Уж очень много, говорит, ты себе позволяешь, отец Петр! Смотри, как бы не налетело от архиерея по потылице". - "Ну, и пусть, говорю, пусть налетит!" Отпустил Казанскую с другими попами, а сам не пошел, облачился в черные ризы да панихидку и отслужил по пяти рабам Божиим новопреставленным. "Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, Сергея, Михаила, Петра, Павла, Кондратия, иде же праведные упокояются. Прими, Господи, в мир Твой..." Ну, да уж что говорить - примет, небось примет.

Вдруг поднялся во весь рост и воскликнул торжественно:

- Свидетельствуюсь Богом живым: как святые умерли. Как готовые спелые гроздья, упали на землю, но не земля их приняла, а Отец Небесный. Венцов мученических сподобились, и не отнимутся от них венцы сии во веки веков. Слава Господу Богу! Аминь.

Опять, как тогда, в Вербное воскресенье, Голицын стал на колени и сказал:

- Благословите, отец Петр.

Тот поднял руку.

- Нет, чашею.

- Во имя Отца и Сына и Святого Духа, - благословил его отец Петр, касаясь чашею лба, груди и плеч; потом дал поцеловать ее. Когда Голицын приложил к ней губы, красно-кровавый луч солнца упал на золотое дно, и казалось, что чаша наполнилась кровью.

Отец Петр молча обнял его и хотел выйти.

- Постойте, - сказал Голицын, расстегнул ворот рубахи, пошарил за пазухой, вынул пачку листков и отдал ему.

- Что это? - спросил отец Петр.

- Записки Муравьева, "Завещание России". Велел вам отдать. Сохраните?

- Сохраню.

Еще раз обнял его и вышел из камеры.

Голицын долго сидел, не двигаясь, не чувствуя, как слезы текли по лицу его, и смотрел на заходящее солнце - небесную чашу, полную кровью. Потом опустил глаза и увидел на столе Маринькино письмо. Теперь уже знал, зачем такое письмо в такой день.

Вспомнил слова Муравьева: "Поцелуйте от меня Мариньку!" Взял письмо и поцеловал, прошептал:

- Маринька... маменька!

Вспомнил, как после свидания с нею в саду Алексеевского равелина целовал землю: "Земля, земля, Матерь Пречистая!" И как Муравьев, в последнюю минуту перед виселицей, тоже целовал землю. Вспомнил предсмертный шепот его сквозь щель стены: "Не погибнет Россия - спасет Христос и еще Кто-то". Тогда не знал, Кто, - теперь уже знал.

Радость, подобная ужасу, пронзила сердце его, как молния:

Россию спасет Мать.

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ, ОБОРОТОВ, НАЗВАНИЙ

А р х и е р е й - общее название для высших чинов духовенства: епископов, архиепископов, митрополитов.

Б л о н д о в ы й - из тонких шелковых кружев белого или кремового цвета, изготовляемых во Франции, - блондов.

"Б л а г о н а м е р е н н ы й" - журнал Вольного общества любителей российской словесности, выходил в 1818 - 1826 годах.

Б о р о к р ю ш е в ы й - оборка из рюша, то есть тюля.

Б о с к е т - здесь: обои с рисунком в виде куртин деревьев рощи или сада.

Б р ы з ж и (брыжи) - оборки в складку на воротнике, манжетах или груди.

Г р о д е н а п л е в ы й - из гроденапля - плотной гладкоокрашенной шелковой ткани, производимой изначально в Италии в Неаполе.

Г р о д е т у р - плотная шелковая ткань, одноцветная, темных тонов, немнущаяся и ноская, получила название от города Тур во Франции, где производилась.

Д е к о т - отвар из лекарственных растений.

Е в м е н и д ы - то же, что и Эринии, в древнегреческой мифологии богини мщения, лишающие преступников рассудка.

Е к т е н ь я - совместная молитва, сопровождающаяся обращением к Богу: "Господи, помилуй", "Дай, Бог".

К а м е р-ю н к е р - первое придворное звание, соответствовало пятой ступени в Табели о рангах.

К а р с е л е в а я л а м п а - масляная лампа на высокой подставке в виде торшера.

К о н ф и р м а ц и я - утверждение высшей властью судебного приговора.

М ы ш и н ы й ж е р е б ч и к - старый худосочный щеголь-волокита.

П а л а н т и н - длинный и широкий меховой или из материи женский шарф.

С а к к о с - верхнее облачение архиерея, украшенное крестами и "звонками", напоминающими ему о постоянной проповеди закона Христова пастве.

С а н к ю л о т - буквально от фр.: sans-culotte, без коротких штанов, так называлась насмешливо имущими классами Франции городская беднота, не имевшая возможности носить короткие штаны (кюлот) из дорогой ткани, ставшая творцом Великой французской революции; отсюда - санкюлотизм, вольнодумство черни.

С е н т е н ц и я - приговор.

Т е м л я к - петля из ремня или ленты, часто украшенная кистью, надеваемая на руку, чтобы не потерять саблю, шпагу и тому подобное во время боя.

Ш л а ф р о к - просторная домашняя одежда без пуговиц с большим запахом, подпоясывалась витым шнуром.

Ш т о ф - плотная шерстяная или шелковая ткань, одноцветная с разводами, часто использовалась как обивочная.

Мережковский Д.С.
М52. 14 декабря (Николай Первый): Роман; Грядущий Хам: Вместо послесловия. - М.: Современник, 1994. - 302 с. - (Государи Руси Великой). Литературно-художественное издание.
Текст печатается по изданию: Мережковский Д.С. Избранные произведения: В 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1990 ("Огонек")
Генеалогические древа и годы княжений и царствований на форзаце даются по "Иллюстрированной хронологии истории Российского государства в портретах" (Спб., 1909)
Статья о жизни и творчестве. Д.С.Мережковского помещена в книге "Петр и Алексей"
Тираж 50 000 экз. ISBN 5-270-01784-9
Роман "14 декабря" - третья книга трилогии Дмитрия Сергеевича Мережковского "Царство Зверя", куда вошли "Павел Первый", "Александр Первый" и, наконец, роман о Николае Первом и декабристах - первоначально названный писателем по имени венценосного героя. Вечная тема любви и революции находит философское осмысление в произведении. Написанный в начале века, роман как бы предвосхищает события нашего сложного времени.
Таблицы, помешенные на форзацах, не претендуя на полноту, позволяют проследить преемственность наследования российского престола и тематику публикаций серии.
ИБ ? 6555
Ответственный редактор серии В.А.Серганова.
Редактор В.А.Серганова. Художник Б.Н.Чупрыгин. Художественный редактор Н.Б.Егоров. Технический редактор Л.Б.Демьянова. Корректор М.Г.Курносенкова.

